

В. М. Есипов

*Мифы
и Реалии*

ПУШКИНОВЕДЕНИЯ



ИЗБРАННЫЕ
РАБОТЫ

В. М. Есинов

*Мифы
и Реалии*

ПУШКИНОВЕДЕНИЯ



ИЗБРАННЫЕ
РАБОТЫ



Нестор-История
Москва • Санкт-Петербург
2018

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)
Е83

Есипов В. М.

Е83 Мифы и реалии пушкиноведения : Избранные работы. — М.; СПб.: Нестор-История, 2018. — 432 с.

ISBN 978-5-4469-1292-6

В книге известного литературоведа В. М. Есипова рассматриваются такие проблемные вопросы пушкиноведения, как отношение Пушкина к идеям декабризма и декабристам, отношения Пушкина с императором Николаем I, подлинность Записок А. О. Смирновой-Россет и многие другие. Самая ранняя из статей, вошедших в книгу, «Исторический подтекст “Пиковой дамы”», была снята советской цензурой из готового номера журнала «Вопросы литературы» в 1984 году и увидела свет только в 1989-м, в так называемую перестройку. Последняя по времени — статья «Между “Онегиным” и “Дмитрием Самозванцем” (Царь и Бенкендорф в противостоянии Пушкина с Булгариным)» опубликована в 2017 году в журнале «Новый мир». В. М. Есипов — автор книг «Пушкин в зеркале мифов» (2006), «Божественный глагол. Пушкин. Блок. Ахматова» (2010), «От Баркова до Мандельштама» (2016), «Четыре жизни Василия Аксенова» (2016), а также составитель и комментатор посмертных изданий Василия Аксенова.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4469-1292-6



9 785446 912926

© В. М. Есипов, 2018
© Издательство «Нестор-История», 2018

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Статьи, вошедшие в книгу (все они публиковались), написаны в разное время: самая ранняя — в 1984-м, самая поздняя — летом 2017 года, но все они представляются автору наиболее важными среди других его сочинений, поэтому книга имеет подзаголовок «избранные работы». Каждая из них полемична по своей сути, предлагается ли в ней новое решение известной пушкиноведческой проблемы или обосновывается позиция автора по той или иной теме, ставшей вдруг предметом обсуждения.

Значительное место в книге занимает опровержение некоторых пушкиноведческих решений советского времени — времени, когда в любой отрасли знаний преобладала идеологическая составляющая. Не избежали этой участи и многие работы выдающихся советских пушкинистов: Д. Д. Благого, П. Е. Щеголева, М. А. Цявловского, С. М. Бонди, Т. Г. Цявловской. Они служили своему времени, а время требовало от них противопоставить «старому», «отжившему» литературоведению царского времени новые представления о литературе, об истории, о Пушкине.

И если Пушкин до революции 1917 года выглядел либералом, приемлющим монархическое устройство России и не приемлющим революционные методы декабристов, то теперь нужно было доказать, что досоветская пушкинистика в силу существовавших в самодержавной государственной системе представлений искажала факты, замалчивала антимонархические и антиклерикальные произведения поэта.

Каждая историческая эпоха хочет иметь своего Пушкина. Советской эпохе необходим был новый образ первого национального поэта, согласующийся с представлениями, принятыми в новой общественной системе. И одной из насущнейших

задач на этом пути советским пушкинистам представлялось установление тесной идейной связи между Пушкиным и декабристами, которые, по известному высказыванию «вождя мирового пролетариата», «разбудили Герцена» и т. д.

То есть декабрьское восстание 1825 года на Сенатской площади Петербурга было провозглашено началом русского революционного движения, приведшего в 1917 году к падению самодержавия и установлению «власти народа». Насколько утопичны были представления о новой общественной системе у той части русской интеллигенции, которая пошла за большевиками, показало время. Но тогда эти русские интеллигенты верили в новые идеалы и исполняли свой гражданский долг на том поприще, на котором могли реализовать себя.

При этом нельзя не признать, что трудами и энергией корифеев советского пушкиноведения наука о Пушкине выросла в мощную дисциплину и заслуженно стала лидером отечественной филологии; как нельзя не признать и того, что все они были выдающимися специалистами, крупнейшими учеными. Невозможно переоценить их заслуги в фундаментальном исследовании биографии и творчества Пушкина, в осмыслении и трактовке пушкинских произведений, в освоении его рукописного наследия, в становлении и развитии текстологии пушкинских текстов, — все это общеизвестно!

Но при этом, поставив себе задачу освободиться от тенденциозности предыдущей эпохи, ведущие советские пушкинисты привнесли в пушкинистику нового времени новую тенденциозность, примером чему служат некоторые их решения при издании Полного собрания сочинений поэта, осуществленного в 1937–1949 годах, а также решения по отдельным проблемам пушкиноведения.

Опровержению советских пушкиноведческих мифов посвящены такие представленные в книге работы, как «Миф об "утанной любви"», «Пушкин и декабристы», «Нет, нет, Барков, скрипицы не возьму!..» (размышления по поводу анонимной баллады «Тень Баркова»), «Подлинны по внутренним основаниям...» (заметки А. О. Смирновой-Россет), «Между "Онегиным"

и "Дмитрием Самозванцем" (царь и Бенкендорф в противостоянии Пушкина с Булгариным)».

В последней из них, написанной совсем недавно, поднимается вопрос о необходимости пересмотра принятого в советское время взгляда на характер отношений между Пушкиным и императором Николаем I, пересмотра объективного, без крена в ту или иную сторону.

Вместе с тем в наше время, через четверть века после краха советской политической системы, возникли свои тенденции, отражающие сегодняшнюю злобу дня. И вот уже надменный и самодовольный карьерист, генерал-губернатор Новороссии, известный льстец царю и сам поощряющий лесть подчиненных в свой адрес, граф М. С. Воронцов представляется многим нашим современникам великим государственным и военачальником, несправедливо якобы дискредитированным юношей Пушкиным. А легенда о генерале, герое Отечественной войны с Наполеоном, Н. Н. Раевском, созданная пропагандистской заметкой в газете «Северная почта» от 31 июля 1812 года, вдруг оказывается востребованной сегодня (как и советская легенда о 28 панфиловцах). Этими тенденциями вызваны к жизни работы «Сановник и поэт» (к истории конфликта Пушкина с графом М. С. Воронцовым) и «И вот как пишут историю...» (легенда о генерале Раевском).

Другие работы формулируют позицию автора по таким спорным вопросам пушкиноведения, как, например: кто является адресатом стихотворения Пушкина «С Гомером долго ты беседовал один...» или что следует подразумевать под «Александрийским столпом» в пушкинском «Памятнике», картина какого великого живописца (Рафаэля или Перуджино) имеется в виду в стихотворении «Мадонна», почему в незавершенном пушкинском отрывке «Когда порой воспоминанье...» мысль Пушкина переносится из Италии к «студеным северным волнам» и печальному острову, возвышающемуся над ними?

Все это и составляет содержание книги.

МИФ ОБ «УТАЕННОЙ ЛЮБВИ»

«СКАЖИТЕ МНЕ, ЧЕЙ ОБРАЗ НЕЖНЫЙ...»

1

В своем известном выступлении «О назначении поэта», посвященном памяти Пушкина, Александр Блок 10 февраля 1921 года провозгласил: «Мы знаем Пушкина — человека, Пушкина — друга монархии, Пушкина — друга декабристов. Все это бледнеет перед одним: Пушкин поэт»¹.

Однако столь многосторонний подход к творчеству и личности Пушкина уже совершенно не соответствовал требованиям и представлениям наступившей эпохи. Для идеологов утвердившейся в России политической системы единственно важной и необходимой стала только одна часть блоковского определения: «Пушкин — друг декабристов». Перед этим утверждением все остальные стороны пушкинского наследия не то, чтобы «побледнели», а просто стали ненужными. Сквозь призму этого единственного постулата стали рассматриваться все существующие в пушкиноведении проблемы (биографического, художественно-стилистического, историко-литературного плана), в том числе вопрос об «утаенной любви» поэта, которому посвящена настоящая глава.

Проблема эта впервые была поставлена в пушкиноведении еще П. И. Бартеневым. В 10-е годы прошлого века разгорелась острая полемика о том, кто был предметом самой сильной и длительной по времени любви поэта: М. О. Гершензон называл в связи с этим кн. М. А. Голицыну (внучку А. В. Суворова)²,

¹ Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 160.

² Гершензон М. Северная любовь А. С. Пушкина // Вестник Европы. СПб., 1908.

а горячо возражавший ему П. Е. Щеголев — кн. М. Н. Волконскую (урожденную Раевскую)¹. В результате дискуссии, отличавшейся не совсем уместной для данного случая запальчивостью, Гершензон фактически отказался от кандидатуры М. А. Голицыной, но при этом посчитал не опровергнутым свое утверждение о «северной любви» поэта, то есть о том, что такая особенно сильная любовь была пережита Пушкиным не на юге, а в Петербурге, до высылки на юг в 1820 году. Он справедливо указал на то, что его оппонент оставил этот главный вопрос полемики без рассмотрения².

К сожалению, этот главный вопрос так и остается без ответа. В советском пушкиноведении точка зрения Щеголева утвердилась очень прочно, так как оказалась неожиданно созвучной основной идеологической тенденции новой эпохи в популяризации наследия Пушкина: поэта необходимо было представить многомиллионному читателю безусловным приверженцем декабристских идей, борцом против самодержавия, революционером. В этих условиях версия о любви к легендарной женщине, жене декабриста, добровольно последовавшей за мужем в Сибирь, представлялась особенно притягательной, романтической и, главное, идеологически оправданной. До последнего времени она приводилась как научно доказанная в большинстве комментированных изданий, использовалась в музейных экспозициях, школьных учебниках и в популярных изданиях о Пушкине. Тем настоятельнее необходимость вернуться к ее истокам, дать ей современную оценку.

Нельзя сказать, что эта версия была принята безоговорочно. Например, в 1939 году против нее выступил Ю. Н. Тынянов³, указавший (правда, безуспешно) на те же зияющие просчеты в ее построении, которые были уже отмечены ранее Гершензоном.

¹ Щеголев П. Е. Утаенная любовь А. С. Пушкина // Пушкин. Очерки. СПб., 1912.

² Гершензон М. В ответ П. Е. Щеголеву // Пушкин и его современники. Вып. XIV. СПб., 1911.

³ Тынянов Ю. Н. Безыменная любовь // Пушкин и его современники. М., 1969.

Он тоже отнес «утаенную любовь» ко времени пребывания Пушкина в Петербурге, до ссылки на юг. Подтверждением этому служат многочисленные указания в произведениях поэта. Например, в эпилоге поэмы «Бахчисарайский фонтан», над которой он работал с весны 1821 до 1823 года:

Я помню столь же милый взгляд
И красоту еще земную,
Все думы сердца к ней летят,
Об ней в изгнании тоскую...¹

Еще более красноречиво свидетельствуют об этом черновые варианты эпилога поэмы:

Иль только сладостный предмет
Любви таинственной, унылой —
Тогда... но полно! вас уж нет,
Мечты невозвратимых лет.
Во глубине души остылой
Не тлеет ваш безумный след...

Ты возмужал средь испытаний,
Забыл проступки ранних лет,
Постыдных слез, воспоминаний
И безотрадных ожиданий
Забудь мучительный предмет.

След той же любви находим в элегии «Погасло дневное светило...», написанной осенью 1820 года:

...Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви ничто не излечило...

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 19 т. М., 1994. Т. IV. С. 170. Все цитаты — по этому изданию, ссылки даются в тексте в скобках: римской цифрой обозначается том, арабской — страница. Курсив в цитатах везде наш.

Воспоминание о безотрадной любви содержится и в первой главе «Евгения Онегина», законченной в октябре 1823 года:

... Вдыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил.

...Погасший пепел уж не вспыхнет,
Я все грущу; но слез уж нет,
И скоро, скоро бури след
В душе моей совсем утихнет...

Приведенные стихи неопровержимо свидетельствуют о том, что Гершензон и Тынянов были правы: Пушкин пережил в Петербурге большую и сильную любовь, воспоминания о которой продолжали волновать его на юге. Как известно, Щеголев ничего не смог возразить по этому поводу в полемике с Гершензоном.

Ощутимый удар по концепции П. Е. Щеголева нанес и Б. В. Томашевский, доказавший, что «дева юная» в элегии «Редет облаков летучая гряда...» — это Екатерина Раевская¹. Таким образом, все попытки связать элегию с М. Н. Волконской оказались несостоятельными, что лишило сторонников ее кандидатуры одного из важнейших аргументов.

Кроме того, до сих пор совершенно не принимается во внимание фактическая сторона вопроса: ко времени знакомства с Пушкиным на юге Марии Николаевне еще не исполнилось 15 лет. Любопытно, что по воспоминаниям графа Г. Олизара, страстно и безнадежно влюбленного в М. Н. Волконскую, на которые ссылается Щеголев, она в то время (1820 г.) представлялась ему «малоинтересным смуглым подростком»². В последующие годы она могла встречаться с Пушкиным мельком или случайно, как это произошло в 1826 году в салоне

¹ Томашевский Б. В. «Таврида» Пушкина // Уч. записки ЛГУ. Серия филологических наук. Вып. 16. № 122. 1949.

² Щеголев П. Е. С. 147.

З. А. Волконской, но этой встрече в пушкиноведении придали чрезмерное значение.

Воспоминания самой Марии Николаевны тоже не подтверждают версию Щеголева. Известное место в них, где тридцать с лишним лет спустя она утверждает, что Пушкин, оказавшийся невольным свидетелем ее игры с морской волной, «поэтизируя детскую шалость», написал затем «прелестные стихи», послужило в свое время основанием связать с ее именем XXXIII строфу первой главы «Евгения Онегина»¹.

Однако Ю. М. Лотман показал возможность «иной биографической трактовки строфы»: как следует из письма В. Ф. Вяземской мужу от 11 июля 1824 года из Одессы, эти стихи могут быть отнесены и к Е. К. Воронцовой. А сам Пушкин, посылая осенью 1824 года Вяземской из Михайловского в Одессу дополнение к первой главе (по мнению Лотмана, именно эту строфу), признавался: «Вот, однако, строфа, которою я вам обязан»².

Следовательно, отнесение этой строфы «Онегина» к М. Н. Волконской весьма проблематично. К тому же отброшенные в ее цитации строки, где поэт признается, что никогда еще «не желал с таким мученьем»

Лобзать уста молодых Армид,
Иль розы пламенных ланит,
Иль перси, полные томленьем... —

мягко говоря, слишком смело было бы относить к девочке-подростку.

Наконец, версия Щеголева никак не согласуется с «Донжунанским списком» Пушкина. Хотя мы и не склонны преувеличивать значение последнего, но и полностью игнорировать его существование вряд ли справедливо. А ведь в нем «утаенная

¹ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 1. М., 1974. С. 215.

² Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Л., 1983. С. 164.

любовь», которая, как принято считать, скрыта за обозначением «NN», находится между «Катериной» и «Кн. Авдотей», то есть между Е. С. Семеновой и княгиней Е. И. Голицыной, и должна относиться, следовательно, к петербургскому периоду жизни Пушкина, до ссылки на юг. Если учесть явно выраженную хронологичность списка, то и здесь версия Щеголева не выдерживает критики.

К М. Н. Волконской не могут быть отнесены ни элегия «Редет облаков летучая гряда...», как это доказал Томашевский, ни эпилог «Бахчисарайского фонтана», совершенно явно связанный с воспоминанием о «ранних», «прежних», отроческих годах автора («Ты возмужал средь испытаний, / Забыл проступки ранних лет...»), ни стихи «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» — как показала М. П. Султан-Шах¹, ни некоторые другие стихи, которые с легкостью связывали с ее именем в последние десятилетия. Нет оснований относить к ней и посвящение «Полтавы», но это утверждение требует специального рассмотрения, к которому мы теперь переходим.

2

В основе версии о М. Н. Волконской как предмете «утаенной любви» Пушкина лежит сомнительно истолкованная строка из черновика посвящения «Полтавы»: «Сибири хладная пустыня», найденная и расшифрованная самим Щеголевым. Он увидел в ней первоначальную редакцию стиха, вошедшего в окончательный пушкинский текст в следующем виде: «Твоя печальная пустыня...».

Заменяя «печальную пустыню» Сибирью, он получал местонахождение М. Н. Волконской в 1828 году, во время написания

¹ Султан-Шах М. П. М. Н. Волконская о Пушкине в ее письмах. 1830–32 гг. // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 1. М.; Л., 1956. С. 262–266. Более подробно эта работа будет рассмотрена нами в следующем разделе настоящей главы «Печаль моя полна тобою...».

посвящения. Однако такая замена совершенно неправомерна. Гершензон, а затем Тынянов убедительно показали, что эта черновая строка в сочетании с другой, впереди стоящей, обретает совсем не тот смысл, какой придавал ей Щеголев.

В черновике написано:

Что без тебя..... свет
Сибири хладная пустыня (V, 324),

то есть мир для поэта без этой женщины, к которой он обращается в посвящении, подобен Сибирской пустыне, Сибирь здесь — метафора¹. Без этого основного аргумента все остальные доводы Щеголева, как заметил еще Гершензон, «падают сами собой»².

Щеголев также придавал этому аргументу особое значение: «Все наши наблюдения приводят нас к заключению, что мучительным и таинственным предметом любви Пушкина на юге в 1820-м и следующих годах была М. Н. Волконская, но при всей их доказательности должно признать, что они все же нуждаются в фактическом подкреплении, которое возвело бы *предположения и догадки* на степень достоверного утверждения. Мы можем указать такое подкрепление (курсив наш. — В. Е.)»³, — заключал он с торжеством, переходя к анализу черновиков посвящения «Полтавы».

¹ Также в стихотворении «Увы! Язык любви болтливый...», обращенном к А. А. Олениной (черновик которого находится, кстати, среди черновых набросков первой песни «Полтавы»), метафорой, характеризующей положение поэта, является «жизненная пустыня»:

Благословен же будь отныне
Судьбою вверенный мне дар.
Доселе в жизненной пустыне,
Во мне питаю сердца жар...

Подобный же образ Пушкин через несколько месяцев собирался использовать и в посвящении «Полтавы».

² Гершензон М. В ответ П. Е. Щеголеву. С. 4.

³ Щеголев П. Е. Пушкин. Очерки. СПб., 1912. С. 164.

Однако позднейший текстологический анализ упомянутых черновых вариантов, произведенный Н. В. Измайловым, «подтвердил правильность понимания текста Гершензоном и показал, что стих “Сибири хладная пустыня” не может служить прямым аргументом для гипотезы Щеголева»¹. То есть, используя выражение самого Щеголева, его «предположения и догадки» все же не достигают «степени достоверного утверждения».

В упомянутой нами работе Щеголев провозглашал, что «в пушкиноведении изучение чернового рукописного текста становится вопросом метода, и в сущности ни одно исследование, биографическое и критическое, не может быть оправдано, если оно оставило без внимания соответствующие теме черновики»².

Однако сам он оказался не вполне последовательным в осуществлении провозглашенного им принципа, так как основывался лишь на изучении черновики «Посвящения» и оставил без всякого внимания черновики самой поэмы, которые ему также, разумеется, были хорошо известны. А ведь черновики поэмы, по-видимому, вполне «соответствуют теме» исследования, когда решается вопрос о том, кому эта поэма посвящена.

Если бы она действительно была посвящена М. Н. Волконской, то черновая рукопись поэмы содержала бы дополнительные подтверждения этому: графические изображения ее лица, фигуры или какие-либо иные знаки, свидетельствующие о том, что поэт в процессе работы над поэмой вспоминал свою давнюю знакомую, думал о ней, повторял ее имя. Ничего этого в рукописи нет. Там действительно находим мы женские профили и анаграммы женского имени, но относятся они к Анне Алексеевне Олениной.

Как известно, летом 1828 года Пушкин был настолько серьезно увлечен ею, что даже делал ей предложение, отвергнутое, впрочем, семьей Олениных. Рассматривая этот период жизни и творчества поэта, Т. Г. Цявловская сделала в свое время знаменательный вывод: «...мы не можем не указать, что, как бы ни были сложны и порой тяжелы для Пушкина отношения

¹ Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 570.

² Щеголев П. Е. Пушкин. Очерки. С. 165.

его к Олениной, она была центральным образом его лирики 1828 года и что она вдохновила поэта на создание одного из самых больших циклов любовных стихотворений за всю его жизнь»¹.

После признания столь важной роли Олениной в творческой биографии поэта представляется удивительным тот факт, что поэма «Полтава», также в 1828 году создававшаяся, до сих пор с ее именем никак не связывалась. А ведь именно отношения с Анной Олениной занимали мысли Пушкина в период работы над поэмой, о чем свидетельствуют его записи и рисунки в черновиках «Полтавы». Несмотря на то что почти все они уже публиковались в пушкиноведческой литературе, приведем их здесь (они находятся в тетради № 2371):

1) запись на л. 11/2, предположительно относящаяся к маю 1828 года (начало работы над поэмой):

[Olenina]

Pouchkine

[Annette];

2) запись на л. 48₁ по черновику первой песни, оконченной 3 октября 1828 года:

Olenine [Annette Pouch]

Olenine [AP]

[AP];

3) запись на л. 57₂ на полях третьей песни, писавшейся 9–16 октября 1828 года:

Aninelo

A.O.

A.O.

Aninelo

A.O.

Aninelo

Aninelo²;

¹ Цявловская Т. Г. Дневник А. А. Олениной // Пушкин. Исследования и материалы. Т. II. М.; Л., 1958. С. 292.

² Рукою Пушкина. Л., 1935. С. 314–317.

4) на л. 47₁ два известных пушкинистам профильных портрета А. А. Олениной;

5) на л. 46₁ слева под профильным изображением усатого украинца нами обнаружены не очень отчетливые буквы «АР», начертание которых сходно с теми, что находятся на л. 48₁.

Т. Г. Цявловской записи в тетради № 2371 откомментированы следующим образом: «Черновые рукописи Пушкина выдаются неуспокоившиеся мечтания его. Вновь появляются в рукописи заветные сочетания имен: "Olenine", "Olenine", "Annette Pouch", "Annette", "AP", "AP". Все, кроме фамилии Олениной, зачеркнуто. И еще через несколько страниц пишет поэт "Aninelo", "А.О." и вновь, и вновь повторяет эти начертания, тут же и дальше»¹.

В этих записях и рисунках чрезвычайно важны даты, раскрывающие динамику творческого процесса и связь его с размышлениями об Олениной:

- 1) на л. 11/2 — приблизительно 9 мая;
- 2) на л. 46₁, 47₁, 48₁ — не позднее 3 октября;
- 3) на л. 57₂ — с 9 по 16 октября.

27 октября 1828 г. в Малинниках было написано «Посвящение».

«Уехав из Петербурга, поэт увезет с собой и воспоминание о той, которая вдохновляла его и чей образ был для него путеводной звездой в трудные и напряженные месяцы весны и лета уходящего года. Чувство к Олениной впитало живые радости и тревоги, надежды и разочарования, одухотворило холодный и мрачный облик парадной столицы Российской империи с ее контрастами пышности и бедности, "стройным видом" и "духом неволи"»², — утверждает современный исследователь в очерке об Олениной, разумеется, по существующей традиции никак не связывая это свое заключение с поэмой «Полтава»...

Так обстоит дело с фактологической точки зрения. А если обратиться к тексту самого «Посвящения»?

¹ Цявловская Т. Г. Дневник А. А. Олениной. С. 273.

² Петербургские встречи Пушкина. Л., 1987. С. 239.

Отдельные его строки содержат совершенно явную образно-смысловую, а местами и лексическую перекличку с циклом стихотворений, обращенных к Олениной. Так, одним из центральных смысловых мотивов его является следующий: женщина, отвергнувшая в прошлом любовь поэта, всегда с безусловным одобрением относилась к его творчеству:

Узнай, по крайней мере, звуки,
Бывало милые тебе...

Этот же мотив содержится в обращенном к Олениной стихотворении «Увы! Язык любви болтливый...», по соседству с черновиком которого находится среди черновых набросков первой песни «Полтавы» первая из приведенных нами выше записей ее имени в тетради № 2371:

Тебя страшит любви признание,
Письмо любви ты разорвешь,
Но стихотворное посланье
С улыбкой нежною прочтешь.

Другим примером может служить слово «нежность» и образуемые от него эпитеты. Ведь «Посвящение» содержало в черновой рукописи признание: «I love this sweet name (Я люблю это нежное имя)». Характерно, что и в стихах, обращенных к Олениной, весьма часто встречаются «нежности»: «И сколько неги и мечты!..» («Ее глаза»); «С улыбкой нежною прочтешь...» («Увы! Язык любви болтливый...»); «Опечался: взор свой нежный...» («Предчувствие»); «Я вас любил так искренно, так нежно...» («Я вас любил, любовь еще, быть может...»). Известно, кроме того, что при выборе имени для героини поэмы Пушкин останавливал свое внимание и на имени Анна.

Третий пример переклички: в «Посвящении» поэт наделяет свою избранницу «душою скромной». А в стихах к Олениной, например, в стихотворении «Ее глаза», он видит в ней «детскую простоту», «скромную грацию», сравнивает с «ангелом

Рафаэля», в стихотворении же «Предчувствие» называет ангелом: «мой ангел», «ангел кроткий, безмятежный». Но ведь эти стихи создавались параллельно с работой над поэмой!

Однако самый яркий пример соотнесенности, внутренней связи посвящения «Полтавы» со стихами «оленинского цикла» дает сопоставление с указанными стихами того места «Посвящения», где поэт заклиняет свою избранницу помнить о том, какое место занимает она в его душе:

И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная пустыня,
Последний звук твоих речей
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.

То же заклинание, то же откровеннейшее признание находим мы в стихотворении «Предчувствие»:

Ангел кроткий, безмятежный,
Тихо молви мне: прости;
Опечалься: взор свой нежный
Подыми иль опусти;
И твое воспоминанье
Заменит душе моей
Силу, гордость, упованье
И отвагу юных дней.

Анна Ахматова в неоконченной работе о повести «Уединенный домик на Васильевском» охарактеризовала это стихотворение как крик о помощи:

«Что может быть пронзительней и страшнее этих воплей воистину как-то гибнущего человека, который взывает о спасении, взывает к чистоте и невинности». Полагая, что «Пушкин — Павел», «Оленина — Вера», Ахматова предположила,

что для Пушкина «Оленина — Вера была надеждой на спасение, очищение, прощение» в том глубочайшем духовном кризисе, который поэт переживал, по ее мнению, в 1828 году¹.

Теми же мотивами, только звучащими в более спокойной тональности, пронизано и посвящение «Полтавы». Ниже выделены совершенно явные лексические совпадения между двумя текстами:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| «Посвящение»: | «Предчувствие»: |
| И думай, что во дни <i>разлуки</i> , | Сохраню ль к <i>судьбе</i> презренье... |
| В моей изменчивой <i>судьбе</i> . | Но предчувствуя <i>разлуку</i> , |
| Твоя печальная пустыня, | Неизбежный грозный час, |
| <i>Последний</i> звук твоих речей... | Сжать твою, мой ангел, руку |
| | Я спешу в <i>последний раз</i> ... |

Такие совпадения находим и в других стихах:

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| «Посвящение»: | «Увы! Язык любви болтливый...»: |
| Коснется ль уха твоего... | Но сладок уху <i>милой</i> девы... |
| Бывало, <i>милые</i> тебе | Честолюбивый Аполлон |
| Ей <i>милы</i> мерные напевы... | |

Исчерпывающее объяснение выявленной нами внутренней связи между приведенными выше пушкинскими текстами заключается в признании того факта, что в основе всех этих поэтических явлений лежит один и тот же эмоциональный возбудитель — любовь Пушкина к Олениной летом 1828 года.

Необходимо остановиться также на стихе «Посвящения»:

Твоя печальная пустыня...

Помимо тех соображений, которые были высказаны критиками версии Щеголева и подтверждены позже (см. выше), заметим, что «печальная пустыня» совсем не обязательно должна

¹ Ахматова А. О Пушкине. Л., 1977. С. 220–221.

уподобляться Сибири. В пушкинское время пустынной могла называться любая малолюдная местность и даже деревенская жизнь. Так, в «Дубровском» Владимир находит письма матери к отцу, в которых она описывает мужу «свою пустынную жизнь» в Кистеневке; деревня названа «пустынным уголком» и в одноименном стихотворении. Так что «печальной пустыней» вполне могло быть осеннее Приютино, имение Олениных под Петербургом: «Барский дом стоял здесь над самой рекой и прудом, окаймленными дремучими лесами»¹. Н. И. Гнедич, близко знакомый с Пушкиным, воспевая Приютино и его окрестности в проникновенных стихах, посвященных хозяйке имения Е. М. Олениной, писал:

Уединение для сердца не пустыня:
 Мечтами населит оно и дикий бор;
 И в дебрях сводит с ним фантазия-богиня
 Свиданья тайные и тайный разговор.
 Пустыня не предел для мысли окрыленной:
 Здесь я невидимый все вижу над землей...²

Стихи эти наверняка были известны Пушкину. Характерно и то, что общий тон дневниковых записей Олениной, относящихся ко времени пребывания в Приютино, минорный. Например, 7 июля 1828 года она записывает: «...мне было очень грустно...», а 19 сентября того же года выносит в качестве эпиграфа:

«Что Анета, что с тобой?» — все один ответ:
 «Я грущу, но слез уж нет», —

а чуть далее записывает следующую фразу: «Но грустный оставим разговор»³.

¹ Устимович П. М. (см.: «Русская старина». Т. LXVII. Август. 1890. С. 392).

² Гнедич Н. Стихотворения. Поэмы. М., 1984. С. 91–95. Курсив наш.

³ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 67, 72.

Так что у Пушкина имелись основания, вспоминая об Олениной осенью 1828 года, написать: «Твоя печальная пустыня». Другой стих «Посвящения»: «Последний звук твоих речей», — подразумевал, возможно, прощание с Олениной в Приютино 5 сентября 1828 года, описанное в ее дневнике. Вот что она записала: «Прощаясь, Пушкин сказал, что он должен уехать в свое имение, если, впрочем, у него хватит духу, — прибавил он с чувством»¹. Вяземский в письме к своему другу 18 сентября 1828 года писал: «Ты говоришь, что бесприютен: разве уж тебя не пускают в Приютино?»² Действительно, общение с Олениными к этому времени прервалось. Но Приютино, «смирренная обитель» (Гнедич), прибежище людей искусства, многие из которых были близки Пушкину, не могло не вызывать у него благодарных воспоминаний. Поэтому строки «Посвящения»:

Твоя печальная пустыня,
Последний звук твоих речей
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей, —

гораздо уместнее отнести к Олениной и Приютину, нежели к Волконской и Сибири, как это сделал Щеголев, потому что трудно представить себе, чтобы место ссылки, «мрачные подземелья» рудников, «каторжные норы», где задохнулись осужденные участники восстания 1825 года, Пушкин в экстазе любовного упоения назвал святыней своей души! И кроме того, «печальная пустыня», «последний звук ... речей» и грамматически, и в смысловом плане подразумевают в авторском тексте единство времени и места: «последний звук» произнесен был именно в этой «пустыне», поэтому они и объединены автором в «одно сокровище», «одну любовь».

И все-таки нам могут возразить, что «Посвящение» нельзя относить к Олениной по той причине, что в черновой редакции 6-го стиха любовь поэта характеризовалась им самим как «ута-

¹ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 74.

² Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. Т. 1. С. 267.

енная», а об увлечении Пушкина Олениной знали многие. Щеголев, как известно, придавал большое значение этому варианту стиха. Он даже использовал его в заглавии своей известной статьи, где утверждал, что «Полтава» посвящена той же женщине, к которой поэт обращался в поэме «Бахчисарайский фонтан».

Но, во-первых, в окончательном тексте стихов определения «утаенная» все-таки нет, значит, Пушкин по каким-то причинам отказался от него, может быть, из-за того, что оно было не совсем точным.

А во-вторых, нет никаких указаний на то, что «утаенная любовь» в черновиках «Посвящения» как-то связана с той любовью, которую поэт вспоминает в эпилоге «Бахчисарайского фонтана», элегии «Погасло дневное светило...» и других произведениях тех лет. Та давняя, юношеская любовь характеризовалась им как «безумная», «безотрадная», — определение «утаенная» там ни разу не встречается; и наоборот, здесь не находится места тем эпитетам.

Кроме того, серьезного, решительного объяснения между Пушкиным и предметом его увлечения, по-видимому, так и не произошло. Сама Оленина не относилась к ухаживаниям Пушкина серьезно, избегала его откровений, так как боялась, чтобы он «не соврал чего в сентиментальном роде...»¹. Стихи же, обращенные к ней, могли восприниматься ею всего лишь как мадригалы, привычные для молодой и красивой светской девушки, фрейлины императорского двора...

Итак, в окончательном тексте «Посвящения» вместо «как утаенная любовь» мы имеем: «как некогда его любовь». Правда, и эта редакция, это «некогда» свидетельствует как будто бы о том, что речь идет о любви, отдаленной во времени, о чувстве, оставшемся в прошлом. Но таким, по мысли Пушкина, и должно было представляться Олениной его отношение к ней к моменту выхода поэмы из печати. Ведь «Посвящение» писалось в конце октября 1828 года, когда поэма была закончена и стоял вопрос об ее издании. При этом Пушкин не мог не отдавать себе

¹ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 67.

отчета в том, что поэма выйдет в свет и, следовательно, будет прочитана Олениной не раньше весны (а может быть, и лета) следующего года, то есть почти через год после кульминационного периода их отношений летом 1828 года. Для людей в возрасте 20 и 29 лет один год — довольно большой срок, вполне допускающий употребление наречия «некогда». Кроме того, этим «некогда» Пушкин в октябре 1828-го как бы подводил окончательную черту под пережитым им чувством.

Вообще, по-видимому, нет нужды чрезмерно нагружать дополнительным смыслом эти стихи «Посвящения»:

Иль посвящение поэта,
 Как некогда его любовь,
 Перед тобою без ответа
 Пройдет, непризнанное вновь?

Здесь «вновь», вероятно, следует понимать так, что посвящение может пройти перед избранницей поэта «непризнанным», как и его любовь, а совсем не в том смысле, будто раньше уже был какой-то поэтический текст Пушкина, «непризнанный», то есть не понятый этой женщиной (толкование Тынянова)¹. А «непризнанное» означает в этом случае не оцененное в полной мере — и вовсе не равнозначно «непонятому», то есть не принятому ею на свой счет (если бы было так, то все последующие обращения поэта в «Посвящении» повисали бы в воздухе: «Узнай, по крайней мере, звуки...», «И думай, что во дни разлуки...»). По толкованию же Тынянова получается, что автор говорит примерно следующее: «Если ты не принимаешь моего посвящения на свой счет, не понимаешь, что оно обращено к тебе, думай, по крайней мере, что все связанное с памятью о тебе («твоя пустыня», «звук твоих речей») является святыней моей души». Очевидно, что такое толкование пушкинских строк противоречит элементарной логике. На самом деле у поэта не было сомнений, что избранница поймет его, что поэма

¹ Тынянов Ю. Н. Безыменная любовь. С. 228–229.

посвящена ей, он просил ее о другом: «признать», оценить глубину и серьезность пережитого им чувства:

Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего...

Вообще пора признать, что идущая от Щеголева тенденция связывать посвящение «Полтавы» с «утаенной любовью» ничем не обоснована. В пушкинскую эпоху было принято предварять публикацию новой поэмы (или другого стихотворного сочинения крупной формы) посвящением в стихах. Это нам хорошо известно и на примере пушкинского творчества. Вспомним его посвящения к «Руслану и Людмиле», «Кавказскому пленнику», «Бахчисарайскому фонтану» (в форме вступления, исключенного впоследствии из окончательного текста), наконец к «Евгению Онегину». Посвящая «Полтаву», Пушкин, разумеется, не мог указать, кого он имеет в виду, так как стихи посвящения имели слишком личный характер. Тем не менее поэт подразумевал при этом вполне конкретное лицо с именем и фамилией, как и в случаях с «Кавказским пленником», «Бахчисарайским фонтаном», «Евгением Онегиным». Однако из-за отсутствия имени адресата на посвящении «Полтавы» вокруг него усилиями нескольких поколений пушкинистов был создан ореол особой таинственности. Представим себе на миг в этой связи, какие страсти разгорелись бы в пушкиноведении, если бы, например, на вступлении к «Бахчисарайскому фонтану» не было обозначено имя Н. Н. Раевского-младшего! Свидетелями каких изысканий, споров и гипотез мы могли бы стать! Именно такую ситуацию имеем мы с посвящением «Полтавы».

В «Посвящении» автор обращается к той, кому он посвятил «Полтаву», с просьбой:

Узнай, по крайней мере, звуки,
Бывало милые тебе... —

то есть пойми, что поэма посвящается тебе.

Одна из современниц поэта эту просьбу выполнила: она «узнала», поняла, что поэма «Полтава» посвящена ей. Этой женщиной, по свидетельству известного библиофила пушкинского времени Сергея Дмитриевича Полторацкого, была его двоюродная сестра А. А. Оленина. В перечень обращенных к ней стихов Пушкина, составленный в 1849 году Полторацким, первым пунктом он включил посвящение «Полтавы». Перечень этот был одобрен самой Олениной. Те же сведения Полторацкий повторил затем в рукописном библиографическом труде «Мой словарь русских писательниц»¹.

Можно ли доверять С. Д. Полторацкому? Он был знаком с Пушкиным, встречался с ним. Как и другой известный библиофил пушкинского времени, друг Пушкина С. А. Соболевский, он «с юных лет и до последнего вздоха в меру своих сил и в рамках библиофилии и библиографии боролся за правдивую публикацию и точное комментирование того, что создал Пушкин», ему было присуще «упорное стремление доискаться до всего и подобрать все, прежде чем опубликовать...»².

А можно ли доверять мнению Олениной? Оно, безусловно, заслуживает нашего внимания.

Во-первых, насколько нам известно, больше никто из современниц поэта не относил «Посвящение» на свой счет. Скажем, М. Н. Волконская в воспоминаниях, написанных спустя много лет после смерти Пушкина, указала ведь на некоторые пушкинские тексты, которые считала связанными с нею, но «Полтаву» вообще не упомянула.

Во-вторых, нельзя не учитывать, что А. А. Оленина была хорошо образована литературно и весьма заинтересованно относилась к творчеству Пушкина. По воспоминаниям О. Н. Оом, под некоторыми пушкинскими стихами, находившимися в ее альбоме, она делала поясняющие пометки, например, отметила, что в стихотворении «Ее глаза» второй стих «Твоя Россети егоза» был впоследствии заменен другим: «Придворных

¹ Крамер В. В. С. Д. Полторацкий в борьбе за наследие Пушкина // Временник Пушкинской комиссии 1967–1968 гг. С. 60.

² Кунин В. В. Библиофилы пушкинской поры. М., 1979. С. 288–302.

витазей гроза»¹. И уж надо думать, что текст «Посвящения» был внимательнейшим образом перечитан ею.

Кроме того, в поэме достаточно четко намечена сюжетная линия с биографическим подтекстом: неразделенная любовь к Марии безымянного казака, сподвижника Кочубея:

Вечерней, утренней порой,
 На берегу реки родной,
 В тени украинских черешен,
 Бывало, он Марию ждал,
 И ожиданием страдал,
 И краткой встречей был утешен.
 Он без надежд ее любил...

Последний стих — это то же горестное признание, что прозвучало позднее открыто (как авторское) в стихотворении «Я вас любил, любовь еще, быть может...»², вписанном в альбом Олениной: «Я вас любил безмолвно, безнадежно...». Этот стих мог укреплять уверенность Олениной в том, что «Посвящение» обращено к ней.

Щеголев, имея в виду М. Н. Волконскую, задавался вопросом, «не собственную ли свою историю рассказывает в этих стихах Пушкин»³? Замечание очень верное, только подразумевать здесь, по-видимому, следует «историю» любви к Олениной летом 1828 года. Стихи, в которых биографический оттенок проступал слишком явно, Пушкин исключил из окончательной редакции. Вот они:

Убитый ею, к ней одной
 Стремил он страстные желанья,

¹ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 400.

² Стихотворение это после обстоятельного анализа известных фактов Т. Г. Цявловская все же отнесла к Олениной. См.: *Цявловская Т. Г. Дневник А. А. Олениной.*

³ *Щеголев П. Е. Пушкин. Очерки.* С. 180.

И горький ропот, и мечтанья
 Души кипящей и больной...
 Еще хоть раз ее увидеть
 Безумной жаждой он горел;
 Ни презирать, ни ненавидеть
 Ее не мог и не хотел... (V, 330–331).

Но все же многими пушкинистами, например В. В. Куниным, не принято всерьез свидетельство С. Д. Полторацкого относительно посвящения «Полтавы», хотя и признается, что поэма «действительно писалась в кульминационный момент разрыва с Олениной» и что «черновики поэмы хранят прямые подтверждения этому: профили Анны Алексеевны и ее инициалы»¹.

Это тем более удивительно, что версия о посвящении поэмы М. Н. Волконской не имеет никаких подтверждений. Одно только слово «Сибирь», обнаруженное некогда Щеголевым в черновых набросках «Посвящения», продолжает гипнотизировать сторонников этой красивой пушкиноведческой легенды.

3

Кроме П. Е. Щеголева и М. О. Гершензона, свои предположения о предмете «утаенной любви» Пушкина пытались обосновать П. К. Губер, Л. П. Гроссман, Ю. Н. Тынянов, Б. В. Томашевский.

Работы Тынянова и Томашевского мы уже упоминали и рассмотрим их более подробно чуть позже, что же касается догадок Губера (о графине Н. В. Кочубей)² и Гроссмана (о графине С. С. Потоцкой-Киселевой)³, то они представляются нам еще менее обоснованными, чем версия Щеголева, хотя и не лишены увлекательности.

¹ Друзья Пушкина. Т. 2. М., 1984. С. 398.

² Губер П. Дон-жуанский список А. С. Пушкина. Пб., 1923. С. 265–287.

³ Гроссман Л. П. У истоков «Бахчисарайского фонтана» // Пушкин. Исследования и материалы. Т. III. Л., 1960.

Более сложно однозначно оценить гипотезу Тынянова, по которой предметом «кутаенной любви» Пушкина является Е. А. Карамзина. Появившаяся в пору почти безраздельного торжества версии Щеголева, она не была рассмотрена всерьез, но никем до сих пор и не опровергнута. Между тем некоторые аргументы Тынянова заслуживают внимания.

Биографической основой гипотезы служат рассказы Е. А. Протасовой и графа Д. Н. Блудова, известные по записи П. И. Бартенева. Из этих рассказов следует, что Карамзиной была передана любовная записка лицеиста Пушкина, в результате чего Пушкин имел серьезное объяснение с Карамзиным. Блудов, в частности, вспоминал, что «Карамзин показывал ему место в своем кабинете, облитое слезами Пушкина»¹. Тынянов связывает с этими рассказами элегию 1816 года «Счастлив, кто в страсти сам себе...», особенно ее заключительные стихи:

Но я, любовью позабыт,
Моей любви забуду ль слезы!

«Слезы» в рассказах графа Блудова и в элегии исключают, по мнению Тынянова, всякие сомнения в том, что Пушкин в 1816 году мучительно переживал свою любовь к Екатерине Андреевне. Существование такой любви подтверждается и другими современниками поэта. Так, графиня Р. С. Эдлинг в своем письме от 17 марта 1837 года В. Г. Теплякову, упоминая о предсмертном желании поэта видеть Карамзину, пишет: «Меня очень тронуло известие, что первая особа, о которой после катастрофы спросил Пушкин, была Карамзина, предмет его первой и благородной привязанности»². «Первой любовью Пушкина» называет Карамзину и А. П. Керн в своих воспоминаниях³.

Но едва ли не самое важное свидетельство этой любви, почему-то оказавшееся вне поля зрения Тынянова, принадлежит

¹ Тынянов Ю. Н. С. 213.

² Там же. С. 217.

³ Керн А. П. Воспоминания. М., 1989. С. 95.

лицейскому товарищу поэта Ивану Васильевичу Малиновскому, сыну первого директора лицея В. Ф. Малиновского. Оно было обнаружено Цявловским и опубликовано в 1930 году¹. Речь идет о помете И. В. Малиновского на полях оттиска статьи П. И. Бартенева «Александр Сергеевич Пушкин. Материалы для его биографии. Глава 2-я. Лицей» из «Московских ведомостей» за 1854 год, № 117–119. На стр. 44 оттиска к словам П. И. Бартенева: «Пушкин горячо полюбил Николая Михайловича и супругу его» — рукой Малиновского карандашом написано: «Пушкин влюбился в его жену так, что написал ей письмо прозой о том. Отец его был с детства знаком с моим дядей П. Ф. Малиновским, прислал это письмо, переданное от Карамзина, моему дяде с тем, чтоб ему дать... Я помню это перед выпуском этот день».

Как известно, день выпуска из лицея — 9 июня 1817 года. Значит, к этому моменту эпизод с письмом формально еще не был завершен. Только в тот день, как следует из воспоминания Малиновского, злополучное письмо, по-видимому с назидательной целью, было возвращено его автору, пройдя предварительно через руки третьих лиц.

Вряд ли требуются еще какие-то доказательства тайной любви Пушкина к Карамзиной в 1816–1817 годах, а также факта существования любовного послания к ней.

Причины, по которым Пушкин должен был таить от всех эту свою любовь, психологически точно очерчены Тыняновым: «Старше его почти на 20 лет... жена великого писателя, авторитета и руководителя не только литературных вкусов его молодости, но и всего старшего поколения, от отца Сергея Львовича до П. А. Вяземского, она была неприкосновенна, самое имя ее в этом контексте — запретно»².

Все это делает довольно убедительным и предположение Тынянова о том, что в элегии 1820 года «Погасло дневное светило...» поэт вспоминает именно эту свою «безумную» любовь.

¹ Цявловский М. А. Заметки о Пушкине // Пушкин и его современники. Л., 1930. С. 38–39.

² Тынянов Ю. Н. С. 218.

Идя вслед Тынянову, мы готовы признать, что элегия «Счастлив, кто в страсти сам себе...» и «Погасло дневное светило...», а также эпилог «Бахчисарайского фонтана» связаны с Е. А. Карамзиной. Жаль только, что его анализ отмеченных текстов (весьма убедительный для тех, кто разделяет его точку зрения) не получил достаточных фактических подтверждений.

Правда, от всех других версий относительно «утаенной любви» гипотезу Тынянова, как мы уже отметили, отличают свидетельства современников, подтверждающие факт влюбленности юного Пушкина в Е. А. Карамзину¹.

Однако, чем дальше отходим мы от 1816 года, тем слабее становится вероятность сохранения этой любви. В первой главе «Евгения Онегина» (она была закончена осенью 1823 года) содержится достаточно ясное указание на то, что к этому времени какая-то мучительная и длительная по времени любовь поэтом уже преодолена:

Прошла любовь, явилась муза,
И прояснился темный ум...

Говорить о «северной любви» после 1822 года не имеет смысла. Другое дело, что Пушкин на всю жизнь сохранил привязанность и глубочайшее уважение к Екатерине Андреевне. И здесь совершенно прав Тынянов, напоминая о том, что Пушкин обращался к ней в самые критические моменты жизни: он хочет знать ее мнение о своей предстоящей женитьбе, среди немногих близких людей она была посвящена им в обстоятельства его преддуэльной истории, наконец, о ней вспоминает поэт на смертном одре, и она приезжает, чтобы проститься с ним. Но Тынянов, как это часто бывает, не смог преодолеть своей

¹ Предположение Гроссмана о тайной любви Пушкина к Софье Станиславовне Потоцкой (в замужестве Киселевой) вообще ни на чем не основано, поскольку не установлен факт их личного знакомства в Петербурге до 1820 года. Гроссман исходит из того, что они должны были встречаться в свете и что она была очень красива, этого, конечно, недостаточно.

увлеченности предметом исследования и пошел дальше, чем позволял это сделать исследуемый материал.

Вообще существующая тенденция связать с одним лицом написанные на юге элегии, эпилог «Бахчисарайского фонтана», посвящение «Полтавы», стихи «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Не пой, красавица, при мне...» и некоторые другие стихи — мало плодотворна. Более вероятно, что они обращены к разным женщинам. Не менее загадочны ведь и «два ангела», «два призрака молодые» из черновой рукописи стихотворения «Воспоминание», но это не означает, что и «Воспоминание» обязательно следует включать в тот же ряд. Объединение всех этих произведений одной жесткой исследовательской схемой вряд ли оправдано. Реальная жизнь, тем более жизнь гениального поэта, намного, думаем, сложнее, чем это может представиться даже самому талантливому исследователю.

В то же время не следует пренебрегать наблюдениями, накопленными в результате анализа отдельных произведений, традиционно объединяемых проблемой «утаенной любви». В этом плане гипотеза Тынянова в своей наиболее убедительной части (период с 1816 по 1822 год) заслуживает внимания. К сожалению, вне поля его зрения остались еще два пушкинских текста, которые, по нашему мнению, могут иметь самое непосредственное отношение к Е. А. Карамзиной.

4

Более полувека отделяет нас от времени опубликования тыняновской статьи. Появилось немало работ, посвященных этой теме, годам южной ссылки поэта. В одной из них — «“Таврида” Пушкина» Томашевского — было установлено, что в элегии «Редет облаков летучая гряда...» в качестве «девы юной» запечатлена Екатерина Раевская, дочь генерала Н. Н. Раевского, с семьей которого Пушкин находился в Гурзуфе с 18 августа по 5 сентября 1820 года. Речь идет о трех последних стихах элегии:

Когда на хижины сходила ночи тень —
И дева юная во тьме тебя искала
И именем своим подругам называла.

Доказательством послужило следующее место из письма М. Ф. Орлова от 3 июля 1823 года к его жене Е. Н. Раевской, в брак с которой он вступил на следующий год после пребывания Пушкина в Гурзуфе: «Среди стольких дел, одно другого скучнее, я вижу твой образ, как образ милого друга, и приближаюсь к тебе или воображаю тебя близкой всякий раз, как вижу памятную Звезду (fameuse Etoile), которую ты мне указала. Будь уверена, что едва она всходит над горизонтом, я ловлю ее появление с моего балкона»¹.

Из письма видно, что Е. Н. Раевская считала свою некую звезду, восходившую вечером на гурзуфском небосклоне, и любила показывать ее близким.

Стихотворение возвращает нас к кругу переживаний, знакомых нам по другой элегии 1820 года «Погасло дневное светило...», комментарии по поводу которой Тынников дал в своей статье, — это печаль, воспоминание о несчастной любви прежних лет.

Луч звезды «думы разбудил, уснувшие во мне», вызвал опять «сердечную думу», «задумчивую лень», которые долго владели поэтом на юге, «во всяком случае до Одессы», как отмечал Гершензон². Следы этого состояния находим и в «Отрывке из письма к Д.»: «Растолкуй мне теперь, почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить эти места, оставленные мною с таким равнодушием? Или воспоминание самая сильная способность души нашей, и им очаровано все, что подвластно ему?» (VIII, 439).

Это «все» — очевидно, местность, пейзаж. Но может ли быть пейзаж «очарован воспоминанием» лишь после того, как

¹ Томашевский Б. В. «Таврида» Пушкина. С. 121.

² Гершензон М. Северная любовь А. С. Пушкина. С. 285.

носитель этого воспоминания его покинул, лишился возможности наблюдать его непосредственно? Конечно, нет.

Значит, местность, пейзаж были «очарованы воспоминанием» во время лицезрения их Пушкиным в 1820 году. Благодаря этому воспоминанию, мучившему поэта летом того года, столь дороги теперь для него эти места, оставленные им несколько лет назад без сожаления.

Так комментируется пушкинское признание и Тыняновым: «Крым, который он покидал с таким равнодушием, был для него местом, в котором он испытал воспоминания»¹.

В приведенной нами части элегии нет никакого повода для того, чтобы считать ее обращенной к какой-то присутствующей рядом с поэтом женщине. Да и ничьего реального присутствия в стихотворении не ощущается. Только в последних трех стихах, приведенных выше, вспоминается «дева юная», которая «искала» звезду, созерцаемую теперь поэтом, погруженным в глубокую задумчивость, в воспоминание. Нет ничего, что говорило бы о любовном волнении поэта по отношению к «деве», его отношение к ней совершенно бесстрастно².

Между тем Пушкин настоятельно требовал издателей альманаха «Полярная звезда» отбросить эти три последние стиха элегии. Кого же они компрометировали?

Томашевский доказал, что «девой юной», называвшей звезду своим именем, была Екатерина Раевская. Но из этого вовсе не следует, что она — героиня его «утаенной любви». Во всяком случае, в рассматриваемом стихотворении невозможно найти каких-либо любовных мотивов, обращенных к «деве юной». Если же перевести вопрос в биографическую плоскость, то необходимо отметить, что брак Е. Н. Раевской с М. Ф. Орловым не вызвал у Пушкина заметных переживаний. В письме к А. И. Тургеневу от 7 мая 1821 года он сообщает об этом событии в довольно-таки фривольном тоне: «Орлов женится; вы спросите,

¹ Тынянов Ю. Н. С. 225.

² На это указывал в свое время и Гершензон в упоминаемой нами работе.

каким образом? Не понимаю. Разве он ошибся плешью и ... головою. Голова его тверда; душа прекрасная; но черт ли в них? Он женился, наденет халат...» (XIII, 29). Никакого следа тайных страданий не содержат и стихи, обращенные к В. Л. Давыдову, написанные месяцем раньше («Меж тем, как генерал Орлов»), где «Раевские» упоминаются только во множественном числе, — в отличие от того, что делал Пушкин при упоминании Карамзиных, специально выделяя Е. А. Карамзину¹.

Через несколько лет (точнее, через 4 года) он запросто называл Екатерину Николаевну Раевскую «славной бабой» (XIII, 226) и еще более бесцеремонно вспоминал ее в письме к Вяземскому, написанном около 7 ноября 1825 года (XIII, 240).

В чем же дело, что смущало Пушкина в заключительных строках элегии? Выскажем предположение, что его могло смущать имя звезды. Оно ведь косвенно (для него самого и для тех, кто находился в те дни, когда он созерцал звезду, рядом с ним) было названо: ЕКАТЕРИНА! То есть было указано на имя, которое он предпочитал навсегда сохранить в тайне. Не исключена и возможность того, что Е. А. Карамзина тоже считала эту звезду своею и что Пушкин знал об этом. Как бы то ни было, Пушкин действительно был искренне взволнован нарушением его воли. Вспомним, что писал он А. А. Бестужеву 29 июня 1829 года: «Бог тебя прости! но ты острамил меня в нынешней "Звезде" — напечатал последние стихи моей элегии; черт дернул меня написать еще кстати о "Бахчисарайском фонтане" какие-то чувствительные строчки и припомнить тут же элегическую мою красавицу. Вообрази мое отчаяние, когда увидел их напечатанными.

Журнал может попасть в ее руки. Что ж она подумает, видя, с какой охотой беседую об ней с одним из петербургских моих приятелей. Обязана ли она знать, что она мною не названа, что

¹ Например, в письме к брату от 20 декабря 1824 года он просит: «Напиши мне нечто о Карамзине, ой, вых...» (XIII, 130). То же в записке к Жуковскому 1819 года: «...Скажи, не будешь ли сегодня с Карамзиным, с Карамзиной?» (II, 98).

письмо распечатано Булгариным — что проклятая элегия доставлена тебе черт знает кем — и что никто не виноват. Признаюсь, одной мыслию этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики. Голова у меня закружилась...» (XIII, 100–101)¹.

Вряд ли эта характеристика («одной мыслию этой женщины» и т. д.) может относиться к Е. Н. Раевской, которую Пушкин действительно высоко ценил, что не помешало ему буквально через год упоминать ее имя в письмах к Вяземскому в весьма вольном контексте.

Трудно понять, почему бы у Пушкина должна была «закружиться голова», если бы издание Булгарина попало в руки Е. Н. Раевской, что компрометировало ее в процитированном там отрывке пушкинского письма?

Совсем иное дело, если подразумевать здесь Е. А. Карамзину: самое имя ее запретно для Пушкина в этом контексте.

Тем не менее в письме к Бестужеву Пушкин подчеркнул, что женщина, к которой обращена элегия, и женщина, рассказавшая ему о «фонтане слез», — одно и то же лицо. И это крайне важно. Именно это указание Пушкина и должно быть

¹ Ф. В. Булгариным в «Литературных листках» (1824 г., ч. 1) был опубликован следующий отрывок из пушкинского письма Бестужеву от 8 февраля 1824 года, где речь идет о «Бахчисарайском фонтане»: «Недостаток плана не моя вина. Я суеверно переключивал в стихи рассказ молодой женщины. (*Aux douces lois des vers je pliais les accents De sa bouche aimable et naïve*). Перевод: «К нежным законам стиха я приравнивал звуки ее милых и бесхитростных уст»). Впрочем, я писал его единственно для себя, и печатаю потому, что...» (XIII, 88).

Тынянов замечает по этому поводу: «Жажда высказаться здесь необыкновенная, а фраза о молодой женщине (что не подходит к годам Карамзиной) вовсе не маскировка, а власть образа, переведенное начало цитаты из Андре Шенья «*La jeune captive*» — «Молодая узница»... Как часто у Пушкина цитата, быть может, имеет расширительное значение. Образ «молодой узницы», так же как собственных томительных дней (*mes jours languissants*) — быть может, воспоминание образов собственного лицейского «заточения» и царскосельского одиночества красавицы Карамзиной» (С. 223–224).

применено в качестве объективного критерия при оценке достоверности той или иной гипотезы, выдвинутой для решения проблемы «утаенной любви».

По этому признаку не выдерживают проверки версии Щеголева, Губера, Гроссмана, так как ни к М. Н. Волконской, ни к Н. В. Кочубей, ни к С. С. Киселевой не может быть отнесена элегия «Редет облаков летучая гряда...». После исследования Томашевского можно считать установленным, что женщина, к которой обращена эта элегия, звалась Екатериной.

Полгода спустя, в «Отрывке из письма к Д.», Пушкин почти назвал ее: «В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слышал о странном памятнике влюбленного хана. К** поэтически описывала мне его, называя *la fontaine des larmes...*» (VIII, 438). В черновом варианте письма было: «К*** поэтически описал мне его и назвал...» (VIII, 1000).

Замена мужского рода на женский в окончательном тексте свидетельствует о том, что таким образом (буква со звездочками) Пушкиным обозначена фамилия, а не имя — сначала мужа, а затем жены. Это косвенно подтверждается и тем, что, как заметил Тынянов, в «Отрывке...» все фамилии обозначены начальными буквами: Дельвиг, Муравьев-Апостол, Чаадаев. С учетом всего отмеченного трудно предположить другой вариант расшифровки фамилии, обозначенной Пушкиным заглавной буквой «К» со звездочками.

И следовательно, женщиной, рассказавшей поэту о фонтане в Бахчисарае, вероятнее всего признать Е. А. Карамзину. Тынянов отмечал, что именно она могла знать старое предание, положенное Пушкиным в основу поэмы, так как была в курсе всех исторических интересов своего мужа, в том числе к Крыму — Тавриде. Ее же имя косвенно обозначено в элегии «Редет облаков летучая гряда...» через имя звезды, принятое в семье Раевских.

Итак, с одной стороны, имя этой женщины для Пушкина неприкосновенно, он готов навсегда сохранить его в тайне, с другой стороны, он едва сдерживает себя, чтобы не произнести его вслух.

На это обратил внимание Лотман в своей биографии поэта. Он считает, что Пушкин намеренно распространил среди друзей полный текст элегии, а затем «наложил вето на последние три стиха», чтобы привлечь к ним внимание, дать понять, что они содержат «важную для него тайну». При этом, признавая неподдельную искренность тона в письме к Бестужеву, Лотман справедливо отмечает, что на роль «утаенной любви» Пушкина в качестве «наиболее вероятных кандидатур» не подходят ни Мария Николаевна, ни Екатерина Николаевна Раевские. Не видя других «вероятных кандидатур», Лотман делает сомнительный вывод о том, что Пушкин просто «мистифицировал Бестужева, а через него наиболее важный для него круг читателей для того, чтобы окружить свою элегическую поэзию романтической легендой» в духе Байрона¹.

Нам представляется, что гораздо ближе к истине другой взгляд на характер пушкинской лирики, высказанный в свое время Гершензоном: «Пушкин необыкновенно правдив, в самом элементарном смысле этого слова; каждый его личный стих включает в себе автобиографическое признание совершенно реального свойства, — надо только пристально читать эти стихи и верить Пушкину»².

Поучительно, что, как это часто бывает, при неверной общей посылке Лотман допускает и частную ошибку, когда, касаясь «Бахчисарайского фонтана», утверждает: «...никакого "любовного бреда", якобы выпущенного при публикации, там не содержится»³.

Известно обратное: во всех прижизненных изданиях поэмы выпускались, начиная со строки: «Все думы сердца к ней летят», те десять стихов, которые Пушкин называл «любовным бредом».

Поэтому совершенно прав Тынянов, объясняя указанное противоречие между художественными текстами и письмами

¹ Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин. Л., 1983. С. 73.

² Гершензон М. С. 275.

³ Лотман Ю. М. С. 74.

Пушкина (неприкосновенность имени Е. А. Карамзиной и едва преодолеваемая потребность высказаться) следующим образом: «Это удивительная черта Пушкина: он должен скрывать, таить от всех любовь, имя женщины, а жажда высказаться, назвать ее до такой степени его мучит, что он то и дело проговаривается»¹.

Можно даже предположить, что признания Пушкина, содержащиеся в его письмах А. А. Бестужеву от 8 февраля и 29 июня 1824 года, брату Л. С. Пушкину от 25 августа 1823 года и П. А. Вяземскому от 4 ноября 1823 года, а также в «Отрывке из письма к Д.», являются своего рода неофициальным посвящением упоминаемых в них произведений, уклончивым намеком для наиболее близких людей на то, что эти произведения связаны с именем Е. А. Карамзиной.

В 1827 году Пушкин посвятил дочери Карамзиных Екатерине Николаевне стихотворение, которое известно под названием «Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной»:

Земли достигнув наконец,
От бурь спасенный Провиденьем,
Святой владычице пловец
Свой дар несет с благоговеньем.
Так посвящаю с умиленьем
Простой, увядший мой венец
Тебе, высокое светило,
В эфирной тишине небес,
Тебе, сияющей так мило
Для наших набожных очес.

¹ Тынянов Ю. Н. С. 224.

В этом стихотворении женщина снова явлена в образе звезды. Здесь, быть может, Пушкин невольно перенес на дочь чувство, навеянное ему в прежние годы Екатериной Андреевной. Во всяком случае, ответ той «печальной, вечерней звезды» из элегии 1820 года лежит и на этом стихотворении:

Я помню твой восход, знакомое светило... (элегия),
Тебе, высокое светило... («Акафист...»).

Однако и с этим стихотворением не все ясно.

Начнем с того, что в черновой рукописи указаны рукой поэта дата и место написания: 31 июля 1827 года, Михайловское. А белой автограф обнаружен в альбоме Екатерины Николаевны, куда стихи были вписаны в день ее именин 24 ноября 1827 года. Значит, стихотворение обдумывалось за несколько месяцев до встречи.

Для сравнения отметим, что, например, стихотворение «В отдалении от вас...», посвященное Е. Н. Ушаковой, написано непосредственно перед отъездом из Москвы в Петербург; стихотворение «Зачем твой дивный карандаш...», посвященное А. А. Олениной, написано прямо на пароходе, шедшем в Кронштадт, где Пушкин только что познакомился с известным английским портретистом Дау; «Ты и вы», обращенное также к А. А. Олениной, — за неделю до его вручения ей и т. д. (примеры можно продолжить). «Акафист...» обдумывался заранее, следовательно, ему придавалось особое значение.

Известно, что Пушкин впервые после ссылки приехал в Петербург в мае 1827 года и здесь, разумеется, виделся с Карамзинными, а в конце июля выехал из Петербурга в Михайловское, где начал первое свое прозаическое произведение — исторический роман из эпохи Петра I, известный нам под названием «Арап Петра Великого». Начало работы помечено той же датой, что и черновая рукопись «Акафиста...»: 31 июля 1827 года. Первый опыт исторической прозы не мог не обратить его мыслей к Карамзину, умершему годом ранее, а следовательно, и к членам

его семьи. Это подтверждается письмом к А. А. Дельвигу от того же 31 июля из Михайловского: «Наше молчание о Карамзине и так неприлично...» (XIII, 335). На фоне этих размышлений создавалась черновая редакция «Акафиста...».

Обратимся к содержанию стихотворения. В нем воздается благодарение женщине, служившей автору путеводной звездой в жизненных злоключениях. «Достигнув земли», автор благодарит эту женщину за то, что она, подобно звезде, указывала ему путь в житейских скитаниях. Поэтому автор и посвящает ей свой поэтический венец. «Земля» может обозначать здесь окончательное освобождение из ссылки, в которой Пушкин (если иметь в виду Петербург) пребывал до мая 1827 года, и лишь теперь ему наконец было разрешено возвратиться в Петербург (в таком плане несомненна внутренняя связь этих стихов с «Арионом»).

Но трудно, скорее даже невозможно, объяснить, каким образом это благодарение может относиться к Екатерине Николаевне, которой в это время не исполнилось еще 21 года (следовательно, в год высылки поэта из столицы не было и 14-ти)!

Такое сомнение уже высказывалось в свое время Н. О. Лернером, когда адресат стихотворения еще не был установлен: «Что касается Карамзиных, то едва ли такой благоговейный “акафист” мог быть написан Катерине Николаевне, дочери историка. *В таком тоне Пушкин мог обратиться разве к вдове Карамзина, которую, как известно, высоко уважал...*» (курсив наш. — В. Е.)¹.

Кроме того, нужно учесть, что под обретением земли могла подразумеваться и переоценка собственных политических взглядов. Известно, что оппозиционный дух, безрассудные выпады против власти, свойственные юному Пушкину, вызывали неодобрительную реакцию Н. М. Карамзина, писавшего И. И. Дмитриеву 25 сентября 1822 года: «Талант действительно

¹ Пушкин А. С. Собр. соч.: В 6 т. / Под ред. С. А. Венгерова. Т. IV. Пб., 1910. С. ЛП.

прекрасный: жаль, что нет устройства и мира в душе, а в голове ни малейшего благоразумия»¹.

Екатерина Андреевна, единомышленница и надежная помощница мужу в его трудах, скорее всего, разделяла его упреки в адрес Пушкина. Например, в письме по поводу женитьбы Пушкина она характеризовала всю его прежнюю жизнь как «бурную и мрачную»².

Таким образом, эволюция, совершившаяся во внутреннем развитии Пушкина, протекала в направлении умеренности и консерватизма, что сближало пушкинскую общественную позицию с позицией Карамзина. Добавим к этому, что Екатерина Андреевна сыграла, по-видимому, важную роль в смягчении наказания, грозившего поэту в 1820 году (такое предположение высказывалось и Тыняновым).

Все это дает основания утверждать, что у Пушкина имелось много причин обратиться именно к Екатерине Андреевне как к «святой владычице», «высокому светилу» и посвятить с «благоговением» и «умилением» свой поэтический венец именно ей.

В этой связи заслуживает упоминания давнее сообщение В. В. Вересаева, содержащееся в его статье «Таврическая звезда»: «От М. О. Гершензона я слышал, что Вяч. Ив. Иванов толкует разбираемое место так: в средневековых католических гимнах Дева-Мария называется *stella maris* (звезда моря), а *stella maris* было название планеты Венеры. Мне такое объяснение представляется слишком ученым и громоздким: ну, где было знать Пушкину и девицам Раевским, как называли Деву-Марию средневековые католические гимны? Однако веское подтверждение мнению Вяч. Ив. Иванова мы находим в черновике Пушкинского “Акафиста К. Н. Карамзиной”:

Святой владычице,
Звезде морей, небесной Деве...

¹ Друзья Пушкина. Т. 1. М., 1984. С. 539.

² Там же. С. 547.

Значит Пушкину было известно название Девы-Марии — *Stella mans...*¹.

Указание Вересаева дает основание предположить, что с Е. А. Карамзиной каким-то образом связана одна из важнейших тем пушкинского творчества — тема Богоматери. Подобное предположение высказал и Л. С. Осповат в устном докладе «Поэт, Мадонна и бес» на конференции «Пушкин и христианская культура», прошедшей в феврале 1992 года в ИМЛИ РАН.

Говоря об автографе «Акафиста...», следует также учесть, что именины Екатерины Николаевны 24 ноября были и именинами Екатерины Андреевны (день ее рождения 16 ноября). Поэтому в душе, тайно от всех, стихи могли быть обращены к Екатерине Андреевне. А посвящая их Екатерине Николаевне, вписывая текст в ее альбом, Пушкин мог надеяться, что стихи будут прочитаны и Екатериной Андреевной, а, следовательно, его искреннее благодарение дойдет до истинного адресата.

Подтверждением того, что наше предположение не беспочвенно, может служить история другого пушкинского автографа, обнаруженного в альбоме С. Н. Карамзиной. Речь идет о стихотворении «Три ключа», вписанном в альбом падчерицы Екатерины Андреевны примерно в то же время, что и «Акафист...» в альбом Е. Н. Карамзиной. В этом случае как будто бы нет оснований считать, что стихотворение «Три ключа» обращено к обладательнице альбома. Правда, оно не имеет и прямого посвящения, каким обладает «Акафист...», но это не отменяет самого факта: стихи, вписанные в альбом Пушкиным, по видимому, не обращены к его владелице. Причем и тут имеется странная особенность, на которую указал Б. Л. Модзалевский: «Написав 7 стихов, Пушкин оборвал последний 8-й стих на третьем слове и после шутливой приписки "achevez le vers comme il vous plaira" <закончите стих, как вам будет угодно> — на другой странице дал его целиком со словами "le voila <вот он>": Он слаще всех жар сердце утолит. Ниже этой строчки слева

¹ Пушкин и его современники. Вып. XXXVII. Л., 1928. С. 124.

было написано еще две коротких строчки, но они ”тщательно и осторожно выскоблены”»¹.

Для кого выделены были слова «жар сердца утолит», какое указание содержал выскобленный текст — остается загадкой.

Что же касается «Акафиста...», то в строгом смысле слова — это хвалебное песнопение в честь святого. И поэтому, даже если это песнопение, посвященное рукою Пушкина Е. Н. Карамзиной, действительно обращено к ней, — все равно всем своим образным строем, доверительностью интонации оно невольно вызывает в сознании читателя светлый образ Екатерины Андреевны Карамзиной.

1997

«ПЕЧАЛЬ МОЯ ПОЛНА ТОБОЮ...»

1

В 9-м выпуске «Московского пушкиниста» И. С. Сидоров, обозначая так называемую новую пушкинистику, охарактеризовал ее следующими «ключевыми словами»: «небрежность, поспешность и склонность к сенсационности»².

Справедливости ради следовало бы заметить, что и старая пушкинистика (имеются в виду советские десятилетия) страдала нередко не менее серьезными недостатками: бездоказательностью, тенденциозностью, стремлением представить Пушкина хитроумным лицемером, любыми способами старающимся скрыть истинный смысл своих творений от современников

¹ Модзалевский Б. Л. Новые строки Пушкина. Пг., 1916. С. 8.

² Сидоров И. С. Классический комментарий с классическими ошибками, или Новые ошибки новых комментаторов? // «Московский пушкинист». Вып. 9. 2001. С. 32.

(но не от советских исследователей, каковыми он, этот истинный смысл, был наконец обнаружен и объяснен читающей публике!).

Указанные недостатки пушкинистики прошлых лет невольно приходят на ум при знакомстве с публикацией В. И. Доброхотова «На холмах Грузии лежит ночная мгла» в том же выпуске «Московского пушкиниста».

Сначала приведем стихотворение, по праву считающееся шедевром пушкинской лирики:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою.
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

Автор публикации в соответствии с существовавшей в советском пушкиноведении тенденцией безоговорочно относит приведенное стихотворение к М. Н. Волконской, считавшейся в русле той же тенденции предметом «утаенной любви» Пушкина. Вместе с тем из ее переписки с В. Ф. Вяземской известно (и автор этого не скрывает), что обе весьма осведомленные современницы Пушкина относили это стихотворение к невесте поэта Н. Н. Гончаровой.

Доброхотов объясняет такое несоответствие тем, что Пушкин, якобы постоянно и безнадежно влюбленный в М. Н. Волконскую и якобы признающийся в том в стихотворении «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», сватался в это время к Н. Н. Гончаровой и, дабы избежать невыгодных для себя толков, а также обиды со стороны невесты (нелюбимой, надо полагать, по мнению Доброхотова), делал вид, что стихотворение обращено именно к ней. То есть, выражаясь короче, Доброхотов объясняет отмеченное несоответствие лицемерием Пушкина.

Однако несмотря на категоричность тона автора публикации, его все же не устраивает в стихотворении то, что «адресат обезличен» и «стихи не содержат намеков, которые могли бы обидеть Н. Н. Гончарову, чьей руки Пушкин добивался с мая 1829»¹.

Поэтому Доброхотов обращается к тексту первоначальной черновой редакции пушкинского стихотворения, реконструированной в свое время С. М. Бонди и содержавшей, в отличие от окончательного текста стихотворения, не две, а четыре строфы.

В соответствии со своими собственными представлениями о художественных достоинствах тех или иных фрагментов пушкинского текста (разумеется, несколько отличающимися от пушкинских) Доброхотов произвольно меняет редакции ряда стихов, предложенные Бонди, располагает строфы в другой, отличающейся от черновика Пушкина последовательности, добавляет к имеющимся в черновике четырем строфам еще одну (находящуюся на предыдущей странице пушкинской тетради и лишь предположительно относящуюся к реконструированному Бонди тексту) и компоует, таким образом, некое стихотворение в пять строф, которое можно, по его мнению, с большим основанием отнести к М. Н. Волконской.

Результатом своего оригинального эксперимента автор остался весьма доволен, о чем можно судить по его собственному бесхитростному признанию: «Вопреки несовершенству редакторских конъектур, стихотворение смотрится как внутренне стройное, единое произведение, отличающееся от ранее известных вариантов целым рядом картин, сложных душевных движений и сердечных переживаний. *Интересно оно и тем, что полнее отражает изначальный замысел Пушкина*»² (курсив наш. — В. Е.).

Как можно отреагировать на это откровение? Комментарии здесь, как говорится, излишни.

¹ Доброхотов В. И. «На холмах Грузии лежит ночная мгла» // Московский пушкинист. Вып. 9. С. 159.

² Там же. С. 164.

Что же касается безоговорочной уверенности в том, что именно М. Н. Волконская явилась «истинной вдохновительницей шедевра», то вместо какого-либо обоснования этой уверенности Доброхотов ссылается на статью Т. Г. Цявловской 1966 года в альманахе «Прометей» и известную работу П. Е. Щеголева «Утаенная любовь Пушкина» в одноименном издании 1997 года.

По этой причине полемика с автором указанной публикации теряет смысл, и нам приходится обратиться к названным первоисточникам.

Ссылаясь на работу П. Е. Щеголева в издании 1997 года (в которой нет и упоминания об интересующем нас стихотворении Пушкина), автор отмеченной нами публикации имел в виду, по-видимому, краткую биографическую справку о М. Н. Раевской–Волконской, написанную одним из составителей указанной книги (возможно, Я. Л. Левкович) и помещенную после щеголевского исследования.

Там действительно утверждается, что из всех стихотворений, которые пушкинисты склонны были под влиянием Щеголева еще не так давно относить к М. Н. Раевской–Волконской («Редет облаков летучая гряда...», «Таврида», «Ненастный день потух...», «Буря», «Не пой, красавица при мне...», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...»), «только "На холмах Грузии..." можно с *полной уверенностью* отнести к Марии Раевской»¹ (курсив наш. — В. Е.).

Нельзя не заметить, что первая часть этого утверждения воспринимается нами с большим удовлетворением, так как свидетельствует о признании столь авторитетными представителями академической науки, каковыми, безусловно, являются

¹ Щеголев П. Е. Утаенная любовь Пушкина // «Утаенная любовь Пушкина» / Сост., подгот. текста и примеч. Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович. СПб., 1997. С. 159.

Р. В. Иезуитова и Я. Л. Левкович, того очевидного факта, что версия П. Е. Щеголева не является «истиной в последней инстанции» и перечисленные стихотворения, в том числе «Редет облаков летучая гряда...» и «Не пой, красавица, при мне...», относить к Раевской-Волконской нет достаточных оснований.

Утверждение же, что названное стихотворение Пушкина «можно с полной уверенностью отнести к М. Н. Волконской» не представляется нам обоснованным. Ссылка автора биографической справки на профиль Марии Раевской в черновом автографе стихотворения не является достаточным доказательством, хотя бы потому, что эта атрибуция Я. Л. Левкович не является окончательной, на этот счет имеются и другие мнения (например, Т. Г. Цявловской, Т. К. Галушко)¹. Кроме того, чуть ниже изображения Марии Раевской имеются еще два женских профиля, которые та же Левкович определила как портреты двух других сестер Раевских — Екатерины и Елены². Причем профили Марии и Екатерины зачеркнуты вертикальными штрихами, а профиль Елены остался не зачеркнутым.

Не беремся судить о том, что означает последнее обстоятельство, но ясно, что точности ради, заключительная фраза биографической справки должна была бы выглядеть следующим образом: «...в тетради, рядом со стихотворением, Пушкин рисует профили Марии, Екатерины и Елены Раевских»³.

Попытка же автора рассматриваемой биографической справки обосновать свою точку зрения обращением к «миру романтических чувств» поэта, «пережитых ранее», как и к его «душевному состоянию» в момент написания стихотворения напоминает более беллетристику (впрочем, весьма талантливую), нежели научную аргументацию.

Статья Т. Г. Цявловской 1966 года, на которую также ссылается В. И. Доброхотов, выдержана местами в духе массовых

¹ Летопись жизни и творчества Пушкина: В 4 т. Т. 3. М.: «Слово/Slovo», 1999. С. 534.

² Жуйкова Р. Г. Портретные рисунки Пушкина. СПб., 1994. С. 258, 296.

³ Щеголев П. Е. Указ. изд. С. 159.

изданий советского времени и тоже содержит известную долю беллетристики. В ней нет фактических доказательств того, что стихотворение Пушкина обращено не к невесте поэта, а к М. Н. Волконской. Спору нет, М. Н. Волконская действительно является замечательной русской женщиной, личностью яркой даже в окружении других выдающихся современниц Пушкина, вместе с тем в статье Т. Г. Цявловской ощутима тенденция к ее упрощенно-идеализированному изображению по сравнению, например, с представлением Щеголева, который в своем известном исследовании, уже не раз помянутом нами, отмечал следующее: «...представление о Марии Раевской, как о женщине великого самоотвержения, преданности и долга. Но еще очень спорный вопрос, соответствует ли действительности обычное представление. Ведь Мария Раевская в сущности нам неизвестна, мы знаем только княгиню Волконскую, а образ Волконской в нашем воображении создан не непосредственным знакомством и изучением объективных данных, а в известной мере мелодраматическим изображением в поэме Некрасова»¹.

О сложности ее духовного облика писал и В. В. Вересаев в биографическом очерке о Волконской, написанном за тридцать лет до Цявловской².

¹ Там же. С. 139.

² *Вересаев В. В.* Спутники Пушкина: В 2 т. Т. 1. М., 1993. С. 279–286. Он, в частности, не обошел молчанием семейную драму Волконских, заключавшуюся в том, что Мария Николаевна, по-видимому, никогда не любила мужа и поехала за ним в Сибирь исключительно из идейных соображений. Однако их семейная жизнь оказалась безрадостной. При этом Вересаев приводит свидетельство Якушкина (сына декабриста): «...как бы то ни было, она была одной из первых, приехавших в Сибирь разделить участь мужей, сосланных в каторжную работу. Подвиг, конечно, не большой, если есть сильная привязанность, но почти непонятный, ежели этой привязанности нет. Много ходит невыгодных для Марии Николаевны слухов про ее жизнь в Сибири. Говорят, что даже сын и дочь ее — дети не Волконского». Вересаев поясняет, что сын Михаил рожден ею от декабриста Поджио, а дочь, «знаменитая красавица Нелли», — от И. И. Пущина. Достаточно критически прокомментировал Вересаев слишком театрализованный, по его мнению, эпизод встречи М. Н. Волконской с мужем по прибытию в Сибирь, описанный в известной поэме Некрасова.

Из нашего сегодняшнего далека вызывает вопросы и подзаголовок статьи: «(Новые материалы)». Трудно понять, чем он мотивирован, если учесть, что за десять лет до нее в авторитетнейшем пушкинском издании была опубликована статья М. П. Султан-Шах (на этом мы остановимся позднее), где впервые были опубликованы фрагменты писем Волконской, на которые ссылалась Цявловская, отметив, правда, что приоритет в их публикации принадлежит указанному нами автору.

Для полноты картины приводим полные названия двух статей: «М. Н. Волконская и Пушкин (Новые материалы)» — Т. Г. Цявловская, 1966; «М. Н. Волконская о Пушкине в ее письмах 1830–1832 годов» — М. П. Султан-Шах, 1956.

Что же касается филологического содержания статьи, то здесь нельзя не отметить ряд неточностей, допущенных автором, вероятнее всего, из-за чрезмерной увлеченности предметом своего исследования:

1) параллель между Волконской и героиней «Полтавы» Марией Кочубей представляется недостаточно оправданной, потому что в отличие от Волконской, решавшей «мучительный вопрос» — отец или муж, Мария Кочубей решала вопрос существовавшего иного свойства — отец или любовник, причем в ситуации, когда отец и любовник смертельно враждуют между собой;

2) английская фраза «I love this sweet name» («Я люблю это нежное имя») обнаружена в черновиках «Посвящения» и вряд ли может быть распространена на всю поэму до тех пор, пока достоверно не доказано, что имя той, к кому обращено «Посвящение», — тоже Мария; напомним в связи с этим, что некоторые современники связывали «Посвящение» с А. А. Олениной¹.

3) эпитафия двухлетнему сыну Волконской, оставленному ею на попечение ее родителей при отъезде в Сибирь и умершему

¹ См. выше «Скажите мне, чей образ нежный...». Следует также учесть, что, как справедливо отметила Т. Г. Цявловская, имя Мария (вместо Матрена) дал дочери Кочубея еще до Пушкина Егор Аладьин в повести «Кочубей» («Невский альманах на 1828 год»).

вдали от матери, которую Пушкин написал не по собственному побуждению, как можно понять из статьи, а по прямой просьбе генерала Раевского¹.

Весьма спорным представляется и следующее замечание Цявловской: «Судя по словам Марии Николаевны, Вяземская писала ей, что стихотворение обращено к Н. Н. Гончаровой. Может показаться, что Волконская поверила этому, как поверили этому и некоторые современные пушкинисты. Однако *этому утверждению противится текст стихотворения*» (курсив наш. — В. Е.)².

Если бы текст действительно противился этому утверждению, вряд ли Пушкин стал публиковать стихотворение накануне своей женитьбы на Гончаровой.

Альманах «Северные цветы на 1831 год» со стихотворением «На холмах Грузии лежит ночная мгла» вышел в Петербурге 24 декабря, менее чем за два месяца до венчания. 28–29 декабря 1830 года находящийся в Москве Пушкин в ответе на записку Вяземского извещает его о том, что ближайшие два дня проведет в доме невесты и что «Северные цветы» еще не получены. Однако уже на следующий день (или через день) альманах доходит до него³.

Соседство темы женитьбы с темой выхода «Северных цветов» в ответе Пушкина позволяет предположить, что именно из его рук Гончарова получила альманах с интересующим нас стихотворением. В таком случае представим себе ситуацию, в которой любящий жених накануне свадьбы вручает невесте альманах со своим стихотворением, содержащим признание в любви к другой женщине... Какой же степенью лицемерия наделили Пушкина авторитетные советские пушкинисты!

¹ См.: Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1989. С. 361; Друзья Пушкина: В 2 т. Т. 2. М., 1984. С. 73.

² Цявловская Т. Г. Мария Волконская и Пушкин (Новые материалы) // «Прометей». 1966. С. 67.

³ Летопись жизни и творчества Александра Пушкина: В 4 т. Т. 3. М., 1999. С. 278.

Не понятно также в этом пассаже Цявловской, каких «современных пушкинистов» она имела в виду, обвиняя их в излишней доверчивости к свидетельствам весьма осведомленных современников поэта? Уж не Б. В. Томашевского ли и М. П. Султан-Шах? Их позицию мы рассмотрим позднее.

Бегло коснувшись двух строк чернового автографа, из которых видно, что в стихотворении первоначально присутствовала тема воспоминаний, воспоминаний, по-видимому действительно связанных с пребыванием в 1820 году вместе с семьей Раевских на Северном Кавказе, Цявловская заключила на основании этого, что окончательная редакция стихотворения «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» обращена к М. Н. Волконской, не подкрепив свои выводы более весомыми доказательствами. При этом Цявловская сослалась на известную статью С. М. Бонди 1931 года, фактически повторив его доводы.

3

Статья С. М. Бонди «Все тихо — на Кавказ идет ночная мгла...» по праву считается образцом работы текстолога. Перед читателем проходят все этапы текстологической работы, в результате которой из неразборчивого и трудно читаемого чернового автографа, фотокопия которого для наглядности приводится тут же, исследователь извлекает абсолютно связный и в известном смысле законченный текст без лакун и противоречивых неясностей. То есть в результате его работы получена как бы беловая редакция чернового текста с одной существенной оговоркой: эта беловая редакция выполнена не автором текста, а С. М. Бонди.

И здесь возникает ряд вопросов.

Во-первых, можно ли считать эту редакцию в полном смысле слова пушкинской? Ведь, как известно, возникновение беловой редакции являлось для Пушкина важным этапом творческого процесса. Беловой автограф чаще всего вновь подвергался

правке, в него вносились исправления и уточнения, то есть работа над текстом получала продолжение.

В нашем же случае пушкинского белого автографа четырех строф нет (его за Пушкина выполнил Бонди), нет, соответственно, и дальнейшей правки белого текста, которая, вероятнее всего, имела бы место у Пушкина.

Поэтому, по нашему представлению, реконструированный Бонди текст считать в полном смысле принадлежащим Пушкину все-таки нельзя: Пушкин этого текста не записал набело, он оставил нам лишь исчерпанный черновик.

По-видимому, мы имеем здесь дело с одним из тех случаев, которые имел в виду Ю. Г. Оксман, отмечая перегруженность академического собрания сочинений Пушкина «материалами пушкинского фольклора и произведениями Бонди, Томашевского, Зенгер и даже Медведевой»¹, то есть мы имеем в данном случае не совсем пушкинский текст.

Во-вторых, не является ли отсутствие пушкинского белого автографа свидетельством того, что проступающий в черновике (и реконструированный Бонди) текст не мог удовлетворить Пушкина по своим художественным качествам?

Думается, так оно и было.

А через некоторое время Пушкин (вероятно, по памяти) извлек из черновика лишь две первые строфы и, существенно изменив первую из них, создал стихотворение «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», которое он отдал в «Северные цветы». Известны три белых автографа этого стихотворения, причем один из них полностью повторяет текст печатной редакции, а два других имеют следы незначительной правки (попытка продолжить работу над уже законченным текстом!).

В редакции же Бонди четыре строфы, приведем ее полностью:

Все тихо. На Кавказ идет ночная мгла.
Восходят звезды надо мною.

¹ Азадовский М., Оксман Ю. Переписка 1944–1954 гг. М., 1998. С. 128.

Мне грустно и легко. Печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою.

Тобой, одной тобой. Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого
Что не любить оно не может.

(Прошли за днями дни. Сокрылось много лет.
Где вы, бесценные созданья?
Иные далеко, иных уж в мире нет —
Со мной одни воспоминанья.)

Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь,
И без надежд, и без желаний,
Как пламень жертвенный, чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний¹.

Далее идут довольно противоречивые рассуждения Бонди.

С одной стороны, он признает, что эти четыре строфы нельзя считать «цельным, законченным стихотворением», и объясняет почему: «Третья строфа недаром вычеркнута Пушкиным, и переход от нее к четвертой звучит несколько натянуто. Может быть, вернее считать эти строфы своего рода "заготовкой", материалом для стихотворения. Из них, как сказано выше, две первые Пушкин напечатал под названием "Отрывок"»².

С другой стороны, казалось бы, объяснив, почему Пушкин напечатал только две первые строфы (существенно переработав первую), он вдруг привлекает для обоснования этого достаточно мотивированного по творческим соображениям решения совершенно иные, внетворческие причины: «Можно сделать довольно вероятное, как мне кажется, *предположение*

¹ Бонди С. М. Все тихо — на Кавказ идет ночная мгла... // Черновики Пушкина. М., 1971. С. 22–23.

² Бонди С. М. Указ. соч. С. 22–23.

о том, почему он не печатал окончание стихотворения. Только что добившемся руки Натальи Николаевны жениху-Пушкину, вероятно, не хотелось опубликовывать стихи, написанные в разгар его сватовства и говорящие о любви к какой-то другой женщине (“Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь”). В напечатанных же первых двух строфах этот мотив — новое возвращение прежнего чувства (“И сердце вновь горит и любит оттого”) — настолько незаметен, что комментаторы, не знавшие ”продолжения отрывка“ (да и современники Пушкина, его знакомые), нередко относили эти стихи к самой Гончаровой»¹ (курсив наш. — В. Е.).

Можно с полной уверенностью утверждать, что приведенное нами «предположение» Бонди и было признано в советском пушкиноведении бесспорным доказательством того, что интересующее нас стихотворение обращено не к невесте поэта, как считалось до тех пор, а к М. Н. Волконской. По логике Бонди, получается, что если уж Пушкин в процессе работы над стихотворением вспомнил свою давнюю поездку по Северному Кавказу вместе с семьей Раевских, то, значит, любовные признания, содержащиеся в стихотворении, обязательно должны быть обращены именно к Марии Раевской, хотя никем (в том числе П. Е. Щеголевым) не доказано, что предметом «утаенной любви» Пушкина была именно она².

Утверждение, что строка — «Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь...» — не может относиться к Наталье Николаевне, которую поэт оставил при неясных перспективах своего сватовства, совершенно односторонне; по нашему мнению, здесь вполне допустима и противоположная точка зрения.

Обосновывая дату начала работы над стихотворением (15 мая 1828 года), Бонди со ссылкой на давнюю работу Е. Г. Вейденбаума совершенно справедливо сопоставляет первые два стиха черновой редакции «с тем местом ”Путешествия в Арзрум“, где Пушкин рассказывает о своей поездке из Георгиевска в Горячие

¹ Там же.

² См.: Утаенная любовь Пушкина. 1997. С. 7, 27–28, 43.

воды»¹. Однако впоследствии Пушкин, как известно, изменил редакцию первых двух стихов, заменив пейзаж Северного Кавказа пейзажем Грузии. Бонди в соответствии со своей идеей предположил, что поэт поступил так, чтобы завуалировать истинную направленность своего любовного признания.

Логическое построение, надо признаться, очень сложное, если учесть, что Пушкин не читал исследований Бонди и Цявловской!

Гораздо вероятнее предположить, что изменение редакции стихов произошло под влиянием изменения окружающего пейзажа, также отраженного в «Путешествии в Арзрум»:

«Мгновенный переход от грозного Кавказа к миловидной Грузии восхитителен. Воздух вдруг начинает повеать на путешественника. С высоты Гут-Горы открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента...

Мы спускались в долину. Молодой месяц показался на ясном небе. Вечерний воздух был тих и тепел. Я ночевал на берегу Арагвы, в доме г. Чиялева. На другой день я расстался с любезным хозяином и отправился далее.

Здесь начинается Грузия. Светлые долины, орошаемые веселой Арагвою, сменили мрачные ущелья и грозный Терек...» (VIII, 454).

Непосредственное впечатление от «миловидной Грузии» и «светлых долин, орошаемых веселой Арагвою» вызвали изменение редакции первых двух стихов; таким образом, изменение это имеет, по нашему мнению, чисто творческие причины. Для Пушкина (если он имел в виду Н. Н. Гончарову) не имело значения, где сложилось в стихи его любовное признание 1828 года: на Северном Кавказе или в Грузии. Направленность самого признания от такой замены никак не могла измениться.

В завершение своей статьи Бонди предлагает еще одну редакцию стихотворения, которую он извлекает из чернового автографа на основании пометок Пушкина: вертикальной чертой,

¹ Бонди С. М. Все тихо — на Кавказ идет ночная мгла... С. 17.

сделанной карандашом, зачеркнута вторая строфа, чернилами третья и, следовательно, не зачеркнутыми остались только первая и четвертая черновые строфы.

К этой редакции Бонди дает весьма любопытный комментарий: «А сейчас эти стихи, *не отменяя, конечно, известной печатной редакции*, представляют собой данный самим Пушкиным (а вовсе не произвольно скомпонованный редактором) новый вариант знаменитого стихотворения, вариант вполне законченный, значительно отличающийся от стихотворения ”На холмах Грузии“ *и, пожалуй, не уступающий ему в художественном отношении*»¹ (курсив наш. — В. Е.).

Великодушное признание Бонди, что предложенная им редакция стихотворения не отменяет «известной печатной редакции» пушкинского шедевра, выглядит достаточно комично, если учесть, что она в значительной степени создана усилиями самого Бонди, автор же даже не удосужился перебелить исчерпанный черновой текст.

Кроме того, вновь совершенно не ясно, почему эта редакция не может быть отнесена к невесте поэта? Во всяком случае, эпитет «девственных», относящийся к «мечтаниям» автора, ассоциативно связывается в сознании читателя скорее с шестнадцатилетней Натальей Гончаровой, нежели с замужней М. Н. Волконской.

Нельзя обойти молчанием и утверждение известного пушкиниста, что реконструированный им текст не уступает («пожалуй, не уступает») в «художественном отношении» стихотворению Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла...». Мы придерживаемся противоположного мнения. Предложим читателям вынести собственное суждение на сей счет, приведя этот текст полностью:

Все тихо — на Кавказ идет ночная мгла.
 Мерцают звезды надо мною.
 Мне грустно и легко, печаль моя светла;

¹ Бонди С. М. Указ. соч. С. 24.

Печаль моя полна тобою.
 Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь —
 И без надежд и без желаний,
 Как пламень жертвенный, чиста моя любовь
 И нежность девственных мечтаний.

Насколько нам известно, ни в одном авторитетном издании этот черновой текст не приводится в основном корпусе произведений Пушкина, что является своего рода оценкой его художественной значимости.

Что же касается «полной уверенности», с которой составители книги «Утаенная любовь Пушкина» (1997) относят стихотворение «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» к М. Н. Волконской, то, на наш взгляд, и известная статья Бонди не дает никаких оснований для столь категоричного вывода.

4

Однако в пору, когда вопрос о стихотворении «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», казалось бы, был окончательно решен в пользу отнесения его к М. Н. Волконской, появилась статья М. П. Султан-Шах, подвергшая существующую точку зрения осторожной, но серьезной критике¹.

Автором статьи достаточно убедительно обосновано, что стихотворением, посланным В. Ф. Вяземской в Сибирь и вызвавшим своеобразную оценку М. Н. Волконской, было именно интересующее нас стихотворение Пушкина.

Вот отзыв Волконской:

«В первых двух стихах поэт пробует свой голос. Извлекаемые им звуки, нет сомнения, очень гармоничны, но не имеют отношения к дальнейшим мыслям, столь достойным нашего велико-

¹ Султан-Шах М. П. М. Н. Волконская о Пушкине в ее письмах 1830–1832 годов // «Пушкин. Исследования и материалы». Т. 1. М.; Л., 1956. С. 257–268.

го поэта и, судя по тому, что Вы пишете мне, достойным предмета его вдохновения. Эти мысли так новы, так привлекательны, они вызывают в нас восхищение, но окончание, извините меня, милая Вера, за Вашего приемного сына, — это окончание старого французского мадригала, это любовный вздор, который нам приятен, потому что доказывает, насколько поэт увлечен своей невестой, а это для нас залог ожидающего его счастливого будущего. Поручаю Вам передать ему наши искренние, самые сердечные поздравления»¹.

В связи с этим Султан-Шах отмечает следующее:

«Отзыв М. Н. Волконской тем интереснее, что комментарии к этому стихотворению во всех современных изданиях указывают, что оно адресовано именно к ней, Волконской. Между тем В. Ф. Вяземская прислала ей это стихотворение с указанием, что оно обращено к невесте поэта — Н. Н. Гончаровой. Это явствует из писем Волконской от 19 октября 1830 года и 20 марта 1831 года. Того же мнения придерживались и первые комментаторы, начиная с П. И. Бартенева, который остановился на вопросе об адресате этих стихов и назвал Н. Н. Гончарову. В отнесении стихотворения к Н. Н. Гончаровой первым усомнился П. Е. Щеголев. По его следам стали искать другого адресата. П. А. Ефремов высказал неуверенное предположение, что Пушкин имел в виду Ушакову, затем Е. Г. Вейденбаум предположил, что в стихах говорится о Елене Раевской. *После разысканий П. Е. Щеголева о предмете "утаенной любви" Пушкина стали склоняться к тому, что стихотворение обращено к М. Н. Раевской-Волконской*»² (курсив наш. — В. Е.).

Вот главный аргумент в пользу отнесения стихотворения к М. Н. Волконской: по логике сторонников этой версии, оно должно быть обращено к той, кто являлся предметом «утаенной любви». Но как мы уже отмечали, со ссылкой на авторитетных представителей академической науки, мы так и не знаем имени

¹ Султан-Шах М. П. М. Н. Волконская о Пушкине в ее письмах 1830–1832. С. 263.

² Там же. С. 263–264.

этой женщины. То есть этот главный аргумент повисает в воздухе. Что же остается? Сомнения Щеголева, высказанные им в публикации 1903 года.

Суть сомнений выражена в следующем рассуждении Щеголева:

«Эти фразы о возрождении прежней любви, связанные с воспоминанием о прошлом («я твой по-прежнему, я вновь тебя люблю»), не могут относиться к Н. Н. Гончаровой; в отношениях Пушкина к ней еще не было прошлого»¹.

Чем же обосновал Щеголев мысль об отсутствии прошлого в отношениях Пушкина и Гончаровой? Продолжим цитату:

«Пушкин был в это время страстно влюблен в нее; перед отъездом на Кавказ он сделал через Ф. Толстого ей предложение и получил отказ. Вот уж о любви своей к Н. Н. Гончаровой поэт не мог сказать, что он любит "без желаний"»².

Особый упор Щеголев сделал на слово «страстно», но ведь это щеголевская характеристика любви Пушкина, какой она была на самом деле, мы не знаем. Однако, признав, что Пушкин был «страстно влюблен» в Гончарову, Щеголев тем самым разрушил собственное возражение по поводу существования «прошлого» в их отношениях, потому что в любви, как известно, существует своя логика, которая порой может быть недоступна авторитетному историку и пушкинисту. Вспомним страстные зывания Онегина к Татьяне в восьмой главе романа:

Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...

Этот отрезок времени между «утром» и «днем», какой вечно-стью он должен казаться для влюбленного! Но там, где есть вечность, может существовать и прошлое.

¹ Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. М., 1931. С. 344.

² Там же.

Невозможно объяснить и уверенность Щеголева в том, что замужнюю Волконскую можно любить «без желаний», а несостоявшуюся пока невесту (сватовство не привело к желаемому результату) нельзя.

Нашими запоздалыми возражениями на давние утверждения Щеголева мы хотим показать, что эти утверждения носят односторонний характер, что они не более чем предположения.

Именно такой упрек (предположение — не есть доказательство) адресует в той же публикации сам Щеголев своим оппонентам:

«К кому относится стихотворение? Издания относят его к жене поэта Н. Н. Гончаровой... Это — одно из тех предположений, которые не имеют за собой фактических подтверждений»¹.

Заявление Щеголева для нас чрезвычайно важно, потому что в то время, как и в 1931 году, когда была опубликована развивающая его «сомнения» работа Бонди, «фактических подтверждений» в пользу отнесения стихотворения к Н. Н. Гончаровой действительно еще не существовало. Они появились после прочтения нескольких писем М. Н. Волконской из Сибири, хранившихся в рукописном отделе ИРЛИ. Именно этому открытию новых материалов о Пушкине и была посвящена статья Султан-Шах 1956 года, к рассмотрению которой мы уже приступили. Напомним главное: стихотворение Пушкина было получено М. Н. Волконской от В. Ф. Вяземской с указанием, что оно обращено к невесте поэта Н. Н. Гончаровой. Ответ М. Н. Волконской мы также уже приводили. Таким образом, с опубликованием статьи Султан-Шах заявление Щеголева 1903 года потеряло силу. Теперь в 1956 году уже можно было перефразировать его текст в обратном смысле: «К кому относится стихотворение? Издания относят его к М. Н. Волконской. Это — одно из тех предположений, которые не имеют за собой фактических подтверждений».

Добавим к отмеченному, что к статье Султан-Шах имеется редакционное примечание составителей первого тома

¹ Там же.

авторитетнейшего издания «Пушкин. Исследования и материалы» следующего содержания:

«Отрывки из писем М. Н. Волконской к В. Ф. Вяземской от 19 октября 1830 года и к З. А. Волконской от 20 марта 1831 года, касающиеся стихотворения Пушкина "На холмах Грузии лежит ночная мгла..."», напечатаны в русском переводе Б. В. Томашевским в примечании к этому стихотворению в издании: Пушкин А. С. Стихотворения // Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд. Т. 3. Л., 1955. С. 836–837, — с указанием на то, что отзыв М. Н. Волконской-Раевской "кажется опровергает" версию П. Е. Щеголева о посвящении ей (а не Н. Н. Гончаровой) этого стихотворения»¹.

Необходимо отметить, что приведенное «указание», как и статья Султан-Шах, совершенно не были приняты во внимание в дальнейшей дискуссии по поводу стихотворения Пушкина, например, Т. Г. Цявловской в ее статье 1966 года. Такой стиль ведения дискуссии вряд ли может быть признан безупречным.

К сожалению, сама Султан-Шах по каким-то причинам не нашла возможным столь явно подчеркнуть значение своего открытия в споре о стихотворении «На холмах Грузии лежит ночная мгла...». Вместе с тем она выдвинула весьма серьезные аргументы против трактовки Бонди четырех строфного реконструированного им чернового текста автографа стихотворения:

«...стихотворение в такой композиции в действительности никогда не существовало. Автограф ясно показывает, что Пушкин, написав две первые строфы (которые позднее с изменением двух первых стихов и составили все стихотворение), поставил разделительный знак = и перешел к новой теме, обычной для него в эти годы (1825–1830), — к теме воспоминаний и пересмотра своего жизненного пути. Но, написав одну строфу, он остановился, отказался от намерения ввести тему воспоминаний в стихотворении, зачеркнул эти четыре стиха и, поставив под ними разделительную черту, продолжал прерванную тему первых двух строф: "Я твой по-прежнему..."» и т. д.

¹ Султан-Шах М. П. Указ соч. С. 267.

В самом деле, третья строфа («Прошли за днями дни...») не связана ни по смыслу, ни стилистически со второй и особенно с четвертой строфами («Где вы, бесценные созданья?..», «Я твой по-прежнему...»).

Это признает и первый публикатор чернового текста стихотворения С. М. Бонди¹ (курсив Султан-Шах. — В. Е.).

Кроме того, в примечании Султан-Шах отмечает: «В академическом издании сочинений Пушкина (Т. III. Кн. 2. 1949. С. 722–723) четырехстрочная редакция стихотворения напечатана, однако, как единое целое, без указаний на разделительные знаки и на исключение третьей строфы, что, несомненно, представляет ошибку»².

Первой черновой редакцией стихотворения Султан-Шах уверенно считает трехстрочную:

I. Все тихо — на Кавказ идет ночная мгла...

II. Тобой, одной тобой — унынья моего...

III. Я твой по-прежнему — тебя люблю я вновь...

По поводу третьей (по Бонди — четвертой) строфы Султан-Шах замечает следующее: «...она нам представляется также не противоречащей отнесению стихотворения к Н. Н. Гончаровой. Стихотворение в целом (имеется в виду трехстрочная редакция. — В. Е.) говорит о трагическом перерыве в любви, о пережитой печали и вновь разгоревшемся чувстве»³.

Кроме того, Султан-Шах обратила внимание на важную особенность одного из беловых автографов стихотворения (берлинского): «Там текст его сопровождается рисунком, изображающим девушку во весь рост в профиль, с крылышками бабочки, как изображали Психею. Мы знаем из свидетельств сестры поэта, что жену Пушкина называли в петербургском свете Психеей. В этом профиле несколько подчеркнута длинная линия лба и длинная шея — особенности, которыми отличаются пушкинские зарисовки профиля Н. Н. Гончаровой»⁴.

¹ См.: Там же. С. 265.

² Там же.

³ Там же. С. 266.

⁴ Там же.

Итак, мы кратко рассмотрели едва ли не все основные работы пушкинистов прошлого века с 1903 по 1997 год, в которых обсуждалась правомерность отнесения стихотворения «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» к Н. Н. Гончаровой или к М. Н. Волконской.

В результате предпринятого анализа указанной литературы мы пришли к выводу, что оснований для отнесения стихотворения к М. Н. Волконской явно недостаточно. Гораздо больше оснований отнести его к невесте поэта Н. Н. Гончаровой, что и делали дореволюционные комментаторы произведений Пушкина.

5

В завершение наших заметок остановимся кратко на еще одном стихотворении Пушкина, по случайному совпадению также связанному с Грузией.

В. И. Доброхотов, упоминая публикация которого послужила поводом для нашего выступления, и стихотворение «Не пой, красавица, при мне...» относит к М. Н. Волконской столь же категорично и безосновательно, как и «На холмах Грузии лежит ночная мгла...»¹.

В связи с этим напомним, что в давней статье Р. В. Иезуитовой, в целом весьма содержательной и солидной, попытка отнести это стихотворение к М. Н. Волконской обосновывается следующим универсальным способом:

«После работы П. Е. Щеголева "Из разысканий в области биографии и творчества Пушкина", установившего, что кавказским увлечением Пушкина была М. Н. Раевская, расширились

¹ Что касается стихотворения «Я вас любил, любовь еще, быть может...», которое В. И. Доброхотов также голословно отнес к М. Н. Волконской, то это выглядит чистым курьезом и даже не требует обсуждения; о Посвящении «Полтавы» — см. выше «Скажите мне, чей образ нежный...».

возможности для углубленного комментария пушкинского стихотворения»¹ (курсив наш. — В. Е.).

Мы видим здесь ту же методологию доказательств, которая была распространена в советской пушкинистике при рассмотрении проблемы «утаенной любви» Пушкина.

Однако сегодня, когда версия П. Е. Щеголева больше не считается научно доказанной, та же Р. В. Иезуитова вместе с Я. Л. Левкович признает, что стихотворение «Не пой, красавица, при мне...» без достаточных оснований относилось пушкинистами к М. Н. Раевской–Волконской под влиянием версии Щеголева².

В самом деле, остановим внимание на второй строфе:

Увы, напоминают мне
Твои жестокие напевы
И степь, и ночь, и при луне
Черты далекой бедной девы.

Почему, если здесь имеется в виду Мария Раевская, она названа «бедной»? Сторонники версии Щеголева, не колеблясь, ответили бы нам: «Потому что ко времени написания стихотворения она находилась в Сибири».

Такой ответ никого не может удовлетворить. Ведь в приведенной строфе нами ощущается своего рода единство времени и места действия: поэт видит мысленным взором «черты далекой бедной девы» именно «при луне», в степи, Мария же Раевская в 1820 году (к нему пушкинисты относят это воспоминание автора) никак не могла быть названа «бедной». Предположение, что автор считает ее «бедной», подразумевая ее будущую судьбу, разрушает поэтический образ, лишает его органичности. К тому же в 1829 году М. Н. Волконскую вряд ли уместно было называть «девой».

¹ Иезуитова Р. В. Не пой, красавица, при мне // Стихотворения Пушкина 1820–1830 годов. Л., 1974. С. 133.

² «Утаенная любовь Пушкина». 1997. С. 159.

Кроме того, отношение Пушкина к ней всегда определялось сторонниками версии Щеголева как безответная, неразделенная любовь. В стихотворении же угадываются отношения совсем иного рода. Здесь присутствует, как пронизательно заметила Анна Ахматова, «тема уязвленной совести автора»¹. Это подтверждается и возгласом сожаления в начале второй строфы: «Увы!» «Увы, это случилось тогда», — как бы вздыхает автор.

А «бедной» дева названа, по-видимому, потому, что автор по каким-то причинам (или без причин) не собирався связывать с нею свою судьбу, несмотря на счастливое для него любовное свидание с нею. Вместе с тем характеристика «бедная» может иметь социальный смысл: несостоятельная, небогатая, не принадлежащая к привилегированному кругу.

Выскажем предположение, отнюдь не претендуя на его окончательность, просто предположение (как и абсолютное большинство предположений Щеголева и его последователей в пользу М. Н. Раевской–Волконской), что «бедной девой» в данном случае вполне могла быть компаньонка сестер Раевских, татарская девушка Анна Ивановна, которая сопровождала их в поездке по Северному Кавказу в 1820 году.

Однако в том же 9-м выпуске «Московского пушкиниста», который мы уже упоминали, предлагается другое решение вопроса: Е. А. Зингер, давно занимающаяся биографией Амалии Ризнич и ее ролью в жизни и творчестве Пушкина, в статье «Еще о "бедной деве"» попыталась обосновать, что именно Ризнич и была «бедной девой» в стихотворении Пушкина «Не пой, красавица, при мне...».

Автор упомянутой статьи сосредоточенно и серьезно анализирует некоторые обстоятельства и факты, связанные с интересующей нас проблемой, и ее работа не может не вызывать уважения.

Однако окончательные выводы ее статьи мы, к сожалению, не можем принять по следующим соображениям.

¹ Ахматова А. «Каменный гость» Пушкина // О Пушкине. Л., 1977. С. 104.

Во-первых, в центральном месте статьи Е. А. Зингер, где мнение Анны Ахматовой как будто бы подкрепляется мнением Владислава Ходасевича, происходит невольная (в чем мы не сомневаемся) подмена смыслов. Ахматова, говоря об «уязвленной совести» автора стихотворения, отнюдь не упоминает Ризнич: она анализирует лишь психологические побуждения Пушкина; Ходасевич же, называя Ризнич, не упоминает стихотворение «Не пой, красавица, при мне...». Таким образом, сопоставление двух цитат фактически не работает на версию Е. А. Зингер.

Во-вторых, замужняя Амалия Ризнич, «негоциантка молодая», окруженная постоянно толпой поклонников, плохо ассоциируется с «девой», которую автор называет «бедной» в момент любовного свидания. Предположение же, что автор проецирует будущие несчастья Ризнич на образ «бедной девы», черты которой вспоминается ему, спустя годы, в степи, «при луне», как мы уже отмечали (имея в виду М. Н. Волконскую), разрушает поэтический образ.

И в-третьих, если предположить, что «степь» и «берег дальний» — это приметы одесского пейзажа, как считает Е. А. Зингер, то при чем тогда «песни Грузии печальной» в стихотворении, как объяснить упоминание Грузии? Как согласуется с таким предположением черновая строфа:

Напоминают мне оне
Кавказа гордые вершины,
Лихих чеченцев на коне
И закубанские равнины?

То обстоятельство, что приведенная нами строфа не вошла в окончательный текст стихотворения, не доказывает возможности (или необходимости) перемещения «степи» и «берега дальнего» в одесский период жизни Пушкина. Воспоминание, ставшее основой лирического стихотворения, вряд ли может в промежуточных вариантах этого стихотворения перемещаться из одного периода жизни автора в другой, с неизбежной заменой самого объекта воспоминания...

Наши замечания, касающиеся статьи Е. А. Зингер, несколько отклонили нас от основной темы наших заметок, посвященных недостаткам старой пушкинистики. Мы достаточно подробно рассмотрели эту проблему на примере принятой в недавнем прошлом трактовки стихотворения «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» и очень кратко — стихотворения «Не пой, красавица, при мне...».

В связи с этим вызывает удивление не так давно появившееся в печати утверждение представительницы сегодняшней академической науки о том, что мы имеем «обширную исследовательскую литературу, содержащую, в частности, и материалы к реальному и историко-литературному комментарию *практически всех пушкинских произведений*»¹ (курсив наш. — В. Е.).

Насколько эти полученные нами в наследство от предыдущей эпохи материалы к историко-литературному комментарию стихотворений «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» (и отчасти стихотворения «Не пой, красавица, при мне...»), включая статью М. П. Султан-Шах, на самом деле далеки от научной объективности, мы и попытались показать в настоящей главе.

2003

¹ Ларионова Екатерина. А. С. Пушкин. Собрание сочинений. Т. 1 // Новая русская книга. Критическое обозрение. № 2(9). СПб., 2001. С. 27.

ПУШКИН И ДЕКАБРИСТЫ

«К УБИЙЦЕ ГНУСНОМУ ЯВИСЬ...»

1

17 марта 1834 года Пушкин, продолжая размышлять над недавними событиями истории России, записал в дневнике: «Но покойный Государь (Александр I. — В. Е.) окружен был убийцами его отца. Вот причина, почему при жизни его никогда не было бы суда над молодыми заговорщиками, погибшими 14-го декабря. Он услышал бы слишком жестокие истины. NB. *Государь, ныне царствующий, первый у нас имел право и возможность казнить цареубийц или помышления о цареубийстве*; его предшественники принуждены были терпеть и прощать» (XII, 322; курсив наш. — В. Е.).

Эта дневниковая запись никогда не привлекала особого внимания пушкинистов, ее не принято было цитировать, что далеко не случайно. В самом деле, до октября 1917 года общественное мнение стыдливо избегало непредвзятой оценки деяний и планов декабристов, а тем более не допускало возможности признать объективную логику в реакции властей, подвергших заговорщиков суровой каре. Ведь это общественное мнение формировалось той частью русской интеллигенции, которая, по определению Н. А. Бердяева, «корыстно относилась к самой истине, требовала от истины, чтобы она стала орудием общественного переворота, народного благополучия, людского счастья», и чье основное моральное суждение «укладывается в формулу... долой истину», если она стоит на пути заветного клича «долой самодержавие»¹.

¹ Бердяев Н. А. Философская истина и интеллигентская правда // «Вехи. Из глубины». М., 1991. С. 17–18.

В советское же время эта цитата из Пушкина была бы сочтена идеологически враждебной существующему строю и могла навлечь на осмелившихся воспроизвести ее в публичной полемике репрессии, тяжесть которых зависела бы от того, в какие годы был бы совершен этот идеологический проступок: 30-е, 40-е или 70-е (причем в иные периоды общественной жизни такие репрессии могли оказаться не менее тяжелыми, чем те, что выпали на долю декабристов). В советские десятилетия был создан своего рода культ: поклонение декабристам, ведь они, как было установлено, «разбудили Герцена» и т. д. В этом идеологическом контексте даже в пушкинском наследии важнейшей проблемой стали его идейные и дружеские связи с декабристами. Пушкин должен был предстать перед многомиллионным читателем безусловным политическим единомышленником декабристов, революционером, борцом с самодержавием. Именно тогда в научный оборот окончательно был введен как пушкинский некий стихотворный текст, приписываемый ему некоторыми его довольно близкими современниками, который, как они полагали, являлся первоначально заключительной строфой программного пушкинского стихотворения «Пророк». В ней император Николай I, утвердивший решение суда о казни петрских декабристов, характеризуется как «гнусный убийца». Вот один из нескольких вариантов этой строфы, опубликованный в самом авторитетном академическом пушкинском собрании сочинений, правда, там она никак не связывается с «Пророком», а приводится в качестве самостоятельного неоконченного текста:

Восстань, восстань, пророк России,
 В позорны ризы облекись,
 Иди, и с вервием на выи
 К у.<бийце> <?> г.<нусному> <?> явись
 (III, 461).

Отметим здесь научную корректность редакторов тома, сопроводивших оба «расшифрованных» слова в последней строке

скобками и вопросительными знаками. А в примечаниях сообщается, что строка печатается с «конъектурой, предложенной Цявловским» и что в собрание сочинений Пушкина эти стихи вводятся впервые (III, 1282).

Итак, приведенная нами строфа была признана пушкинской, что получило в советском пушкиноведении дальнейшее развитие. Уже трактовка самого стихотворения «Пророк» стала даваться сквозь призму этого сомнительного текста.

Так, в собрании сочинений 1969 года, изданном под редакцией Д. Д. Благого, находим: «П р о р о к. — Написано под впечатлением казни пяти и ссылки многих из декабристов на каторгу в Сибирь. В основу положен образ библейского пророка — проповедника правды и беспощадного обличителя грехов и беззаконий царской власти; некоторые мотивы были взяты Пушкиным из книги самого пламенного и вдохновенного из древнееврейских пророков, Исаяи, погибшего мучительной смертью. Первоначальный конец (последняя строфа) стихотворения дошел до нас в нескольких, едва ли вполне точных и расходящихся в мелочах, но в основном совпадающих, записях:

Восстань, восстань, пророк России...

Позднее (стихотворение было впервые опубликовано только в 1828 году) Пушкин отказался от этой концовки, заменив ее новым четверостишием...»¹ (курсив наш. — В. Е.).

О пушкинском «Пророке» ко времени выхода процитированного комментария уже было написано множество вдохновенных страниц, суммарный объем которых в тысячи раз превышает объем самого текста стихотворения. Для адекватного осмысления его глубочайшего содержания использовались высокие и сложные формулы.

Так, Владимир Соловьев находил, что в «Пророке» «высшее значение поэзии и поэтического призвания взято как один идеально законченный образ, во всей целостности, в совокупности всех

¹ Пушкин А. С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. М., 1969. С. 484, 485.

своих моментов, не только прошедших и настоящих, но и будущих. Болезненный и мучительный процесс духовного перерождения проходит перед нами в мгновенных картинах и тут же завершается целиком. Но в действительности он ведь не завершен. Пусть поэт в самом деле ощутил себя пророком, пусть он в самом деле восходил на пустынную гору высшего вдохновения, где видел серафима и слышал голос Божий. Все это было, но полное его внутреннее перерождение — еще впереди...»¹.

Вячеслав Иванов «в ослепительных, как молния», строках «Пророка» видел, как «сказалась с мощною силой призыва вся истомившая дух жажда целостного возрождения»².

Семен Франк считал это гениальное стихотворение «бесспорно величайшим творением русской религиозной лирики, которое, по авторитетному свидетельству Мицкевича, выросло у Пушкина из основного его жизнепонимания, из веры в свое собственное религиозное призвание как поэта»³.

В представлении же корифея советской пушкинистики все выглядит совершенно ясно и просто: «Написано под впечатлением казни пяти и ссылки многих из декабристов на каторгу...» Это уже развитие идеи. Первый же и главный шаг, повторимся, был сделан при составлении академического собрания сочинений: приписываемый Пушкину текст был признан пушкинским.

В результате возникло явное противоречие в пушкинской оценке одного и того же поступка Николая I: в дневниковой записи 1834 года и в приведенных стихах факт казни декабристов оценивается с диаметрально противоположных позиций. Нам могут возразить, что за семь с лишним лет взгляды Пушкина могли измениться, и таких случаев, когда его оценки тех или иных событий или исторических лиц менялись во времени, в его творческом наследии немало. Но, во-первых, речь здесь

¹ Соловьев В. Значение поэзии в стихотворениях Пушкина // «Пушкин в русской философской критике. Конец XIX — первая половина XX в.». М., 1990. С. 79.

² Иванов В. Два маяка. (Там же. С. 257.)

³ Франк С. Религиозность Пушкина. (Там же. С. 389.)

идет не об изменении взглядов, а о полной их смене на противоположные: обвинительная оценка конкретного исторического поступка императора сменилась на оправдательную. А во-вторых, взгляды Пушкина не претерпевали за это время существенных изменений: и в 1826 году его оценка происходящих событий, как мы это постараемся показать дальше, кардинально отличалась от той, что заявлена в крамольном четверостишии. Если же предположить, что подобные стихи могли вылиться из-под его пера под влиянием момента, импульсивно, то мы, несомненно, имели бы куда более совершенный эстетически, куда более пушкинский текст, нежели тот, что нам предлагают.

Ведь помимо противоречия смыслового здесь возникло и еще одно противоречие, чисто художественного свойства.

Дело в том, что даже самый беглый анализ злополучной строфы убеждает в ее полной эстетической несостоятельности, что отмечено подавляющим большинством пушкинистов. Трудно назвать кого-нибудь, кроме Благого, кто бы оспаривал такую оценку. Например, П. А. Ефремов, сначала допускавший возможность принадлежности этих строк Пушкину, в третьем издании собрания сочинений поэта, вышедшем под его редакцией, отказался поместить это «плохое и неуместное четверостишие» даже в примечаниях, считая его упоминание рядом с «Пророком» недостойным памяти Пушкина. Валерий Брюсов указывал на «явную слабость этих виршей». Один из наиболее авторитетных исследователей наших дней В. Э. Вацуру в комментариях к воспоминаниям современников о Пушкине признает эти строки «художественно беспомощными».

Против принадлежности Пушкину рассматриваемого четверостишия говорит также его лобовая политизированность, столь мало свойственная пушкинской лирике, а также весьма малая вероятность характеристики царя как «убийцы гнусного», в чем убеждает хотя бы текст дневниковой записи Пушкина 17 марта 1834 года.

Кстати, тут уместно вспомнить, что конъектура текста предложена М. А. Цявловским тоже в советское время. И возникает

вопрос, почему именно «гнусному»? И разве не было действительно гнусным намерение наиболее радикальной части декабристов истребить всю царскую фамилию, включая малолетних детей? А убийство безоружного Милорадовича, героя Отечественной войны 1812 года, выстрелом в упор на Сенатской площади? И мотивировка этого убийства в советском историческом исследовании? Вот как описывается этот эпизод восстания 14 декабря в книге М. В. Нечкиной: «Было 11 часов утра. К восставшим подскочил петербургский генерал-губернатор Милорадович, стал уговаривать солдат разойтись... вынимал шпагу, подаренную ему цесаревичем Константином с надписью: "Другу моему Милорадовичу", напоминал о битвах 1812 г. Момент был очень опасен: полк пока был в одиночестве, другие полки еще не подходили, герой 1812 г. Милорадович был широко популярен и умел говорить с солдатами. Только что начавшемуся восстанию грозила большая опасность. Милорадович мог сильно поколебать солдат и добиться успеха. Нужно было во что бы то ни стало прервать его агитацию, удалить его с площади. Но, несмотря на требования декабристов, Милорадович не отъезжал и продолжал уговоры. Тогда начальник штаба восставших декабрист Оболенский штыком повернул его лошадь, ранив графа в бедро, а пуля, в этот же момент пущенная Каховским, смертельно ранила генерала. Опасность, нависшая над восстанием, была отражена»¹ (курсив наш. — В. Е.).

Итак, по логике историка, ради спасения восстания, ради идеи можно, оказывается, не останавливаться ни перед чем: цель оправдывает средства! Тут проявляется столь свойственная определенной части интеллигенции «та беспринципная, "готтентотская" мораль, которая оценивает дела и мысли не объективно и по существу, а с точки зрения их партийной пользы или партийного вреда», и характерное для нее «принципиальное отрицание справедливого, объективного отношения к противнику»².

¹ Нечкина М. В. Декабристы. 2-е изд., испр. и доп. М., 1982. С. 109.

² Франк С. Л. Этика нигилизма // «Вехи. Из глубины». С. 195.

Нам предлагают поверить, что Пушкин в 1826 году воспринимал подобные поступки и намерения декабристов иначе, чем он воспринимал их 17 марта 1834 года, делая запись в своем не предназначенном для публикации дневнике, или иначе, чем мы сегодня, но для этого нет достаточных оснований.

Да и сама психология поведения поэта в пору предполагаемого написания приписываемых ему стихов не позволяет поверить, что такие стихи действительно могли быть им написаны. Но это мы рассмотрим несколько позднее. А сейчас обратимся к доводам тех пушкинистов, оппонентами которых мы представляем в настоящих заметках.

2

Итак, текст строфы, о которой идет речь, дошел до нас в нескольких отличающихся друг от друга вариантах, записанных со слов некоторых современников Пушкина, входивших в его окружение. Наиболее существенные разночтения относятся к четвертой строке. В академическом собрании сочинений приводится четыре источника текста (III, с. 1282). В двух из них («Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851–1860 годах» и сборник Лонгинова-Полторацкого) четвертая строка дается одинаково:

К У. Г. явись.

В третьем источнике (биографический очерк «Пушкин», составленный П. П. Каратыгиным под редакцией П. А. Ефремова) четвертая строка не приводится вовсе.

В четвертом источнике (публикация А. П. Пятковского в «Русской старине» в марте 1880 года) приводится другой вариант четвертой строки:

К царю..... явись!

В академическом собрании, как известно, принят первый вариант.

Нельзя не остановиться на том, каким образом аргументирован такой выбор. Редакторы тома М. А. Цявловский и Т. Г. Цявловская-Зенгер отсылают читателя к книге «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартевым...», вступительная статья и примечания к которой написаны Цявловским. В указанной книге находим буквально следующее: «Как должна читаться четвертая строка, остается неизвестным, но во всяком случае не так, как читается в заметке Пятковского — ”Къ царю.....явись!“», где точками (причем точка не соответствует букве слова) скрыто какое-то очевидно нецензурное по тому времени слово...»¹ (курсив наш. — В. Е.).

Вот, собственно, и все доказательство! С помощью столь несложного аргумента («во всяком случае, не так, как читается в заметке Пятковского») (!) один из двух вариантов четвертой строки был объявлен принадлежащим Пушкину и в таком качестве вот уже около полувека присутствует в самом авторитетном пушкинском издании.

Таков же и уровень обоснования «конъектуры, предложенной Цявловским» в академическом издании: «Что-то очень оскорбительное для Николая заключают в себе и слова, начинающиеся на ”у“ и ”г“, в записи Бартевева, если он их не решился записать даже в своей тетради. Не назвал ли Пушкин Николая I за казнь пяти декабристов ”убийцей гнусным“?»²

Наши сомнения в возможности такой характеристики царя Пушкиным мы привели выше. Здесь лишь заметим, что на подобном уровне аргументации легко могут возникнуть и другие варианты расшифровки букв «У. Г.».

Не более убедительным выглядит и биографическое обоснование этой версии.

¹ Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартевым в 1851–1860 годах. М., 1925. С. 93.

² Там же. С. 93–94.

Существует легенда, по которой Пушкин будто бы взял эти стихи с собой, когда в начале сентября 1826 года в сопровождении фельдъегеря выехал из Михайловского в Москву по вызову царя. Основывается она на показаниях тех же его современников, со слов которых стихи записаны: С. А. Соболевского, А. В. Веневитинова, С. П. Шевырева, П. В. Нащокина.

Однако при внимательном сопоставлении показаний выясняется, что они явным образом противоречат друг другу по самым существенным вопросам, а иные из них страдают отсутствием внутренней логики. Это и неудивительно, ведь между рассказами мемуаристов и самими событиями, о которых они вспоминают, прошли десятилетия!

Главным свидетельством является рассказ Соболевского, по которому Пушкин будто бы был испуган потерей листка, содержащего текст крамольного четверостишия, предполагая, что он мог быть обронен им во дворце во время аудиенции у императора. А затем этот листок, по утверждению Соболевского, отыскался у него на квартире: «...вот то место, где он выронил (к счастью — что не в кабинете императора) свои стихотворения о повешенных, что с час времени так его беспокоило, пока они не нашлись!!!»¹.

Но такой рассказ предполагает, что поэт после высочайшей аудиенции приехал прямо к Соболевскому. На самом деле все было совершенно иначе: в письме М. Н. Лонгинову 1855 года сам Соболевский сообщал, что «по приезде Пушкина в Москву он жил в трактире "Европа", дом бывшего тогда Часовникова на Тверской»². Причем, по свидетельству Лонгинова, Пушкин из дворца направился «в дом... дяди своего Василия Львовича Пушкина, оставивши пока свой багаж в гостинице дома Часовникова... на Тверской»³.

Об этом же сообщает П. И. Бартенев в «Заметке о Пушкине», опубликованной в 1865 году: «...на Басманной же жил в своем

¹ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1974. С. 8.

² Там же. С. 372.

³ Пушкин. Письма. Т. II. М.; Л., 1928. С. 182.

доме дядя поэта Василий Львович Пушкин, к которому Александр Сергеевич и приехал прямо из дворца, так как родителей его, Сергея Львовича и Надежды Осиповны, в то время не было в Москве»¹.

Между двумя сообщениями Соболевского временная разница в двенадцать лет. Вероятно, за этот срок его воспоминания утратили прежнюю отчетливость и ему стало казаться, что Пушкин приехал из дворца прямо к нему. Во всяком случае, сегодня его воспоминания 1867 года не могут быть признаны достаточно достоверными: ситуация с отысканием стихов в его квартире не поддается логическому объяснению.

Однако слухи о том, что Пушкин в сентябре 1826 года привез в Москву какие-то «возмутительные» стихи, впервые были упомянуты в печати за год до публикации письма Соболевского. Впервые о них упомянул историк М. И. Семевский в 1866 году, причем его отношение к этим слухам было весьма критическим: «...в тогдашнем обществе, принимавшем живейшее участие в судьбе своего любимца, ходили о Пушкине и о разговоре его с государем самые разноречивые, самые нелепые толки»². Далее Семевский приводит один такой рассказ, по которому Пушкин, спускаясь по лестнице дворца после встречи с императором, заметил на ступеньке «лоскуток бумажки» и с ужасом узнает в нем «собственноручное небольшое стихотворение к друзьям, сосланным в Сибирь». Семевский высказывает убеждение, что подобные рассказы — «не более как басня».

А. Н. Вульф, по сообщению Семевского, отнесся к этому рассказу весьма скептически и поведал ему, что Пушкин из желания порисоваться перед дамами мог «поприбавить такие о себе подробности, какие разве были в одном его воображении»³.

Не менее отрицательно по поводу подобных слухов, в частности по поводу сообщения Соболевского, отозвался П. А. Вя-

¹ *Бартенев П. Л.* О Пушкине. Страницы жизни поэта. Воспоминания современников. М., 1992. С. 264.

² *Семевский М. И.* Прогулка в Тригорское // «С.-Петербургские ведомости». 1866. № 163.

³ Там же.

земский. В письме Бартеневу 6 марта 1872 года он писал: «...полагаю, что Соболевский немножко драматизировал анекдот о Пушкине. Во-первых, невероятно, чтобы он имел эти стихи в кармане своем, а во-вторых, я видел Пушкина вскоре после представления его Государю и он ничего не сказал мне о своем испуге»¹.

Кроме того, показаниям Соболевского противоречат воспоминания другого пушкинского знакомого — С. П. Шевырева, в которых утверждается, что Пушкин, хорошо принятый императором, «тотчас после этого... уничтожил свое возмутительное сочинение и более не поминал об нем»². Тем самым, по воспоминаниям Шевырева, получается, что Пушкин не мог рассказать Соболевскому о существовании стихов, а тем более сообщить ему их содержание.

Но самые большие противоречия с показаниями Соболевского содержит рассказ П. В. Нащокина, записанный Бартеневым: «В этот же раз Павел Войнович рассказал мне подробнее о возвращении Пушкина из Михайловского в 1826 году. Послан был нарочный сперва к псковскому губернатору с приказом отпустить Пушкина. С письмом губернатора этот нарочный прискакал к Пушкину. Он в это время сидел перед печкою, подбрасывал дров, грелся. Ему сказывают о приезде фельдъегеря. Встревоженный этим и никак не ожидавший чего-либо приятного, он тотчас схватил свои бумаги и бросил в печь: тут погибли его записки... и некоторые стихотворные пьесы, между прочим, стихотворение «Пророк», где предсказывались совершившиеся уже события 14 декабря. Получив неожиданное прощение и лестное приглашение явиться прямо к Императору, он поехал тотчас с этим нарочным и привезен был прямо в кабинет Государя»³ (курсив наш. — В. Е.).

Отметим в рассказе Нащокина следующие важные моменты:

¹ Бартенев П. И. О Пушкине. С. 408.

² А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 39.

³ Там же. С. 187.

1) Нащокин считает, что вопрос об освобождении Пушкина был решен еще до встречи с императором. Кстати, так же трактует события и П. В. Анненков в своих «Материалах для биографии А. С. Пушкина». Таким образом, по версии Нащокина, для Пушкина не было никаких оснований везти на встречу с царем в кармане сюртука (как утверждал Соболевский) крамольные стихи;

2) Нащокин утверждает, что Пушкин, узнав о приезде фельдъегеря, сжег все свои рукописи крамольного содержания, в том числе стихотворение «Пророк». Значит, и по этому пункту воспоминаний Нащокина нечего было везти Пушкину в кармане сюртука в Москву.

Разумеется, комментаторы воспоминаний Нащокина считают, что его показания в отмеченных нами пунктах не очень точны, и мотивируют это следующими, довольно резонными соображениями: «Нащокин не был свидетелем этих событий и сообщает о них со слов Пушкина, по памяти, приблизительно»¹ (курсив наш. — В. Е.).

Но, помилуйте, хочется возразить им, а разве другие мемуаристы делают свои сообщения «не со слов Пушкина, по памяти»? А разве тексты самого четверостишия существуют в каком-либо другом виде, кроме как в их сбивчивых и отличающихся друг от друга вариантах? Мы не беремся судить, кто из мемуаристов более точен, мы хотим только подчеркнуть, что версии Нащокина и Соболевского расходятся в одном из самых существенных моментов: мог ли привезти Пушкин в Москву, на встречу с императором, крамольные стихи, или нет.

Следует также особо остановиться на том утверждении Нащокина, по которому в стихотворении «Пророк», якобы сожженном Пушкиным перед отъездом из Михайловского, «предсказывались совершившиеся уже события 14 декабря».

Такую характеристику никак нельзя отнести ни к известному нам стихотворению, ни к рассматриваемому четверостишию «Встань, встань, пророк России!..». Любопытно, что

¹ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 443.

подобным же образом характеризуют некое «возмутительное» стихотворение Пушкина другие мемуаристы, на показания которых ссылаются сторонники рассматриваемой нами легенды. Так, например, М. П. Погодин исправил при публикации в приведенном выше тексте Соболевского слова «стихотворения о повешенных» на «стихотворение на 14 декабря».

О пушкинских стихах «на 14 декабря», получивших хождение в 1826 году, пишет в своих воспоминаниях Ф. Ф. Вигель¹, однако он прямо указывает, что имеет в виду стихотворение «Андрей Шенье», напечатанное с цензурными сокращениями в издании 1826 года «Стихотворения А. Пушкина».

В связи с этим возникает вопрос: не могли ли Нащокин и Погодин за давностью лет перепутать стихотворения «Пророк» и «Андрей Шенье»? Тем более, если вспомнить, что в известном письме к П. А. Плетневу 4–6 декабря 1825 года сам Пушкин написал об этих стихах следующее: «Душа! я пророк, ей-богу пророк! Я "Андрея Шенье" велю напечатать церковными буквами во имя Отца и Сына etc.»².

Вполне вероятно, что это пушкинское откровение ко времени записей Бартеневым рассказов о Пушкине было им известно (опубликовано письмо Бартеневым в 1870 году). В памяти мемуаристов восклицание «я пророк» и стихотворение «Андрей Шенье», в какой-то степени действительно «предсказывающее» события 14 декабря, каким-то образом соединились, вот почему, говоря о стихотворении «Пророк», они считают, что в нем «предсказывались совершившиеся уже события 14 декабря».

Так или иначе, но это еще одно противоречивое место в показаниях мемуаристов, снова свидетельствующее о том, что их воспоминания не могут приниматься нами безоговорочно.

Мы не касались еще воспоминаний А. В. Веневитинова, о которых в 1880 году поведал А. П. Пятковский: «А. В. Веневитинов рассказывал мне, что Пушкин, выезжая из деревни с фельдъегерем, положил себе в карман стихотворение "Пророк", которое

¹ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 228–229.

² Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. Т. 2. М., 1982. С. 102.

в первоначальном виде оканчивалось следующей строфой...»¹ (далее приводятся стихи о «пророке России». — В. Е.).

Что можно заметить по этому поводу? Такое свидетельство (через третье лицо) никак не может быть признано нами достаточным, хотя бы на том же основании, на каком сторонниками легенды отвергаются показания Нащокина (кстати, сославшегося в своих воспоминаниях непосредственно на Пушкина): ни Пятковский, ни Веневитинов «не были свидетелями событий» и сообщают о них «по памяти, приблизительно», а Пятковский еще и с чужих слов.

Итак, мы сопоставили в самых важных моментах воспоминания и мнения нескольких пушкинских современников и можем подвести некоторые итоги.

Рассказ Соболевского о том, что Пушкин привез из Михайловского в кармане сюртука «возмутительные стихи», вызвал критическое отношение Вяземского, Семевского и Вульфа. Рассказу Соболевского, страдающему отсутствием внутренней логики, противоречат в самом существенном месте воспоминания Шевырева и особенно Нащокина. Воспоминания Веневитинова опубликованы не им самим, а в пересказе Пятковского. Все эти показания появились спустя десятилетия после описываемых событий.

Мы, как уже было отмечено, не ставим себе здесь задачу установить истину. Наша цель значительно проще: показать, что возобладавшее в советском пушкиноведении мнение о существовании крамольной строфы «Пророка» и о готовности Пушкина в случае неблагоприятного исхода аудиенции 8 сентября 1826 года предъявить эти стихи императору не подтверждается никакими реальными фактами.

¹ Русская Старина. Март. 1880. С. 674.

Рассмотрим теперь, чем заняты были мысли поэта в месяцы, предшествовавшие его освобождению из ссылки. Мы постараемся сделать это на основании переписки Пушкина и его друзей.

В его письмах с середины января (письмо П. А. Плетневу) по 4 сентября 1926 года (письмо П. А. Осиповой из Пскова в Тригорское) можно выделить три основных мотива: постоянное подчеркивание непричастности к восстанию, беспокойство о судьбе арестованных декабристов, желание примириться с властями. Чаще всего эти мотивы взаимосвязаны.

Вот примеры:

«Верно вы полагаете меня в Нерчинске. Напрасно, я туда не намерен — но неизвестность о людях, с которыми находился в короткой связи, меня мучит. Надеюсь для них на милость Царскую. Кстати: не может ли Жуковский узнать, могу ли я надеяться на Высочайшее снисхождение...» (XIII, 256);

«Вероятно, правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел... Теперь положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов условливаться (буде условия необходимы)...» (В. А. Жуковскому, 20-е числа января — XIII, 257);

«...Но никогда я не проповедовал ни возмущений, ни революции — напротив... Как бы то ни было, я желал бы вполне и искренно помириться с правительством... С нетерпением ожидаю решения участи несчастных и обнаружение заговора. Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего Царя» (А. А. Дельвигу, начало февраля — XIII, 259);

«Мне сказывали, что 20, то есть сегодня, участь их должна решиться — сердце не на месте; но крепко надеюсь на милость Царскую» (А. А. Дельвигу, 20 февраля — XIII, 262);

«Вопрос: невинен я или нет? но в обоих случаях давно бы надлежало мне быть в Петербурге. Вот какво быть верноподанным!.., я сам себя хочу издать или выдать в свет. Батюшки, помогите» (П. А. Плетневу, 3 марта — XIII, 265);

«Вступление на престол Государя Николая Павловича подает мне радостную надежду. Может быть, Его Величеству угодно будет переменить мою судьбу» (В. А. Жуковскому, 7 марта — XIII, 265);

«...свидетельствую при сем, что я ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал...» (Николаю I, 11 мая — первая половина июня — XIII, 284);

«Бунт и революция мне никогда не нравились...» (П. А. Вяземскому, 10 июля — XIII, 286);

«Еще таки я все надеюсь на коронацию; повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна» (П. А. Вяземскому, 14 августа — XIII, 291).

В связи с беспокойством за судьбу подследственных декабристов проходит в письмах, как это видно из приведенных отрывков, еще одна сквозная тема: надежда на великодушие нового царя.

Однако этой надежде не суждено было сбыться в отношении пяти главных обвиняемых, а в отношении остальных мятежников она осуществилась далеко не в той мере, на какую рассчитывал Пушкин: «...для всех осужденных Верховным Уголовным Судом декабристов указом 22 августа 1826 г., по случаю коронации Николая I, были лишь уменьшены размеры наложенных на них наказаний, помилован же никто не был»¹.

Жесткость нового царя не могла не вызвать разочарования в либеральных кругах русского общества. У нас имеются только косвенные свидетельства того, какое тяжелое впечатление произвела на Пушкина казнь пятерых наиболее видных декабристов, но мы не имеем его прямых высказываний на сей счет. Этот пробел легко восполнить мнением Вяземского, содержащимся в его письме жене 20 июля 1826 года: «О чем ни думаю, как ни развлекаюсь, а все прибывает меня невольно и неожиданно к пяти ужасным виселицам, которые для меня из всей России сделали страшное лобное место. Знаешь ли лютые подробности казни? Трое из них: Рылеев, Муравьев

¹ Пушкин. Письма. Т. II. С. 172.

и Каховский еще заживо упали с виселицы в ров, переломали себе кости, и их после того возвели на вторую смерть. Народ говорил, что, видно, Бог не хочет их казни, что должно оставить их, — но барабан заглушил вопль человечества, — и новая казнь совершилась»¹.

Тогда же в Записной книжке он отметил: «...13-е число жестоко оправдало мое предчувствие! Для меня этот день ужаснее 14-го [декабря]. По совести нахожу, что казни и наказания несоизмеримы преступлениям, из коих большая часть состояла только в одном умысле. Вижу в некоторых из приговоренных помышление о возможном цареубийстве, но истинно не вижу ни в одном твердого убеждения и решимости на совершение оно»².

Но формулировки Вяземского (день казни для него не лучше 14 декабря 1825 года) совсем не то же самое, что объявить царя за казнь декабристов «убийцей гнусным».

Насколько можно судить по письмам Пушкина этого времени о его политической позиции, навряд ли его оценка происшедшего сильно отличалась от оценки Вяземского. Да, действия власти (царя) были восприняты как чрезмерно жестокие, но неприятие конкретных решений еще не равнозначно публичному протесту и бунту. Критическое отношение к определенным действиям власти — нормальная реакция любого свободно мыслящего человека, но власть эта продолжает оставаться своей, законной властью. Поэтому, менее чем через два месяца после казни декабристов, тот же Вяземский, сообщая А. И. Тургеневу об освобождении Пушкина, отзывается об императоре в совсем ином тоне: «...Государь посылал за ним фельдъегеря в деревню, принял его у себя в кабинете, говорил с ним умно и ласково и поздравил его с волею...»³.

Столь же благоприятное впечатление, как известно, произвел император и на самого Пушкина.

¹ Там же. С. 173.

² Там же.

³ Там же. С. 181.

Все эти примеры показывают, что приписываемое Пушкину крамольное четверостишие плохо сочетается с общим контекстом размышлений Пушкина и его друзей в месяцы, предшествовавшие освобождению из ссылки.

Судя по переписке, с середины января 1826 года Пушкин начинает надеяться «на Высочайшее снисхождение» и предпринимает в связи с этим недвусмысленные шаги навстречу правительству.

Сначала он обращается к Жуковскому, советуясь с ним: «Кажется, можно сказать царю: "Ваше Величество, если Пушкин не замешан, то нельзя ли наконец позволить ему возвратиться?» (20-е числа января 1826 года). Затем (в начале февраля) — к Дельвигу, сообщая, что желал бы «вполне и искренно помириться с правительством». В начале марта с тем же вопросом обращается он к Плетневу, а затем вновь к Жуковскому, уже прямо прося его ходатайствовать об освобождении. Наконец, в середине мая — первой половине июня пишет прошение Николаю I, мотивируя свою просьбу, кроме прочего, расстройством здоровья. Оставшееся время до коронации нового императора он с волнением ждет решения своей участи. Надежда на скорое освобождение не была беспочвенной, об этом говорит, в частности, письмо Дельвига в Тригорское, в котором он еще 7 июня 1826 года пророчил: «Пушкина верно отпустят на все четыре стороны; но надо сперва кончиться суду»¹ (суду над декабристами. — В. Е.).

Решение об освобождении Пушкина, как видно из документов, было принято в конце августа 1826 года. 31 августа начальник Главного штаба барон И. И. Дибич направил псковскому гражданскому губернатору Б. А. фон Адеркасу письмо следующего содержания: «По Высочайшему Государя Императора повелению, *последовавшему по всеподданнейшей просьбе*, прошу покорнейше Ваше Превосходительство: находящемуся во вверенной вам Губернии Чиновнику 10-го класса Александру Пушкину позволить отправиться сюда при посылаемом вместе

¹ Семовский М. И. Прогулка в Тригорское.

с сим нарочным Фельдъегерем. Г. Пушкин может ехать в своем экипаже, свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только Фельдъегеря; по прибытии же в Москву имеет явиться прямо к Дежурному Генералу Главного Штаба Его Величества»¹ (курсив наш. — В. Е.).

Выделенные нами слова распоряжения имеют чрезвычайно важное значение, так как они неопровержимо свидетельствуют о том, что вызов Пушкина в Москву является ответом на его «всеподданнейшую просьбу», и, следовательно, уже решено, что ему будет дозволено пользоваться услугами столичных докторов (именно в этом его просьба и состояла) и что он будет освобожден.

Поэтому 4 сентября, уже из Пскова, Пушкин отправил П. А. Осиповой в Тригорское письмо, написанное в довольно-таки приподнятом тоне: «Полагаю, сударыня, что мой внезапный отъезд с фельдъегерем удивил вас столько же, сколько и меня. Дело в том, что без фельдъегеря у нас грешных ничего не делается; мне также дали его для большей безопасности. Впрочем, судя по весьма любезному письму барона Дибича, — мне остается только гордиться этим. Я еду прямо в Москву, где рассчитываю быть 8-го числа текущего месяца; лишь только буду свободен, тотчас же поспешу вернуться в Тригорское, к которому отныне навсегда привязано мое сердце» (перевод с французского. — XIII, 558).

Таким образом, вопреки мнению П. Е. Щеголева, принятому в советском пушкиноведении, мы считаем, что трактовка событий, данная Анненковым в его «Материалах для биографии А. С. Пушкина», совершенно правильна: «3 сентября получено было во Пскове всемиловитвейшее разрешение на просьбу Пушкина о дозволении ему пользоваться советами столичных докторов. Державная рука, снисходя на его прошение, вызвала его в Москву, возвратила его городской жизни...»².

¹ Пушкин. Письма. Т. II. С. 178.

² Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984. С. 169.

Используя то обстоятельство, что вызов Пушкина в Москву совпал по времени с началом следствия по делу о распространении стихов «на 14 декабря» (не пропущенные цензурой строки из стихотворения «Андрей Шенье»), Щеголев намеренно драматизировал ситуацию, утверждая: «Пушкин лично перед Николаем I должен был разрешить недоумение, вызываемое авторством стихов ”На 14 декабря“, и дальнейшая участь его зависела от его ответа. Судьба его висела на волоске...»¹.

Но, как известно, первое показание о стихах «на 14 декабря» Пушкин дал лишь 19 января 1827 года московскому обер-полицеймейстеру А. С. Шульгину на следующий день после его запроса². Поэтому очень сомнительно, чтобы император мог требовать от него объяснений по поводу злополучных стихов 8 сентября 1826 года, когда дознание фактически только еще началось. Это означало бы, что расследование, предпринятое III отделением, начинается с действий самого императора, вызывающего поэта для допроса и прощающего его после получения необходимых разъяснений, а затем, собственно, и начинает раскручиваться само дело против Пушкина, продолжающееся вплоть до 28 июня 1828 года.

Насколько нам известно, например, по делу о «Гавриилиаде», в действительности все происходило в обратном порядке: сначала производилось полицейское расследование, затем результаты его докладывались наверх, а император, как говорится, ставил точку, получив объяснения Пушкина.

В связи с этим нельзя не отметить, что в обширном и обстоятельном исследовании Щеголева «А. С. Пушкин — в политическом процессе 1826–1828 гг.», неоднократно переиздававшемся после 1917 года, не нашлось места для приведенного нами письма барона Дибича от 31 августа 1826 года псковскому губернатору, а тем более для выделенного нами в нем места, в котором

¹ Щеголев П. Е. Пушкин. Исследования и материалы. Т. 2. М.; Л., 1931. С. 91.

² Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935. С. 744–745.

недвусмысленно заявлено, что Пушкин вызывается в Москву по его «всеподданнейшей просьбе».

Упомянутое исследование Щеголева в части, касающейся вызова Пушкина в Москву, требует беспристрастного специального рассмотрения, которое не может быть выполнено в объеме настоящих заметок.

Итак, возвращаясь к нашей основной теме, мы настаиваем на том, что даже если бы Пушкин и был автором четверостишия о «пророке России», у него не было никаких разумных оснований брать его с собой в Москву на аудиенцию с императором.

В пользу такого соображения говорит и следующее обстоятельство: Пушкин был вызван в Москву во время торжеств по случаю коронации Николая I, само это совпадение не было случайным и свидетельствовало о том, что благополучный исход встречи был предусмотрен заранее.

Николаю I совершенно незачем было (особенно после недавней казни декабристов) омрачать праздничное событие невеликодушным обращением с первым поэтом России.

Немаловажно и пушкинское признание в письме Вяземскому, которое мы уже цитировали: «...повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна». Мы обращаем здесь внимание на первую часть фразы, свидетельствующую о том, что ужасная казнь как свершившийся факт начинала уже отодвигаться для Пушкина в прошлое. По существу, от этого признания не такое уж большое расстояние до пушкинской дневниковой записи 17 марта 1834 года, с которой мы начали наши заметки.

4

В свете всех рассмотренных обстоятельств вызывают удивление появившиеся в самое последнее время публикации, авторы которых не только считают принадлежность злополучного четверостишия Пушкину вопросом давно и окончательно

решенным, но и пытаются доказать, что четверостишие это является вариантом заключительной строфы «Пророка».

Удивление вызывает здесь то, что эта мысль не оригинальна и уже высказывалась раньше, например, Благим, как мы это показали, а затем И. Д. Хмарским, который примерно в те же годы в своей книге «Народность поэзии А. С. Пушкина» утверждал следующее: «...»Пророк“ — это одна из самых патетических клятв поэта в верности своим гражданским идеалам после поражения декабристов. В первоначальной редакции первый стих читался так: ”Великой скорбию томим“, а один из вариантов заканчивался четверостишием:

Восстань, восстань, пророк России...»¹.

Несостоятельность утверждений Хмарского достаточно убедительно показал Бенедикт Сарнов, используя для этой цели аргументацию, несколько отличную от нашей².

Таким образом, современные авторы развивают и дополнительно аргументируют утверждения предшественников, что уместно было бы обозначить, признавая тем самым, что приоритет в данном вопросе принадлежит не им.

Другим поводом для нашего удивления служит то, что наибольшим препятствием, которое эти авторы пытаются преодолеть, представляется им не характеристика Николая I как «убийцы гнусного» и не эстетическая несостоятельность рассматриваемого текста, а лишь упоминание в нем «позорных риз» и «вервия на выи».

Один из отмеченных нами авторов, М. В. Строганов, преодолевает такое мнимое препятствие утверждением, что «”пророк России“ — это юродивый»³, аргументируя столь спорное суж-

¹ Хмарский И. Д. Народность поэзии А. С. Пушкина (К изучению творчества А. С. Пушкина в VIII классе). М., 1970. С. 54.

² См.: Сарнов Б. Бремя таланта. Портреты и памфлеты. М., 1987. С. 288–295.

³ Строганов М. В. Стихотворение Пушкина «Пророк» // «Временник Пушкинской комиссии». Вып. 27. СПб., 1996. С. 9.

дение весьма бегло и не всегда корректно. Так, он ссылается, в частности, на статью А. Лотман «И я бы мог, как шут...», опубликованную в 1978 году, хотя теперь уже можно считать доказанным, что Л. Лотман оказалась жертвой преднамеренной фальсификации¹, в связи с чем статья ее потеряла какой-либо смысл.

Другой весьма уважаемый нами автор, Ирина Сурат (оговоримся, что ее публикация, которую мы здесь рассматриваем, не является собственно исследованием на интересующую нас тему, а представляет собой скорее полемическую реплику по поводу одного публичного выступления о пушкинском «Пророке»), решает ту же задачу несколько иначе, доказывая, что «вервие на выи» применительно к казни декабристов вполне соответствует проповеди библейского пророка, о которой рассказывается в 20-й главе Книги Исаи. Там «Господь повелел пророку сбросить одежды и ходить нагим и босым, чтобы наглядно продемонстрировать царю Езекии, к чему приведет война»².

Но, к сожалению, пытаясь обосновать в нужном ей ключе «вервие на выи» и «позорны ризы», И. Сурат проходит мимо другой, на наш взгляд, куда более актуальной проблемы, без рассмотрения которой теряют смысл все ее частные доказательства. А именно, почему в рассматриваемом нами четверостишии, представляющем собой, по ее непоколебимому убеждению, раннюю редакцию заключительной строфы «Пророка», Пушкин, призвавший «пророка России», то есть себя самого: «Иди, и с вервием на выи К у. <бийце> <?> г. <нусному> <?> явись!» — представ-таки перед этим злодеем, не совершил никакого подобающего «пророку России» поступка (дабы наглядно продемонстрировать недопустимость казни декабристов), и наоборот, «царь произвел хорошее впечатление на Пушкина

¹ См.: *Краснобродько Т. И.* История одной мистификации (Мнимые пушкинские записи на книге Вальтера Скотта «Айвенго») // «Легенды и мифы о Пушкине». СПб., 1994.

² *Сурат И.* Твое пророческое слово... // «Новый мир». 1995. № 1. С. 238.

и заручился его поддержкой, а крамольные стихи остались в кармане сюртука»¹. Таким образом, великий русский поэт с радостью принял из рук «гнусного убийцы» свободу, а взамен обещал ему сотрудничество на благо России.

Получается, что стихи, явившиеся по утверждению И. Сурат, свидетельством «перелома во внутренней жизни Пушкина»², всего лишь факт литературный, к реальной жизни и к реальному поведению их создателя не имеющий прямого отношения, то есть стихи эти написаны, как говорится, ради красного словца. Но как же тогда быть с высказыванием С. Булгакова о «Пророке», которое И. Сурат тоже приводит: «Если это есть только эстетическая выдумка, одна из тем, которых ищут литераторы, тогда нет великого Пушкина...»³. По нашему мнению, такое кричащее противоречие разрешается единственным образом: Пушкин не сочинял приписанных ему через много лет после его смерти стихов и, следовательно, не имел их в «кармане сюртука» во время аудиенции у императора.

Недостаточно обоснованным представляется нам и пассаж И. Сурат, касающийся несовместимости рассматриваемого четверостишия с «духом и смыслом» известного нам окончательного текста «Пророка»: «Это очевидно, но никак не может отменить единогласных показаний мемуаристов»⁴.

Нам представляется логически более оправданным обратное утверждение: никакие «показания мемуаристов» не могут отменить того факта, что «апокрифическая строфа» никак не согласуется с «духом и смыслом» известного нам окончательного текста «Пророка». К тому же, как мы показали выше, «единогласные показания мемуаристов» — миф, получивший распространение в советскую эпоху.

¹ Сурат И. Твое пророческое слово... // «Новый мир». 1995. № 1. С. 237. — Таковы показания мемуаристов в изложении И. Сурат.

² Там же. С. 236.

³ Там же.

⁴ Там же. С. 237.

И последнее замечание, касающееся затронутых нами публикаций. Оба автора (М. Строганов и И. Сурат) так или иначе касаются известной черновой записи Пушкина «И я бы мог, как шут...». Однако и эта запись воспринимается нами несколько иначе, чем было принято до сих пор. В ней ощущается, как нам кажется, совсем другой оттенок смысла, который становится более ощутимым при сопоставлении ее с другой известной нам сентенцией, использованной Пушкиным в качестве эпиграфа к статье 1836 года «Александр Радищев» и будто бы произнесенной в 1819 году Карамзиным: «Не следует, чтобы честный человек заслуживал повешения» (перевод с французского). «Как шут», добавим мы для пояснения параллели. Из такого сопоставления двух фраз видно, что дворянская честь ценилась Пушкиным очень высоко — и, быть может, именно в этом его коренное идейное расхождение с декабристами.

В заключение подведем некоторые итоги.

Рассмотренное четверостишие о «пророке России» не имеет, по нашему убеждению, никакого отношения к пушкинскому «Пророку». Вообще его принадлежность Пушкину вызывает большие сомнения и до сих пор не аргументирована в достаточной степени.

Такие стихи в собраниях сочинений Пушкина обычно помещаются в разделе «Dubia», а не в основном корпусе, что и следует осуществить при новых переизданиях произведений поэта¹. Пушкинское наследие необходимо очищать от тех искажений и деформаций, которые были допущены за минувшие десятилетия.

1998

¹ Правда, и в этом случае вопрос о том, какой из существующих вариантов четверостишия следует принять за основной, остается открытым.

ВОКРУГ «ПРОРОКА»

Стихотворение «Пророк» по праву считается одним из вершинных достижений пушкинской лирики. Вдохновенные и глубокие характеристики его звучали уже в середине XIX века. Так, Надежда Кохановская в 1859 году в журнале «Русская Беседа» (№ 5, отд. III) с трогательным религиозным энтузиазмом писала:

«Возьмите хоть одно общее содержание в коротких словах. Чего оно не совмещает в себе? Мир присущего Божества, мир ангельский в лице серафима, — человек в величайших конечных пределах его духовной жизни: мертвящем томлении духа и высочайшей силе его, и здесь же земля и небо, в несказанном величии мировых сил жизни, выдают свои неведомые тайны. Слышно, как небеса содрогаются от исполнения славы Божьей; земля звучит, принимая на себя отсвет ея, в морских глубинах слышен ход морских чудовищ; слышно, как растет лоза при долине, и в высоте небесной, ощутимо смертному уху, звучит горный полет ангелов — и все это в тридцати коротеньких строчках! Величие человеческого слова торжественно сказалось в поэтическом величии ”Пророка“»¹.

Владислав Ходасевич, накануне эмиграции из большевистской России (1922), провозглашал, что с того дня, когда Пушкин написал «Пророка» и «решил всю грядущую судьбу русской литературы», она «стоит на крови и пророчестве»².

В советское время проблематика «Пророка», весь его образный строй, библейские реминисценции и славянизмы оказались слишком далекими от насущных идеологических задач эпохи. Стихотворение не вписывалось в созвучную тому време-

¹ Пушкин А. С. Собр. соч.: В 6 т. / Под ред. С. А. Венгерова. Т. IV. С. VII.

² Ходасевич В. Окно на Невский // Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1996. С. 489–490.

ни новую трактовку пушкинского наследия, которая должна была утверждать главенствующее положение революционных, антимонархических и антирелигиозных мотивов в творчестве первого национального поэта России.

В этих условиях попытка, хотя бы косвенно, связать «Пророка» с революционной тематикой являлась весьма актуальной. К тому же имелись отдельные, не подтвержденные документальными свидетельствами предания и легенды (таковые расцвечивают биографию всякого великого человека), которые могли стать неким подобием обоснования таких попыток.

Столь важная идеологическая задача была успешно решена ведущими советскими пушкинистами: в летописи жизни и творчества Пушкина, составителем которой являлся М. А. Цявловский¹, появилась запись о существовании трех (!) стихотворений «Пророк», антиправительственной направленности; в том III большого академического собрания сочинений поэта впервые был введен текст приписываемого Пушкину четверостишия «Восстань, восстань, пророк России...» (с конъектурой, где царь назывался «гнусным убийцей»), принадлежность которого Пушкину всегда вызывала большие сомнения; наконец в примечаниях к стихотворению «Пророк» в том же томе появилось утверждение о том, что первоначально стихотворение начиналось иначе:

Великой скорбию томим, —

причем в качестве даты, обозначающей начало работы над «Пророком», был произвольно указан день получения Пушкиным сообщения о казни декабристов.

¹ Нельзя не признать, что М. А. Цявловский был действительно выдающимся пушкинистом XX столетия, а главный труд его жизни «Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина 1799–1826» явился неоценимым вкладом в отечественную пушкинистику, однако признание этого очевидного факта не освобождает нас от необходимости критического осмысления его научного наследия.

Все сделанное позволило наконец напрямую связывать стихотворение с декабристской темой. Так, например, в собрании сочинений поэта, изданном в 1969 году под редакцией академика Д. Д. Благого, находим: «"Пророк". — Написано под впечатлением казни пяти и ссылки многих из декабристов на каторгу в Сибирь. В основу положен образ библейского пророка — проповедника правды и беспощадного обличителя грехов и беззаконий царской власти...»¹

Анализу методов решения поставленной временем задачи, а также выявлению степени научной обоснованности этих решений посвящено настоящее исследование.

Три стихотворения «под названием "Пророк"...»

В «Летописи...» читаем:

«Июль, 24 — сентябрь, 3. Три стихотворения о казненных декабристах противоправительственного содержания под названием "Пророк" (не сохранились). Предание донесло лишь одно четверостишие в, безусловно, искаженном виде: "Восстань, восстань, пророк России"»².

В качестве обосновывающего материала указана давняя заметка Цявловского о Пушкине, опубликованная в 1936 году в «Звеньях», — три с половиной печатных страницы, включая тексты впервые опубликованных там писем.

В заметке приводятся, в частности, тексты двух писем М. П. Погодина к П. А. Вяземскому: краткая выдержка из письма от 11 марта 1837 года и письмо от 29 марта 1837 года полностью, сопровождаемые комментариями публикатора.

Краткая выдержка из первого письма Погодина содержит следующую просьбу к Вяземскому как к одному из редакторов «Современника»: «Если бы вы были столько добры, чтобы

¹ Пушкин А. С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. М., 1969. С. 484.

² Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. 1799–1826 / Сост. М. А. Цявловский. 2-е изд., исправ. и допол. Л., 1991. С. 631–632.

написать мне слова два о его бумагах (Пушкина. — В. Е.): цела ли *Русалка*, *Островский* («Дубровский». — В. Е.), *Ганнибал*, *Пророк*, восемь песен *Онегина*? Что *Петр*? Мелкие прозаические отрывки, кои готовил он к своей газете для образчика? Сделайте милость»¹.

Ни «Пророка», ни «Островского» в бумагах Пушкина не оказалось, и М. А. Коркунов, по просьбе Вяземского, попросил Погодина написать об этих произведениях подробнее: «все, что вы знаете»².

В ответном письме на имя Вяземского Погодин и сообщил об интересующем нас стихотворении следующее: «*Пророк* он написал, ехавши в Москву в 1826 году. Должно быть четыре стихотв., первое только напечатано (“Духовной жаждою томим” etc.)»³.

Погодин совершенно явно имел в виду цикл стихотворений под единым названием «Пророк» — «должно быть четыре стихотворения», потому что нам трудно себе представить в творческом наследии Пушкина несколько отдельных стихотворений с одинаковым названием, написанных в одно время.

Это сообщение Погодина — единственное во всей литературе о Пушкине упоминание о еще каких-то, помимо известного нам всем текста «Пророка», стихотворениях на ту же тему.

При этом Погодин, как мы видим, ничего не сообщил об источниках такой информации, а это в данном случае очень важно.

Довольно загадочное погодинское сообщение не имеет ни реальных, ни косвенных подтверждений и только потому не должно было вводиться в научный обиход в качестве достоверного факта биографии Пушкина.

Что сделал Цявловский?

¹ Цявловский М. А. Заметки о Пушкине. IV. Погодин о «посмертных произведениях Пушкина»: (Неизвестное письмо М. Погодина к П. А. Вяземскому 29 марта 1837 г.) // «Звенья». Кн. 6. 1936. М.; Л., С. 152.

² Там же.

³ Там же. С. 153.

Придав второй части сообщения Погодина о «Пророке» (о четырех стихотворениях) статус заведомой достоверности, он произвольно расчленил единый, по представлению Погодина, цикл, отделив от известного нам стихотворения «Пророк» три других упомянутых Погодиным, которые назвал стихотворениями «о казненных декабристах», а затем столь же произвольно присвоил им характеристику «противоправительственных». При этом он совершенно игнорировал первую часть погодинского сообщения, касающуюся датировки стихотворения: «Пророк он написал, ехавши в Москву в 1826 году» (то есть с 3 по 8 сентября. — В. Е.).

Чтобы оправдать «противоправительственное содержание» трех стихотворений и как-то связать их с казнью декабристов, датировка Погодина была передвинута Цявловским на месяц с лишним назад, обозначив для их создания иной временной промежуток: 24 июля (день получения Пушкиным известия о казни декабристов) — 3 сентября 1826 года. Тем самым было продемонстрировано, что сообщение Погодина не является неоспоримым свидетельством и, когда это целесообразно, его можно корректировать или вообще не принимать во внимание.

Для довершения картины приписываемое Пушкину с шестидесятых годов XIX века четверостишие «Восстань, восстань, пророк России...» было голословно провозглашено фрагментом именно этих трех несохранившихся антиправительственных стихотворений о «казненных декабристах». Такое предположение еще никем не выдвигалось, но ведущие советские пушкинисты, собственно, не собирались больше заниматься выдвиганием каких-либо предположений — они просто вносили свои, не имеющие никаких научных обоснований, домыслы в «Летопись...» или в академическое собрание сочинений поэта в качестве научно достоверных, проверенных временем фактов.

Так и был создан необходимый факт биографии Пушкина, рассматриваемый нами сегодня впервые со времени его опубликования.

Что же касается степени осведомленности Погодина о пушкинских текстах, то нельзя не отметить, что его знания в этой

области были весьма приблизительными, а сообщения отличались неточностью и сбивчивостью, о чем можно судить по тому же письму.

О романе «Дубровский» он, например, сообщал Вяземскому следующее: «Об Островском вот собственные слова Пушкина из письма к Нащокину от 2 октября 1832 года: "Честь имею тебе объявить, что первый том Островского кончен и на днях прислан будет в Москву на твое рассмотрение..."».

Содержание этого романа — истинное происшествие: одного помещика разорил сосед, оттягав его землю. Помещик взял своих крестьян, оставшихся без земли, и пошел с ними разбойничать, *несколько раз был пойман, переходил через суды разные очень оригинально etc.*» (курсив наш. — В. Е.)¹.

Содержание романа Погодин изложил весьма приблизительно и, что особенно важно для нас, присочинил ряд эпизодов: «Несколько раз был пойман, проходил через суды разные...». Таких эпизодов, как известно, в романе нет, и они не предполагались автором, о чем свидетельствуют планы романа, сохранившиеся в бумагах Пушкина.

Это позволяет сделать вывод, что о романе «Дубровский» Погодин знал что-то лишь со слов Нащокина, прибавив от себя (таково свойство человеческой памяти!) остальное.

Не отличаются точностью и другие сообщения Погодина, содержащиеся в том же письме. Например, коснувшись «Песен о Стеньке Разине», он сообщал, что они «были представлены в Цензуру в 1828, кажется, году и не пропущены тогда»².

На самом деле «Песни...» были посланы поэтом на просмотр Николаю I при письме Бенкендорфу от 20 июля 1827 года, а в цензуру не представлялись.

В свете отмеченного вполне допустимо предположить, что и сообщение Погодина о «Пророке» столь же неточно или даже ошибочно, тем более что источник информации им не указан. В таком предположении нет попытки поставить под сомнение

¹ Цявловский М. А. Заметки о Пушкине. С. 152.

² Там же.

добросовестность Погодина, ведь хорошо известно, что и материалы первых биографов Пушкина, П. И. Бартенева и П. В. Анненкова, содержат немало таких ошибок и неточностей.

Видимо, ощущая недостаточную убедительность одиночного свидетельства Погодина, Цявловский завершил свою коротенькую заметку следующим пассажем:

«Существуют свидетельства шести лиц (С. А. Соболевского, А. В. Веневитинова, С. П. Шевырева, М. П. Погодина, А. С. Хомякова и П. В. Нащокина), бывших в тесном общении с Пушкиным по приезде его из Михайловского в сентябре 1826 года, во-первых, о том, что поэт привез в Москву противоправительственные стихи, посвященные событиям 14 декабря, и во-вторых, о том, что стихи эти были первоначальным окончанием "Пророка"»¹.

Как видно из приведенной цитаты, Цявловский (вольно или невольно) подменял понятия и запутывал ситуацию. Так, совершенно неясно, к каким текстам следует отнести его слова о «противоправительственных стихах»: имелись ли в виду стихотворения, о которых сообщал Погодин Вяземскому, или здесь подразумевалось известное четверостишие «Восстань, восстань, пророк России...»?

Если справедливо первое предположение, то налицо явное противоречие: те стихотворения охарактеризованы в «Летописи...» (см. выше) как стихотворения «о казненных декабристах», а не как «посвященные событиям 14 декабря»; и потом, как могли «три стихотворения», которым в его «Летописи...» посвящено отдельное сообщение, быть «первоначальным окончанием» стихотворения «Пророк»?

Если же здесь подразумевалось четверостишие «Восстань, восстань...», то нельзя не заметить, что его вряд ли можно назвать стихами, «посвященными 14 декабря», и потом, какое это имеет отношение к письму Погодина Вяземскому? Там это четверостишие вообще не упоминается и, следовательно, его связь с «тремя стихотворениями» ничем не подтверждена.

¹ Цявловский М. А. Заметки о Пушкине. С. 155.

Запутывая и без того непростую ситуацию, Цявловский стремился создать впечатление (или уговорить самого себя), что речь идет о стихах, упомянутых Погодиным в письме к Вяземскому. Но для такого предположения, даже если бы оно было им ясно заявлено, нет, как мы уже показали, никаких оснований.

Таким образом, «свидетельства шести лиц», скоропалительно упомянутых исследователем, полученные к тому же через десятилетия после смерти поэта, не имеют прямого отношения к сообщению Погодина о «Пророке», содержащемуся в его письме от 29 марта 1837 года. Да и сами эти свидетельства порой совершенно явно противоречат друг другу, что мы рассмотрим чуть позже.

И вот что еще интересно отметить. При цитировании письма Погодина от 11 марта 1837 года был усечен за ненадобностью следующий текст:

«Вот вам еще стихотворение («Герой». — В. Е.), которое Пушкин прислал мне в 1830 году из нижегородской деревни, во время холеры¹. Кажется, никто не знает, что оно принадлежит ему. Судя по некоторым обстоятельствам, да и по словам вашим в письме к Д. В. Давыдову, очень кстати перепечатать его теперь в "Современнике" или, если 1-я книжка уже выходит, — в "Литературных Прибавлениях". В этом стихотворении *самая тонкая и великая похвала нашему славному Царю. Клеветники увидят, какие чувства питал к нему Пушкин, не хотевший, однако ж, продираться со льстецами*» (курсив наш. — В. Е.)².

Трудно поверить, чтобы в том же письме к Вяземскому Погодин мог иметь в виду какие-то противоположительные стихи Пушкина.

Итак, подведем итоги. Загадочное сообщение Погодина о «Пророке» является одиночным свидетельством, никакими другими свидетельствами или фактами, подтверждающими его

¹ См. письмо Пушкина из Болдина к Погодину от начала ноября 1830 года.

² Пушкин А. С. Сочинения и письма / Под ред. П. О. Морозова. Т. II. СПб., 1903. С. 497–498.

сообщение, мы не располагаем. Для включения этого сообщения Погодина в «Летопись жизни и творчества Пушкина» в качестве достоверного факта биографии поэта не было необходимых оснований.

«Восстань, восстань, пророк России...»

В 1948 году вышел том III Большого академического собрания сочинений Пушкина под общей редакцией Цявловского, куда впервые в истории отечественной пушкинистики было включено уже упоминавшееся сомнительное в художественном отношении четверостишие с его же конъектурой в 4-м стихе:

Восстань, восстань, пророк России,
В позорны ризы облекись,
Иди, и с вервием на выи
К у. <бийце> <?> г. <нусному> <?> явись.

Текст этот, якобы отражающий реакцию Пушкина на казнь декабристов, получил распространение с 1866 года (почти через 30 лет после гибели поэта) и сопровождался легендой о том, что Пушкин привез его из Михайловского «в кармане сюртука» на аудиенцию к царю, состоявшуюся 8 сентября 1826 года, с тем, чтобы вручить его своему могущественному собеседнику в случае неблагоприятного исхода разговора.

Этой теме посвящен предыдущий раздел настоящей главы «К убийце гнусному явись...», где решительно отвергается сама возможность принадлежности приведенного выше текста Пушкину и ставится вопрос о неправомерности его включения в собрание сочинений поэта.

Здесь мы приведем лишь некоторые дополнительные сообщения по затронутому вопросу.

Для обоснования достоверности упомянутой нами легенды Цявловский сослался на воспоминания тех же шести современников поэта (универсальный прием!), которые он, не совсем

обоснованно, пытался использовать в уже рассмотренном нами сюжете с письмом Погодина от 29 марта 1837 года, а именно: С. А. Соболевского, А. В. Веневитинова, С. П. Шевырева, М. П. Погодина, А. С. Хомякова и П. В. Нащокина. Все они, как отметил Цявловский, были «в тесном общении с поэтом в Москве осенью и зимой 1826 года»¹.

Ссылка на них в этой связи более уместна, чем в предыдущем случае. Но и здесь не удалось избежать ряда неточностей.

Во-первых, «о тесном общении»: Погодин в первые дни пребывания Пушкина в Москве осенью 1826 года лишь мечтал о том, чтобы с ним познакомиться; едва только познакомились с Пушкиным в те же дни Шевырев и Хомяков; Нащокин в тот приезд Пушкина в Москву с ним вообще не встречался и потому не мог находиться с ним ни в каком общении.

Во-вторых, о самих свидетельствах: что касается Веневитинова, то в 1865 и в 1880 годах в «Русском Архиве» и «Русской Старине» публиковались его воспоминания, где нет ни слова об интересующем нас тексте, — свидетельство, которое связано с его именем, на самом деле принадлежит А. П. Пятковскому, пересказавшему в 1880 году в «Русской Старине» то, что он будто бы слышал когда-то от покойного к тому времени Веневитинова; Погодин и Хомяков, вопреки заверениям исследователя, никаких воспоминаний по поводу четверостишия не оставили: они только сообщили Бартеневу его текст. На воспоминаниях Нащокина мы подробно останавливались в предыдущем разделе настоящей главы².

Никакого упоминания об интересующем нас четверостишии в рассказе Нащокина нет, не подтверждается и легенда о том, что Пушкин якобы вез в Москву «в кармане сюртука» какое-то возмутительное стихотворение. При этом, как мы уже отметили ранее, обращает на себя внимание тот факт, что Нащокин связывает «Пророка» с предсказанием «совершившихся

¹ Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851–1860 годах. С. 94.

² «К убийце гнусному явись...».

уже событий 14 декабря». Это означает, что, по представлению Нащокина, «Пророк» появился из-под пера Пушкина не позднее дня декабрьского восстания! Как известно, стихами, предсказывающими события 14 декабря, считались строфы пушкинского стихотворения 1825 года «Андрей Шенье», не пропущенные цензурой. Строфы эти (от «Приветствую тебя, мое светило» до «И буря мрачная минет») распространились в 1826 году в списках с произвольным заглавием «На 14 декабря». Поэтому очень похоже на то, что Нащокин путал «Пророка» с «пророческими» строфами из «Андрея Шенье». Но в любом случае воспоминания Нащокина никак не подтверждают насущно необходимую для советского пушкиноведения легенду.

Строго говоря, легенду эту в той или иной степени (то есть частично) пересказали лишь Соболевский, Шевырев и Пятковский. При этом не совсем ясно, какие стихи имел в виду Соболевский: «о повешенных» или «о событиях 14 декабря», что для нас далеко не одно и то же, потому что в канонизированном Цявловским четверостишии о «событиях 14 декабря» нет и речи.

Немаловажным представляется и следующее обстоятельство: Соболевский, Шевырев и Веневитинов, со слов которого пересказал предание Пятковский, принадлежали к одному кругу (к этому же кругу принадлежали Погодин и Хомяков, не оставившие своих воспоминаний о четверостишии), участвовали в обществе любомудров, их связывали между собой действительно тесные отношения, и потому легенда о четверостишии, будь она известна одному из них, непременно сделалась бы достоянием всех остальных. Поэтому количество свидетельств в данном случае не имеет никакого значения.

Не случайно Вяземский или Алексей Вульф, к их кругу не принадлежавшие, к распространившейся с шестидесятых годов XIX века легенде отнеслись весьма скептически, а воспоминания Нащокина, как мы уже отметили, существенно расходятся с воспоминаниями бывших любомудров.

В уже упоминавшемся издании сочинений и писем Пушкина под редакцией Морозова легенда характеризовалась весьма нелестно: «Это предание, подхваченное легковверными кри-

тиками (проф. Незеленов и др.), представляется, по существу, совершенно невероятным, не говоря уже о технической стороне четверостишия. Г. Сумцов, признающий это четверостишие "чисто-пушкинским" — наряду с зувеской "Русалкой" и прочими подобными измышлениями памятливых старцев и плохих виршеплетов, — сам, однако же, говорит, что "Пушкин, при его уме, не мог допустить в «Пророке» такого нелепого окончания". Н. И. Черняев и В. Д. Спасович решительно и вполне основательно отвергают как самое предание, так и принадлежность Пушкину приведенных стихов»¹.

Да и Н. О. Лернер, на статью которого в собрании сочинений Пушкина под редакцией Венгерова одобрительно ссылался Цявловский, воспринимал предание более критически, чем он. Лернер, в частности, заметил: «С характером Пушкина не вяжется театрально-эффектное вручение царю стихов о пророке с веревкой на шее. Пушкин мог отождествлять себя в поэтическом воображении с гонимым пророком, но как человек трезвый и самолюбивый, конечно, никогда не решился бы вручить царю подобные стихи и, разыграв напыщенную театральную сцену, поставить себя в положение не то что небезопасное, а просто смешное...»²

Вообще, здесь уместно отметить, что в пушкинистике начала XX века было большее разнообразие мнений, чем во времена, когда некоторые не вполне убедительные предположения корифеев советского пушкиноведения провозглашались бесспорными истинами и подкреплялись всем авторитетом советской академической науки. Так, тот же Лернер в уже упомянутой нами статье добросовестно перечислил всех противников «предания» (в том числе П. А. Ефремова, П. О. Морозова, В. Д. Спасовича, Н. И. Черняева) и дал краткие изложения их доводов. Цявловский же в своих комментариях к рассказам Бартенева на контрдоводах (видимо, ввиду ясности вопроса!) предпочел не останавливаться.

¹ Пушкин А. С. Сочинения и письма. Т. 2. 1903. С. 395–396.

² Пушкин А. С. Собр. соч.: В 6 т./ Под ред. С. А. Венгерова. Т. IV. С. IV.

Не менее уязвимой, с нашей точки зрения, является текстологическая позиция Цявловского: в качестве пушкинского в собрание сочинений введен текст, ни автографов, ни авторитетных копий которого, выполненных современниками поэта при его жизни, не существует. В записанных по устным воспоминаниям престарелых современников Пушкина вариантах четверостишия только первая строка читается одинаково, в трех остальных имеются существенные разночтения. Все редакции четвертого стиха имеют лакуну, с энтузиазмом заполненную самим Цявловским («убийце гнусному»), выступившим, таким образом, в роли соавтора неизвестного нам создателя этого (художественно убогого, по мнению подавляющего большинства специалистов начала XX века) текста.

Предложенная конъектура не может быть признана корректной хотя бы потому, что без графологического анализа почерка Бартенева нельзя уверенно утверждать, с какой буквы начинается второе слово 4-го стиха: с принятой Цявловским при публикации текста прописной «У» или с прописной «Ц». В хронике жизни и творчества поэта совершенно справедливо отмечена эта неясность записи Бартењева:

«Эта строфа, в передаче М. П. Погодина и А. С. Хомякова, имела две последние строки в иной редакции:

Иди, и с вервием вокруг шеи (выи?)
К У. (или Ц.) Г. явись»¹.

Тем не менее это сомнительное во всех смыслах четверостишие находится в самом авторитетном собрании сочинений поэта (и в других его изданиях) и до сих пор воспринимается недостаточно осведомленными читателями как подлинный текст, написанный самим Пушкиным.

А что же нам делать с преданиями о противоправительственной концовке «Пророка», как отнестись к воспоминаниям ряда современников Пушкина, упомянутых здесь нами?

¹ Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 1. Кн. 1. С. 19.

Возможно, в основе этих воспоминаний действительно лежат какие-то реальные факты, подвергшиеся несомненному искажению при передаче от рассказчика к рассказчику (а теми из них, кто возводил свои воспоминания непосредственно к Пушкину, какие-то его слова могли быть неправильно или превратно поняты). Возможно, но нельзя делать на основании преданий и легенд окончательные выводы.

Принадлежность четверостишия «Восстань, восстань, пророк России...» Пушкину не доказана. Что до преданий и легенд, касающихся этого четверостишия, то они, в отсутствие достоверных подтверждений, должны вернуться в комментарии к «Пророку», где им отводилось надлежащее место в собраниях сочинений Пушкина в досоветское время.

«Великой скорбию томим...»

Как известно, «Пророк» начинается следующей строкой:

Духовной жаждою томим.

Так он публиковался Пушкиным в «Московском вестнике» в 1828 году и затем в собрании стихотворений, изданном в 1829 году, где был помещен среди стихотворений 1826 года.

Известна также копия стихотворения руки Шевырева с приписками Погодина, где первый стих имеет ту же редакцию. Хотя время выполнения копии не установлено, выполнена она, скорее всего, до выхода «Московского вестника» из печати.

Автографы «Пророка» не сохранились, за исключением записи первого стиха в иной (по сравнению с печатной) редакции в списке произведений, предназначенных для издания в 1829 году уже упомянутого нами собрания стихотворений. Там первая строка выглядит так:

Великой скорбию томим.

По заключению Цявловского эта редакция была первоначальной. Никаких доказательств в пользу такого заключения он не привел.

Это было необходимо, чтобы через «скорбь» связать гипотетическую первоначальную редакцию «Пророка» (которую никто никогда не видел) с казнью декабристов.

Вопрос достаточно принципиальный. Постараемся пояснить ситуацию, напомним исходные данные:

1) датировка «Пророка», указанная Цявловским в «Летописи...» и в Полном собрании сочинений, — 24 июля — 3 сентября 1826 года, редакция первого стиха неизвестна;

2) датировка списка с иной редакцией первой строки («Великой скорбию томим»), установленная по достоверным фактам творческой биографии Пушкина, — 24 апреля — август 1827 года;

3) дата выхода в свет «Московского вестника» с первой публикацией «Пророка» — 15 февраля 1828 года.

Вполне вероятно, что первоначально стихотворение начиналось стихом «Духовной жаждою томим», затем через 8 месяцев (а то и почти через год) возник вариант «Великой скорбию томим», а к моменту публикации первому стиху была возвращена первоначальная редакция. Но точно установить, как выглядела первоначально первая строка стихотворения, по имеющимся данным невозможно.

Однако Цявловский, используя свой авторитет, уверенно утверждает, что вариант «Великой скорбию томим» является первоначальным, а «окончательный вариант первого стиха (то есть вариант «Московского вестника». — В. Е.) написан после конца апреля–августа 1827 года» (III, 1130).

Излишне объяснять, что в 1948 году, когда вышел из печати указанный том полного собрания сочинений Пушкина, возражать Цявловскому по такому, с виду сугубо научному, вопросу было невозможно, а быть может, и некому. Однако с опозданием на 30 с лишним лет прозвучала наконец иная точка зрения: «...составляя план сборника своих стихотворений (1827 г. — В. Е.),

Пушкин записал первую строчку в иной редакции: "Великой скорбию томим"¹.

То есть автор ее, В. Э. Вацуро, утверждал, что первоначальной редакцией первого стиха была редакция, известная нам всем по публикациям «Пророка»:

Духовной жаждою томим.

Отметим при этом, что утверждение Вацуро впервые опубликовано было не в академическом издании, а в журнале «Аврора» (№ 8 за 1980 год), выражая лишь его личное мнение. В разговоре с автором настоящей статьи в 1999 году Вацуро подтвердил эту свою позицию.

Очень важно, что Вацуро, не будучи отягощенным соображениями идеологической целесообразности, слишком влиявшими на выводы его старшего современника, и к слову «скорбь» отнесся совершенно иначе, чем Цявловский. В подтверждение этого повторим и продолжим уже приводившуюся цитату:

«...составляя план сборника своих стихотворений, Пушкин записал первую строчку в иной редакции: "Великой скорбию томим". Она позволяет нам угадать движение его поэтической мысли. Через семь лет он создает стихотворение, начинающееся словами:

Однажды, странствуя среди долины дикой,
Внезапно был объят я скорбию великой...

Это стихотворение о страннике, так же томимом "духовной жадой" (оно так и называется "Странник"), написанное от его имени и так же проникнутое суровыми библейскими мотивами. В "Пророке" есть уже предвестие "Странника", и самый зрительный образ приобретает широкий символический смысл².

¹ Вацуро В. Э. Пророк // Записки комментатора. СПб., 1994. С. 10.

² Вацуро В. Э. Пророк. С. 10.

Чья точка зрения по рассмотренному нами вопросу — Цявловского или Вацуро — ближе к истине, рассудит время. Мы принимаем лишенную какой-либо идеологизации пушкинского наследия позицию Вацуро.

Во всяком случае, категорическое утверждение Цявловского о первоначальной редакции первого стиха «Пророка», внесенное им в большое академическое собрание сочинений Пушкина, не имеет необходимых подтверждений.

Когда написан «Пророк»?

В дореволюционных изданиях Пушкина датировка «Пророка» не давалась ввиду отсутствия его автографов. Принятые Цявловским сроки написания стихотворения (24 июля — 3 сентября 1826 года) недвусмысленно указывают на то, что стихи могли быть написаны (или работа над ними начата) в день получения Пушкиным известия о казни декабристов — 24 июля 1826 года.

Нетрудно предположить, что эта датировка, навеянная легендами и преданиями, связанными с «Пророком», призвана была послужить для них своего рода научным подтверждением.

В свете критического осмысления прежних решений, касающихся стихотворения «Пророк», становится очевидным, что принятая датировка стихотворения не имеет никакого реального обоснования.

Строго говоря, в таком нашем заявлении нет особенной новизны, потому что еще Б. В. Томашевский во втором издании малого академического собрания сочинений Пушкина (1956–1958) в примечаниях к «Пророку» осмелился отступить от канонизированной советским пушкиноведением датировки стихотворения: он указал, правда тоже без каких-либо комментариев, что «Пророк» написан 8 сентября 1826 года. Таким образом, Томашевский недвусмысленно связал стихотворение с аудиенцией Пушкина у Николая I, тем самым опрокинув

все идеологические построения Цявловского, рассмотренные здесь нами¹.

По-видимому, и у Томашевского не было реальных подтверждений предложенной датировки, а если бы они и были, он вряд ли смог бы опубликовать их даже в пору хрущевской «оттепели». Судя по принятому им решению, он придавал встрече Пушкина с императором 8 сентября 1826 года гораздо большее значение, нежели сообщению о казни декабристов, полученному поэтом в Михайловском 24 июля 1826 года... Но дальнейшие попытки реконструкции хода мысли Томашевского завели бы нас на зыбкую почву голословных предположений и оказались бы неплодотворными.

Остановимся на том, что в результате редакционного решения Томашевского в советском пушкиноведении создалась парадоксальная ситуация: в большом академическом собрании сочинений Пушкина «Пророк» датируется «24 июля — 3 сентября 1826 г.» (III, 1130), в малом академическом собрании — «8 сентября 1826»².

Сам факт кричащего противостояния датировок в двух академических изданиях красноречиво свидетельствует об отсутствии у нас каких-либо реальных данных для определения истинного времени создания этого шедевра пушкинской лирики.

Тем большее удивление и сожаление вызывает живучесть идеологических стереотипов, касающихся «Пророка», которые и в наше время продолжают тиражироваться.

Так, в «Летописи жизни и творчества Пушкина», вышедшей в 1999 году, вновь читаем не претерпевший никаких изменений знакомый текст Цявловского. Правда, есть и одно отличие: запись о «трех стихотворениях о казненных декабристах»

¹ Не будем касаться отличающейся налетом сенсационности книги Л. М. Аринштейна «Пушкин. Непричесанная биография» (1999), где на основе датировки Томашевского предпринята попытка не менее радикальной, чем прежняя, идеологизации «Пророка» — но уже в противоположном («новом») духе.

² Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. II. Л., 1977. С. 384.

сопровождается ошибочной ссылкой на статью Цявловского 1916 года в журнале либерально-народнического толка «Голос минувшего», в которой о «Пророке» нет и речи¹.

Но пора признать: то, что советской академической науке представлялось решенным окончательно, на самом деле таковым не является.

Вопрос о датировке стихотворения остается открытым, а его связь с казнью декабристов не имеет необходимых подтверждений, как и принадлежность Пушкину четверостишия, обращенного к некоему «пророку России», как и единственное в своем роде утверждение Погодина о существовании четырех стихотворений «Пророк».

Это очевидное на сегодняшний день положение вещей должно бы найти отражение в новых изданиях произведений Пушкина.

2005

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ «ПИКОВОЙ ДАМЫ»

Литература, посвященная «Пиковой даме», обширна, но анализ повести, надо полагать, далеко еще не исчерпан. Слишком многое в ней продолжает оставаться необъясненным. Внимание исследователей чаще всего привлекал ее фантастический колорит. Правда, наряду с этим указывалось на связь повести с историческими и социальными проблемами, но делалось это в самом общем виде. Так, например, Б. В. Томашевский отмечал: «Для Пушкина критерий историзма уже не определяется более исторической отдаленностью событий прошлого... В этом отношении особенно характерна повесть "Пиковая дама", писавшаяся

¹ Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: В 4 т. Т. 2. М., 1999. С. 160.

одновременно с "Медным всадником". В ней каждое действующее лицо является представителем определенной исторической и социальной формации. Графиня — представительница уходящей знати, с ее воспоминаниями о дореволюционном Париже; Лиза — одна из тех обнищавших компаньенок, первый очерк о которых мы находим в "Романе в письмах"; Германн — хищный искатель счастья, пробивающий дорогу в новом обществе и готовый на всякий риск и даже на преступление. Смена поколений в этом романе характеризует смену разных укладов жизни русского общества»¹.

Здесь мы попытаемся конкретизировать эти общие положения.

1

События, о которых рассказывается в повести, охватывают промежуток новейшей для Пушкина русской истории продолжительностью примерно в 60 лет. Начало относится ко времени царствования Екатерины II, финал — к 20-м или 30-м годам следующего столетия. Развитие сюжета связано с екатерининской эпохой тайною трех карт, атмосфера эпохи отражена во множестве подробностей и деталей: в именах Сен-Жермена, Ришелье, Зорича, в обстановке спальни графини, в ее вкусах, манерах и разговоре. Не будет преувеличением сказать, что сама старая графиня, «пиковая дама», является олицетворением екатерининского времени.

Несмотря на щедро рассыпанную здесь и там иронию, авторское отношение к этому времени нигде не выражено явно, кроме разве того обстоятельства, что пиковая дама «символизирует отрицательный женский образ, "злодейку"»². Однако историческая оценка Пушкиным екатерининской эпохи и самой

¹ Томашевский Б. В. Историзм Пушкина // «Пушкин». Кн. 2. М.; Л., 1961. С. 198–199.

² Виноградов В. В. Стиль «Пиковой дамы» // «Пушкин. Временник». Вып. 2. М.; Л., 1936. С. 94.

носителницы этого имени нам известна: «Царствование Екатерины II имело новое и сильное влияние на политическое и нравственное состояние России. Возведенная на престол заговором нескольких мятежников, она обогатила их за счет народа...» (XI, 15).

Эта оценка оставалась устойчивой на протяжении всей жизни Пушкина.

Переворот 1762 года (непосредственно затронувший и семью поэта: дед его, Лев Александрович, «во время возмущения» был посажен в крепость за верность присяге и затем вынужден выйти в отставку) (XII, 311) ускорил процесс угасания родовитых дворянских фамилий и безудержного возвышения за их счет новой знати, ведущей свою родословную от вчерашних «денщиков и певчих». Проблема оскудения дворянства затрагивала лично самого Пушкина, который, несмотря на новое скромное социальное положение, не забывал своего происхождения и гордился причастностью своих предков к истории России. Эта проблема отразилась во множестве его произведений 30-х годов и является одной из центральных в его творчестве. В этой связи нельзя не назвать «Мою родословную», «Роман в письмах», «Дубровского», «Арапа Петра Великого», повести «Гости съезжались на дачу» и «На углу маленькой площади», «Путешествие из Москвы в Петербург», материалы к статьям «Опровержение на критики» и «О дворянстве». Эти же мотивы могут быть обнаружены и во многих других его произведениях, например, в «Барышне-крестьянке», в «Капитанской дочке», в «Медном всаднике» и т. д.

В первоначальной редакции «Дубровского» вместо: «Обстоятельства разлучили их надолго» — было: «Славный 1762 год разлучил их надолго. Троекуров, родственник княгини Дашковой, пошел в гору». Дубровский же, как известно, «с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне» (VIII, 162).

Следовательно, конфликт между Троекуровым и Дубровским, в котором все симпатии автора на стороне последнего, имеет еще определенный политический подтекст: отставной

генерал-аншеф Троекуров — выдвиженец 1762 года. К нему как к таковому, без сомнения, могут быть отнесены пушкинские слова из уже цитированной выше статьи: «Екатерина знала плутни и грабежи своих любовников, но молчала. Ободренные таковою слабостию, они не знали меры своему корыстолюбию, и самые отдаленные родственники временщика с жадностию пользовались кратким его царствованием. Отселе произошли сии огромные имения... и совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа. От канцлера до последнего протоколиста все крало и все было продажно. Таким образом развратная государыня развратила свое государство» (XI, 16).

С большей частью перечисленных произведений «Пиковая дама» связана непосредственно: с «Романом в письмах» — образом бедной воспитанницы и эпитафией к главе II, воспроизводящим светский каламбур Дениса Давыдова; с повестью «На углу маленькой площади» — эпитафией к главе III; с «Дубровским» — фамилией Нарумова, заимствованной из первоначальных набросков к роману; с «Арапом Петра Великого» — сходством приемов при воспроизведении колорита парижской жизни героев; с «Путешествием из Москвы в Петербург» — стилистическим построением сентенции в начале главы VI («Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе...»), а также эпитафией к главе IV.

Но неизмеримо важнее отмеченных заимствований та идейно-тематическая связь, которая роднит повесть с другими произведениями этого периода: раздумья о судьбах русского дворянства, о екатерининской эпохе, о последствиях переворота 1762 года.

Прямого обращения к «славному 1762 году» в повести, как и в окончательной редакции «Дубровского», нет. Прямым обращениям и упоминаниям вообще нет места в этом таинственном произведении, но косвенное (и довольно конкретное) имеется.

Главу I повести предваряет невинный как будто бы стихотворный эпиграф:

А в ненастные дни
Собирались они
Часто;
Гнули — Бог их прости! —
От пятидесяти
На сто,
И выигрывали,
И отписывали
Мелом.
Так, в ненастные дни,
Занимались они
Делом.

Эти стихи еще задолго до опубликования повести Пушкин сообщал Вяземскому в своем письме к нему. Шуточные строки о собственном времяпрепровождении летом 1828 года. А потом они пригодились для повести. Все как будто бы просто. Но простота эта кажущаяся. Ведь стихотворный размер эпиграфа в точности повторяет размер известной декабристской агитационной песни, написанной совместно Рылеевым и Бестужевым между 1822 и 1825 годами:

Ты скажи, говори,
Как в России цари
Правят.
Ты скажи поскорей,
Как в России царей
Давят.
Как капралы Петра
Провожали с двора
Тихо.

А жена пред дворцом
Разъезжала верхом
Лихо.
Как курносый злодей
Воцарился по ней —
Горе!
Но Господь, русский Бог,
Бедным людям помог
Вскоре.

В середине прошлого века оба текста воспроизводились как одно целое, что, конечно, не было случайностью: эпитафия написана как продолжение песни. Лет тридцать назад на это обратил внимание Н. Эйдельман: «...для определенной, весьма просвещенной части читателей пушкинского и послепушкинского времени строчки "Как в ненастные дни..." были частью сверхкрамольного агитационного декабристского сочинения о том, как "давили" цари друг друга... и, понятно, — о том, что эту традицию нужно продолжить. Действительно, размер, ритм, которыми написаны разные куплеты этого сочинения, последовательно выдержан, он очень оригинален, его невозможно спутать с каким-либо другим, это настолько очевидно, что в конце прошлого и начале нашего века специалисты готовы были допустить: 1) что все опасные куплеты написал Пушкин; 2) что те же самые строки, включая и "Ненастные дни", сочинили Рылеев и А. Бестужев».

Далее он писал: «Пушкин, конечно, все это понимал, и если "воспользовался легким размером Рылеева", то совершенно сознательно. Зачем же? Простая пародия была бы невозможным кощунством»¹.

А если это не «простая пародия», а указание на то, что картежная игра в повести, помимо выполнения основной, сюжетной функции, является еще и развернутой метафорой? Что за ней скрывается другая игра, по мнению Пушкина, еще более азартная?

¹ Эйдельман Н. Я. А в ненастные дни... // «Звезда». 1974. № 6. С. 206.

Действительно, эпитафия намеренно проецирует наше внимание на содержание агитационной песни, состоящее в рассказе о том, «как в России царей давят»: убийство Петра III и восшествие на престол Екатерины II в результате дворцового переворота 1762 года («славный 1762»!), убийство Павла I в пользу его сына Александра I в 1801 году. Как известно, решающую роль в этих дворцовых переворотах сыграла гвардия. В агитационной песне эта решающая сила как бы находится за кадром, но в эпитафии она выходит на первый план. «Они» — это те же гвардейские офицеры, подготовившие события агитационной песни, но только взятые в иное время, в иные — «ненастные дни».

В составлявшей некогда вместе с эпитафией одно целое агитационной песне — борьба за трон, в эпитафии — картежная игра. Не в этом ли ключ к прочтению исторического подтекста повести?

Картежники, которые в «ненастные дни» гнут паролы «от пятидесяти на сто», в иные дни давили царей, а заговорщики, в иные, счастливые дни совершавшие дворцовые перевороты, — тоже азартные игроки, только ставки в их игре неизмеримо крупнее...

При сопоставлении текстов под таким углом зрения затемненный пушкинский эпитафия проясняется содержанием агитационной песни, а само содержание агитационной песни получает в пушкинском эпитафии нравственную оценку.

Уместно отметить также, что название картежной игры, избранное Пушкиным, — «фараон» — не было ни единственным, ни наиболее употребительным¹, и поэтому даже в нем ощутим определенный оттенок двусмысленности: «В то время дамы играли в фараон».

В главе, которой предпослан стихотворный эпитафия, мы узнаем со слов Томского о двух поистине выдающихся картежных событиях: выигрыше графини и выигрыше Чаплицкого. Если

¹ *Виноградов В. В.* Стиль «Пиковой дамы». С. 76.

попытаться выяснить, к какому времени они могут быть отнесены, откроются весьма любопытные совпадения.

Такие хронологические уточнения даются в работе Б. Я. Виленчика «Историческое прошлое в "Пиковой даме"»¹. Анализируя с этой точки зрения рассказ Томского, автор достаточно убедительно доказывает, что первую игру, игру графини, игру у королевы («au jeu de la Reine») следует отнести к концу 1750-х годов или к периоду «нелегального» пребывания Сен-Жермена в Париже с весны 1761 до 1762 года. Любопытно также, что «в 1762 году Сен-Жермен находится уже в Петербурге, где поддерживает близкие отношения с братьями Орловыми во время свержения и убийства Петра III». Таким образом, место в рассказе Томского, где говорится о том, что тайна трех карт была раскрыта графине Сен-Жерменом, имеет особый, иносказательный оттенок.

Вторую игру, игру Зорича с Чаплицким, можно, по мнению Б. Я. Виленчика, «поместить в 90-е годы» (Зорич умер в 1799 году, за два года до убийства Павла I).

Из всего этого следует, что картежные выигрыши графини и Чаплицкого достаточно близко совпадают по времени с дворцовыми переворотами, речь о которых ведется в агитационной песне.

Тема цареубийств всегда сильно занимала Пушкина, в частности в период опубликования повести, что прослеживается по дневниковым записям 1834 года: «28 февраля... На бале явился цареубийца Скарятин... 8 марта... Жуковский поймал недавно на бале у Фикельмон... цареубийцу Скарятин и заставил его рассказывать... 11-ое марта. Они сели. В эту минуту входит государь с гр. Бенкендорфом и застаёт наставника своего сына, дружелюбно беседующего с убийцею его отца! Скарятин снял с себя шарф, прекративший жизнь Павла 1-го.

На похоронах Уварова покойный государь следовал за гробом. Аракчеев сказал громко (кажется, А. Орлову): "Один царь

¹ Виленчик Б. Я. Историческое прошлое в «Пиковой даме» // Временник Пушкинской комиссии. 1981. Л., 1985. С. 174–176.

здесь его провожает, каково-то другой там его встретит?“ (Уваров один из цареубийц... 11-го марта)...

17 марта... Третьего дня... Сидя втроем с посланником и его женою, разговорился я об 11-м марте. Недавно на бале у него был цареубийца Скарятин; Фикельмон не знал за ним этого греха. *Он удивляется странностям нашего общества*» (курсив наш. — В. Е.).

Далее, буквально через две записи: «7 апреля... Моя ”Пиковая дама“ в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза...» (XII, 320–324).

Это соседство упоминания о «Пиковой даме» с записями об убийстве Павла I представляется весьма симптоматичным.

Эпиграф к главе I повести, уточнение хронологии картежных выигрышей графини и Чаплицкого, а также записи в «Дневнике» дают основание предполагать, что в «Пиковой даме» в завуалированной форме содержатся упоминания о двух конкретных исторических событиях недавнего времени: дворцовых переворотах 1762 и 1801 годов.

Такое количество случайных совпадений, выявленных при анализе пушкинских текстов, маловероятно — слишком уж хорошо нам известна выверенность каждого пушкинского слова, каждого его решения в работе над произведениями.

3

К какому времени следует отнести игру Германна?

Считается, что повесть написана в 1833 году в Болдине. Однако точных доказательств этого нет. Зато имеется ряд косвенных свидетельств, позволяющих подвергнуть указанную дату определенному сомнению.

Как уже упомянуто, стихотворный эпиграф к главе I Пушкин сообщил Вяземскому в письме от 1 сентября 1828 года. В том же году эти стихи были переданы Пушкиным А. П. Керн для пересылки Дельвигу, находившемуся в это время в Харькове (Керн в отсутствие хозяев жила на квартире Дельвига). Керн

сопровождает публикацию этих строк в своих воспоминаниях сообщением о том, что они были написаны «у князя Голицына, во время карточной игры, мелом на рукаве»¹. Речь идет о Сергее Голицыне, рассказавшем Пушкину о тайне трех карт. Не в том ли году и была рассказана эта фантастическая история Пушкину? Такое предположение выглядит допустимым — Сергей Голицын неоднократно упоминается в пушкинской переписке с Вяземским и Дельвигом именно в 1828 году.

Другое свидетельство связано с эпитафией к главе II. По прочтении повести Давыдов писал Пушкину 4 апреля 1834 года: «Помилуй! что за дьявольская память! — Бог знает когда-то налету я рассказал тебе ответ мой М. А. Нарышкиной... а ты слово в слово поставил это эпитафией в одном из отделений "Пиковой дамы"» (XV, 123). Можно предположить, что и каламбур Давыдова был услышан Пушкиным в эти годы

В том же 1828 году в «Московском вестнике» (№ 3), открывавшемся впервые напечатанным «Пророком», в отделе «Проза» без подписи был напечатан отрывок из романа Фан дер Вельде — «Смерть Карла XII...». Д. П. Якубович в свое время убедительно доказал, что эта публикация не могла пройти незамеченной для Пушкина². Эпитафия к главе V (из Шведенборга), фраза из той же главы: «...игра пошла своим чередом» в финале повести, некоторые другие наблюдения над текстом, сделанные Якубовичем, указывают на связь «Пиковой дамы» с отрывком Фан дер Вельде. (Обосновывая близость двух произведений, Якубович отмечал: «Характерно, что все время в обоих случаях за реальной игрой присутствует тайно второй план... приоткрываемый в первом случае превращением пиковой дамы в старуху-графиню; во втором случае после двойного выигрыша на короля и предсказания о близкой его смерти... действительной смертью Карла, после ряда других поразительных совпадений, данных как осуществление пророчества») (Шведенборга. — В. Е.).

¹ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 395.

² Якубович Д. Литературный фон «Пиковой дамы» // «Литературный современник». 1935. № 1.

Стянутость всех этих фактов к 1828–1829 годам позволяет предположить, что начало работы над повестью относится именно к этому времени. Тогда 1833 год следовало бы считать временем завершения окончательной редакции «Пиковой дамы», известной нам по публикации 1834 года. В пользу такого предположения говорит и то обстоятельство, что Пушкин в 1833 году в Болдине не мог иметь под рукой всех необходимых для работы над повестью источников, например, № 3 «Московского вестника» за 1828 год, помнить «слово в слово» каламбур Давыдова и т. п.

В таком случае начальная фраза из дошедшего до нас чернового наброска к повести: «Года четыре тому назад собралось нас в Петербурге несколько молодых людей, связанных между собою обстоятельствами», — должна была указывать на время, близкое к декабрьскому восстанию. Кстати сказать, и упомянутый в черновом отрывке ресторан Андрие назывался так только до 1829 года.

Третья фантастическая игра в повести — игра Германна. Анализ ее описания посвящено немало страниц в литературоведческих исследованиях, и поэтому нет необходимости снова останавливаться на этом. Заметим лишь, что образ Германна уже современниками Пушкина воспринимался куда шире, чем изображение одержимого фанатической идеей выигрыша картежника. Это отмечал В. В. Виноградов, сопоставляя повесть с романом Стендаля «Красное и черное»: «Рулечным или картежным термином в заглавии уже задано понимание художественной действительности в аспекте азартной игры. И Жюльен Сорель, хотевший идти путем Наполеона, проигрывает все ставки в этой игре. Символика игры, как уводящая в даль социально-политических и философских обобщений смысловая перспектива литературного построения, многообразно отражается в сюжетном движении истории неудавшегося Наполеона... Современники Пушкина не прочь были понять и осмыслить образ Германна в той же социальной плоскости, что и образ Сореля»¹ (курсив наш. — В. Е.).

¹ Виноградов В. В. Стиль «Пиковой дамы». С. 100–101.

Здесь нельзя также не коснуться функционального значения карт и карточной игры в литературе XVIII — начала XIX века. Рассматривая эту тему, Ю. М. Лотман¹ отмечал, что карты и карточная игра приобретают в это время черты «универсальной модели», становятся «центром своеобразного мифообразования эпохи». Весьма откровенная формулировка достаточно распространенного в ту эпоху мировоззрения высказана шулером Казариным в лермонтовском «Маскараде»:

Что ни толкуй Вольтер или Декарт,
Мир для меня — колода карт:
Жизнь — банк; рок мечет, я играю,
И правила игры я к людям применяю.

Имеются в виду игры собственно азартные — банк, штос, фараон, рулетка, выигрыш в которых зависит исключительно (или почти исключительно) от случая. Можно сказать, таким образом, что понтирующий игрок играет не столько с другим человеком, сколько со случаем.

Роль случая, удачи, их воздействие на личную судьбу человека или даже группы людей неоднократно становились объектом анализа в мировой литературе. «Однако в обострении проблемы, — писал Лотман, — могли быть не только исторические, но и национальные причины. Нельзя не заметить, — продолжал он, — что весь т. н. ”петербургский“, императорский период русской истории отмечен размышлениями над ролью случая (а XVIII в. — над его конкретным проявлением «случа’ем» — специфической формой устройства личной судьбы в условиях «женского правления»)…»²

«Господство Случая», воздействуя на восприятие современников, создает образ политической жизни эпохи как «цепи

¹ Лотман Ю. М. Тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века // «Ученые записки Тартуского государственного университета». Вып. 365. 1975. С. 121.

² Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 125–126.

случайностей, неизбежно вызывающий в памяти карточную игру, выступающую здесь как естественная модель этой стороны бытия»¹. Художественное воплощение такой модели содержится, например, в оде Державина «На Счастье»:

В те дни, как все везде в разгулье:
 Политика и правосудье,
 Ум, совесть, и закон святой,
 И логика пиры пируют,
 На карты ставят век златой,
 Судьбами смертных пунтируют,
 Вселенну в трантелево гнут;
 Как полюсы, меридианы,
 Науки, музы, боги — пьяны,
 Все скачут, пляшут и поют.

Подобные примеры двусмысленного применения картежной терминологии находим и у Пушкина, например, в его письме Вяземскому, датированном 5 ноября 1830 года: «Ты говоришь: худая вышла нам очередь. Вот! Да разве не видишь ты, что мечут нам чистый баламут; а мы еще понтируем! Ни одной карты налево, а мы все-таки лезем. Поделом, если останемся голы, как бубны» (XIV, 122).

В таком историческом и литературном контексте воспринимается нами и образ Германна.

4

Германн одержим всепоглощающей идеей-страстью, идеей богатства. Он честолюбив, расчетлив, целеустремлен.

До времени он «не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее», но, когда наступает решительный момент, он не боится риска.

¹ Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 127.

На масштабы притязаний Германна указывает то, что у него, по словам Томского, профиль Наполеона. Справедливость этих слов вскоре подтверждается и Лизаветой Ивановной: «Он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона».

Немаловажным обстоятельством представляется то, что Германн — обрусевший немец. Примечательна тщательность, с которой Пушкин отнесся к выбору имени своего героя: второе «н» в окончательной редакции повести в черновых набросках отсутствовало, там было: Герман.

Словарь русских имен собственных поясняет разницу: Герман — родной, единокровный — имя латинское; Германн — воин, дружинник — имя древнегерманское.

Фанатическая преданность идее, чрезмерно развитое честолюбие, подчеркнутое наполеоновским профилем, — такие качества Германна могли быть почерпнуты Пушкиным из реальной жизни, у реальных людей, составлявших его окружение, у знакомых. Например, у Пестеля, который также, кстати сказать, имел немецкое происхождение.

Вот характеристика Пестеля, данная декабристом Якушкиным: «Он никогда и ничем не увлекался. Может быть, в этом и заключалась причина, почему из всех нас он один в течение почти 10 лет, не ослабевая ни на минуту, упорно трудился над делом Тайного Общества. *Один раз доказав себе, что Тайное Общество — верный способ для достижения желаемой цели, он с ним слил все свое существование*»¹ (курсив наш. — В. Е.).

Из показаний на следствии по делу декабристов известно со слов Рылеева и Поджио-младшего: «...северные члены отвергли "Русскую Правду", потому что опасались стремления Пестеля к диктаторству... Довольно было Пестелю в разговоре с Рылеевым отозваться о Наполеоне, что он истинно великий человек... как Рылеев решил, что Пестель выдает себя, что он сам мечтает быть Наполеоном...»

¹ Павлов–Сильванский Н. П. П. И. Пестель. Пг., 1919. С. 8.

В ожидании приезда Пестеля в Петербург, Никита Муравьев предостерегал кн. Трубецкого, что Пестель «человек опасный и себялюбивый...»¹.

Но помимо указанных соответствий Германн имеет с Пестелем еще и портретное сходство. Известно несколько пушкинских рисунков Пестеля. Самый ранний из них, относящийся к марту–маю 1821 года (профиль на полях рукописи «Кавказского пленника»), долгое время принимался за профиль Наполеона². Характерно воспоминание о Пестеле декабриста Лорера: «Небольшого роста, брюнет, с черными, беглыми, но приятными глазами... Он и тогда, и теперь, при воспоминании о нем, очень много напоминает мне Наполеона I»³.

Все это, как уже было отмечено выше, способствует нашему восприятию пушкинского Германна как личности пестелевского типа.

Отношение Пушкина к самому Пестелю до сих пор остается недостаточно выясненным. Некоторые современные исследователи придерживаются мнения об отрицательном отношении Пушкина к Пестелю. Например, В. Пугачев⁴ советует обратить более пристальное внимание на известное свидетельство Липранди⁵. Об этом же говорит пушкинская запись от 24 ноября 1833 года в «Дневнике». Наконец, не вызывает никакого сомнения, что установка Пестеля на насильственный захват власти и истребление всей императорской фамилии совершенно не отвечала в 1830 годы взглядам Пушкина, рассматривавшего в это время декабрьское восстание как чисто дворянскую проблему — в контексте более общих для него размышлений о дворянском оскудении, о судьбах русского дворянства вообще.

В материалах к статье «О дворянстве» события 1825 года ставятся им в один ряд с переворотом 1762 года: «Петр. Унич-

¹ Павлов–Сильванский Н. П. П. И. Пестель. Пг., 1919. С. 25.

² Цявловская Т. Г. Рисунки Пушкина. М., 1980. С. 155.

³ Там же. С. 158.

⁴ См.: Отчет о Пушкинской конференции // «Вопросы литературы». 1978. № 10.

⁵ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 301.

тожение дворянства чинами. Майоратства — уничтоженные плутовством Анны Ивановны. Падение постепенное дворянства; что из этого следует? восшествие Екатерины II, 14 декабря и т. д.» (XII, 206).

О таком же подходе свидетельствует дневниковая запись разговора с великим князем Михаилом Павловичем: «...что же значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристокрации и со всеми притязаниями на власть и богатства? Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне» (XII, 335).

Вот еще одно свидетельство из «Дневника», которое мы уже приводили и комментировали в главе первой настоящего раздела: «Но покойный государь (Александр I. — В. Е.) окружен был убийцами его отца. Вот причина, почему при жизни его никогда не было бы суда над молодыми заговорщиками, погибшими 14-го декабря. Он услышал бы слишком жестокие истины. NB. Государь, ныне царствующий, первый у нас имел право и возможность казнить цареубийц или помышления о цареубийстве; его предшественники принуждены были терпеть и прощать» (XII, 322).

В свете всего отмеченного картежный поединок Германна ассоциируется с решимостью участников восстания на Сенатской площади. В утро присяги новому императору они, если прибегнуть к картежной терминологии повести, собрались, чтобы бросить в лицо будущему монарху свое дерзкое «атанде»: «Атанде! — Как вы смели мне сказать атанде? — Ваше превосходительство, я сказал атанде-с!» (эпиграф к главе VI).

При таком (на фоне декабристской темы) рассмотрении повести отдельные ее детали и даже сюжетные моменты предстают в совершенно неожиданном освещении. Например, сообщение о сумасшествии Германна в «Заключении», формально объясняющее природу его фантастических видений, приобретает дополнительный оттенок. Подозрительна здесь необычная для стиля повести в целом точность в указании места: «Он сидит в Обуховской больнице в 17-м номере». Двусмысленным

выглядит и продолжение фразы: «Не отвечает ни на какие вопросы». Возникает искушение предположить, что возможна смысловая замена Обуховской больницы, скажем, Петропавловской крепостью (в № 17 Алексеевского рavelина содержался один из ведущих идеологов декабризма — Рылеев¹).

Такова идеологическая позиция Пушкина, подспудно проявившаяся при разработке образа Германна.

Разумеется, позиция эта весьма далека от официальной; примирение с правительством носило отнюдь не безоговорочный характер. Пушкин не с наиболее радикальными декабристами, но и не с властями — он сам по себе; он — писатель, художественно осмысляющий историю своей страны.

В «Пиковой даме» в определенной степени отразилось настойчивое стремление Пушкина, если не воссоздать картины современных исторических событий, то хотя бы запечатлеть свое отношение к ним. О намерении обратиться к истории своего времени он поделился еще в 1827 году с А. Вульфom: «Теперь уже можно писать царствование Николая, и об 14-м декабря»². Та же мысль постоянно присутствует в «Дневнике», — например, в записи о встрече со Сперанским, который «советовал мне писать историю моего времени» (XII, 324).

Взгляд Пушкина на историю «его времени» мрачен. Политическая борьба за трон или за власть без трона (в чем не видит он особенной разницы, так как наполеоновский профиль героя намекает лишь на новую форму деспотизма) представляется ему азартной игрой и не может, по его убеждению, решить коренных проблем России и русского дворянства.

1989

¹ Пругавин А. Петропавловская крепость. Ростов-на-Дону, 1906. С. 13–15.

² Вульф А. Н. Дневники. М., 1929. С. 137.

ГЕРМАНН, НАРУМОВ И ЛЮБОВНАЯ ИНТРИГА

...более придворно-светской вещи
не написал никто и никогда.

Анна Ахматова

В обширной литературе о «Пиковой даме» утвердилась довольно устойчивая характеристика главного героя повести Германна как «хищного искателя счастья»¹, обуреваемого «бесчеловечной страстью»² (жаждой богатства); его натура определяется «как расчетливо эгоистическая», а душа — «как не знающая "страсти нежной"»³.

В целом такая характеристика достаточно оправданна, хотя и не является, по нашему мнению, исчерпывающей. За исключением устоявшегося представления о неспособности Германна к «страсти нежной». Такое утверждение выглядит, на наш взгляд, излишне категоричным. Более осторожно высказался по этому поводу С. Г. Бочаров в своей недавней статье, по-новому анализирующей содержание «Пиковой дамы». Имея в виду раздвоение значений применительно к любому поступку или побуждению Германна, исследователь отмечает:

«На этот путь раздвоения интриги встал он сам, когда увидел в окне черноволосую головку. "Эта минута решила его участь". *Любовная интрига* и стала путем раздвоения (а если вспомнить оперу, то главным пунктом ее уклонения от источника — повести Пушкина)»⁴ (курсив наш. — В. Е.).

Как мы видим, Бочаров признает существование в повести любовной интриги и приводит весьма веское подтверждение этому: «черноволосая головка» в окне дома, привлекшего внимание Германна, «решила его участь».

¹ Томашевский Б. В. Пушкин. Кн. 2. М.; Л., 1961. С. 198.

² Петрунина Н. Н. Проза Пушкина. Л., 1987. С. 218.

³ Там же. С. 208.

⁴ Бочаров С. Случай или сказка // Литература. № 3 (330). Январь. М., 2000. С. 7.

Не случайно упомянута и опера Чайковского, где отношения между главными действующими лицами повести определенным образом опозитивированы и Германн предстает перед нами человеком искренне и глубоко любящим.

Именно на любовной интриге, ставшей, по мнению Бочарова, «главным пунктом уклонения» оперы от литературного первоисточника, и сосредоточим мы свое внимание в настоящих заметках.

И первый вопрос, который нам в связи с этим необходимо рассмотреть, заключается в следующем: так ли велико отличие оперы от повести, как это принято считать?

Чтобы ответить на него, обратимся к тексту «Пиковой дамы», вернее, к главе IV повести.

1

В начале главы упоминается бал, во время которого Лизавета Ивановна, будучи приглашенной Томским на «бесконечную мазурку», была вовлечена им в весьма двусмысленный разговор о Германне, чья личность сильно волновала ее воображение.

Приведем часть этого разговора:

«Во все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать, и некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна.

— От кого вы все это знаете? — спросила она, смеясь.

— От приятеля известной вам особы, — отвечал Томский, — человека очень замечательного!

— Кто ж этот замечательный человек?

— Его зовут Германном...

— Германн очень недоволен своим приятелем: *он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе...* Я даже полагаю, что Германн сам имеет на вас виды, по крайней мере он

очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля» (курсив наш. — В. Е.).

Из приведенного текста нам становится известным, что некто (не названный по имени), чьим приятелем является Германн, влюблен в Лизавету Ивановну и Германн «очень неравнодушно» слушает его откровения, потому что сам «имеет на нее виды». Этот приятель Германна знаком с Лизаветой Ивановной, имеет с нею какие-то отношения, причем Германн недоволен поведением своего приятеля и признается ему, что на его месте вел бы себя как-то иначе.

Детали описанной ситуации скрыты от нас, но ясно главное: Германн тоже влюблен в Лизавету Ивановну и в лице своего не названного приятеля имеет серьезного соперника, обладающего пред ним рядом преимуществ, а именно: соперник Германна («на его месте»), по-видимому, может открыто видеться с предметом своего увлечения, а значит, принят в свете, куда по социальным причинам нет ходу Германну. Последнее наше предположение основывается на том, что именно в свете мог он встречаться с Лизаветой Ивановной, — ведь она всюду должна была сопровождать старую графиню, которая, по сообщению повествователя, «участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы» и т. п.

Об искренности чувства Германна свидетельствует и следующее сообщение повествователя из главы III, характеризующее его последние любовные письма к Лизавете Ивановне: «Они уже не были переведены с немецкого. Германн их писал, вдохновенный страстью, и говорил языком, ему свойственным: в них выражалась и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения».

При этом необходимо заметить, что искренность чувства не отменяет других свойств натуры Германна, которые позволяют исследователям повести характеризовать его как «хищного искателя счастья», обуреваемого страстью к обретению богатства. Именно это «раздвоение значений» применительно к поступкам и побуждениям Германна отмечает Бочаров в упомянутой нами статье.

Тем не менее мы можем констатировать, что любовная интрига, составляющая сюжетную основу оперы, в достаточной степени прочерчена и в повести, хотя в повести она находится как бы на периферии действия. Таков пушкинский повествовательный прием: вуалирование важного. На самом деле все это сильно меняет наше отношение к Германну. У его фанатической жажды богатства («бесчеловечная страсть») появляется, как и в опере, благородный мотив: только путем обретения богатства может он обеспечить себе право на брак с Лизаветой Ивановной. Именно на брак! Не случайно в эпизоде с призраком графини, который трактуется исследователями как бред воспаленного воображения героя (то есть как результат деятельности его подсознания), призрак, открывая ему тайну трех карт, берет с него обещание жениться на бедной воспитаннице. То есть в бредовой галлюцинации Германна тайна трех карт (главная интрига повести) непосредственно связана с женитьбой на Лизавете Ивановне.

Выскажем догадку, что именно в этом смысле Германну (по словам Томского) не нравится поведение его неназванного приятеля по отношению к бедной воспитаннице: возможно, «на его месте» он предложил бы ей руку и сердце.

В опере любовная интрига становится основой сюжета, а приятель-соперник Германна, не названный в повести, получает (путем введения дополнительного действующего лица) имя: князь Елецкий.

Таким образом, у нас есть основания утверждать, что «уклонение» оперы от литературного первоисточника (повести Пушкина) не столь велико, как обычно считается. Композитор (и автор либретто), видимо, основываясь на рассмотренном нами разговоре Томского с Лизаветой Ивановной и повинувшись своему творческому пристрастию, существенно перестроили сюжет действия, положив в его основу любовные отношения героев, которые в повести (в силу реализуемых в ней творческих установок Пушкина) в достаточной степени завуалированы и находятся как бы на периферии действия.

Однако рассмотренный нами эпизод из главы IV порождает ряд дополнительных вопросов. В частности, обращают на себя внимание повествовательные приемы автора, сообщающие всему происходящему в повести атмосферу чрезвычайной таинственности.

Обратимся вновь к началу главы IV:

«В самый тот вечер, на бале, Томский, дуясь на молодую княжну Полину***, которая, против обыкновения, кокетничала не с ним, желал отомстить, оказывая равнодушие: он позвал Лизавету Ивановну и танцевал с нею бесконечную мазурку» (курсив наш. — В. Е.).

Сразу же по завершении мазурки идет следующий текст:

«Подошедшие к ним три дамы с вопросами — *oubli ou regret?* — прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны.

Дама, выбранная Томским, была сама княжна***. Она успела с ним изъясниться, обежав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом. Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германне, ни о Лизавете Ивановне» (курсив наш. — В. Е.).

При сопоставлении приведенных текстов виден прием игры, которую автор ведет с читателем: в первом случае княжна названа по имени (Полина***), во втором — ее имя отсутствует (княжна***). Читатель может даже усомниться в том, что речь идет об одном и том же лице. Однако имеются детали повествования («она успела с ним изъясниться» и т. д.), которые позволяют понять, что и в том, и в другом случае имеется в виду княжна Полина***, поглощающая все внимание Томского.

Характерно, что игра с именем княжны как бы обрамляет балльный разговор Томского с Лизаветой Ивановной, содержание которого является объектом нашего пристального внимания. Тем самым читателю как бы дается некая подсказка, суть которой мы разъясним чуть позже.

По-видимому, такой же прием демонстрируется и по отношению пары Нарумов — Германн. Только в этом случае два относящихся к ним текста дальше отстоят друг от друга. Отметим, что оба текста являются диалогами Томского с Лизаветой Ивановной, в которых попеременно присутствуют имена то Нарумова, то Германна.

Первый из них находится в главе II:

«Кого это вы хотите представить? — тихо спросила Лизавета Ивановна.

— Нарумова. Вы его знаете?

— Нет! Он военный или статский?

— Военный.

— Инженер?

— Нет! кавалерист. А почему вы думали, что он инженер?

Барышня засмеялась и не отвечала ни слова».

Нам понятно, почему засмеялась «барышня». Но здесь важно другое: фамилия Нарумова в диалоге присутствует, Германн же не назван по имени, хотя мы легко догадываемся, что Лизавету Ивановну интересует именно он.

Второй текст, где упоминается некий приятель Германна, находится в главе IV, и мы его уже приводили:

— От кого вы все это знаете? — спросила она, смеясь.

— От приятеля известной вам особы, — отвечал Томский, — человека очень замечательного!

— Кто ж этот замечательный человек?

— Его зовут Германном.

Здесь, наоборот, присутствует имя Германна, а его приятель не назван. Но именно для расшифровки его имени и дана, как нам представляется, авторская подсказка, о которой мы упомянули чуть выше. Автор как бы приглашает нас посмотреть, что он делает с именем княжны Полины в двух фрагментах текста, связанных с нею, и предлагает нам применить тот же прием по отношению к приятелю Германна: в первом из приведенных нами текстов, относящихся к паре Нарумов — Германн, Германн не назван, но его имя мы легко угадываем; во

втором — наоборот, назван Германн, но мы должны догадаться, что, по аналогии с первым текстом, неназванным приятелем Германна является Нарумов.

Итак, мы приходим к предположению, что неназванный приятель-соперник Германна — Нарумов.

3

Это наше предположение может быть подкреплено рядом наблюдений, подтверждающих приятельский характер отношений между Германном и Нарумовым. Так, с Германном мы знакомимся в главе I во время картежной игры у «конногвардейца Нарумова», в которой сам Германн участия не принимает (немаловажный факт!). Ввиду явного неравенства социального положения Германна и других персонажей повести, он мог оказаться у Нарумова лишь при условии своего близкого знакомства с ним.

Другое подтверждение их приятельских отношений содержится в главе VI, когда в ней сообщается, что известный банкомет Чекалинский приехал из Москвы в Петербург, что «молодежь к нему нахлынула» и «Нарумов привез к нему Германна». А затем «Нарумов представил Германна Чекалинскому» и остался наблюдать за его игрой (почему-то не играя сам — симметрия с главой I).

Наконец в одной из немногих дошедших до нас черновых записей, относящихся к «Пиковой даме», находим:

«Как зовут вашего *приятеля*, спросил Чек.(алинский) у Нар(умова)» (VIII, 836; курсив наш. — В. Е.).

Кроме того, именно к Нарумову может быть отнесено пояснение Томского, относящееся к неназванному приятелю Германна, что он является «особой», известной Лизавете Ивановне. Это пояснение содержится все в том же бальном разговоре его с Лизаветой Ивановной, часть которого мы уже дважды приводили. Но здесь придется привести его в третий раз:

— От кого вы все это знаете? — спросила она, смеясь.

— От приятеля *известной вам особы*, — отвечал Томский, — человека очень замечательного!

— Кто ж этот замечательный человек?

— Его зовут Германном (курсив наш. — В. Е.).

Ведь из главы II нам известно (на этом мы тоже вскользь уже останавливались), что Томский просил у своей бабушки («старой графини») разрешения представить ей «одного из своих приятелей», которым оказался Нарумов.

Бальный разговор («в самый тот вечер»), на котором сосредоточено наше внимание, происходит спустя определенное время после визита Томского к «старой графине» (если точнее, то через 12 дней после него). Значит, Нарумов уже был представлен графине, введен в ее дом и во время посещения ее пятничного бала (см. главу II) не мог не познакомиться с Лизаветой Ивановной.

Так что у нас есть достаточные основания предполагать, что неназванным приятелем-соперником Германа является Нарумов.

Примечательно, что в качестве потенциального соперника Германа Нарумов предстает и в исследованиях Н. Н. Петруниной:

«Насколько нам известно, никто до сих пор не обратил внимания, что тайна трех карт заворжила и заставила действовать не одного, а двух слушателей Томского — не только Германа, но и Нарумова. В отличие от других игроков, Нарумов сразу принял на веру историю чудесного выигрыша, и первая сцена второй главы изображает Томского, спрашивающего у графини разрешения представить ей Нарумова. Нарумов как бы приступает к осуществлению программы, отброшенной трезвым умом Германа (“Представиться ей, подбиться в ее милость”)¹.

¹ Петрунина Н. Н. Указ. соч. С. 219.

Вообще наше предположение, что неназванным приятелем-соперником Германна является Нарумов, нигде не противоречит тексту повести. И все же нам могут возразить, что это лишь необходимое, но недостаточное условие нашей правоты. Недостаточное, потому что Нарумов все-таки не назван в «мазурочной болтовне» Томского открыто, и более того, его интерес к Лизавете Ивановне затушван автором, отнесен на периферию действия повести. Не случайно в опере Чайковского, как мы уже отмечали, в число действующих лиц введено дополнительное лицо (князь Елецкий), функционально подобное приятелю-сопернику Германна (неназванному Нарумову) в повести.

И все же нельзя не отметить, что Нарумов так и не назван в «мазурочной болтовне» Томского скорее всего намеренно. Нас не оставляет ощущение того, что здесь имеет место какой-то авторский умысел, сообщающий действию повести дополнительную таинственность; умысел, цель которого нам не ясна. Неопровержимое, на наш взгляд, свидетельство такого умышленного умолчания содержится в Заключении, завершающем повесть. В нем упомянуты практически все действующие лица, кроме одного: Германн, Лизавета Ивановна, Томский, княжна Полина, даже уже умершая «старая графиня», правда косвенно. Отсутствует только Нарумов, словно он не имеет к действию повести никакого отношения, хотя фамилия его встречается в главах I, II, VI 12 раз. Зато в Заключении присутствует некий «любезный молодой человек», за которого вышла замуж Лизавета Ивановна, хотя в самой повести о нем нет ни слова.

Нарочитое отсутствие фамилии Нарумова в Заключении — это повторение того же повествовательного приема умолчания, на котором мы уже останавливались ранее. Это последнее умолчание, касающееся Нарумова, вызывает невольный вопрос: не является ли именно Нарумов тем «любезным молодым человеком», за которого вышла замуж Лизавета Ивановна?

Если бы к имеющемуся тексту Заключения автор добавил еще два-три слова о Нарумове (чего ему стоило!), наше

предположение исключалось бы из рассмотрения полностью и окончательно. Но Пушкин почему-то этого не сделал. Тем самым он сохранил и в Заключении ту атмосферу таинственности, которая окутывает все действие повести. Быть может, даже не только сохранил, но и усилил. Чего стоит только информация о новоявленном муже Лизаветы Ивановны: «Он где-то служит и имеет порядочное состояние: он сын бывшего управителя у старой графини» (курсив наш. — В. Е.). Что ни слово, то намек на что-то не известное нам!

Чем же все-таки вызвана вся эта таинственность? Следует ли рассматривать ее только как характерную особенность стиля «Пиковой дамы», или за ней скрывается какая-то неясная нам содержательная функция?

В предыдущей главе (об историческом подтексте повести) мы отмечали, что Германн является личностью пестелевского типа, и проводили определенные параллели между ним и одним из вождей дворянской оппозиции Пестелем¹. Нет смысла продолжать здесь ту давнюю аналогию в том духе, что за пределами повести возможна параллель между соперником Германна и главным оппонентом декабристов, сумевшим нанести им жестокое и сокрушительное поражение. Аналогию, по которой удел самой Лизаветы Ивановны, за руку которой ведется скрытая борьба между Нарумовым и Германном, может быть уподоблен судьбе России в том роковом политическом противостоянии 1825 года... Столь фантастические предположения совершенно невозможно было бы каким-либо образом обосновать.

Заметим, впрочем, что весьма благоприятной почвой для возникновения всевозможных догадок, касающихся содержания повести, служит одно довольно странное обстоятельство: отсутствие рукописей известной нам редакции «Пиковой дамы». Вряд ли они могли исчезнуть случайно, вопреки воле автора. Скорее всего, Пушкин уничтожил их сам, видимо, в них содержалось нечто такое, что он предпочел утаить.

¹ См. выше: Исторический подтекст «Пиковой дамы».

Это странное обстоятельство образует дополнительный фон для той атмосферы таинственности, которая окутывает все действие повести и, в частности, не в последнюю очередь, содержащуюся в ней любовную интригу, на которой мы сосредоточили свое внимание. Оно и склоняет нас в конечном счете к признанию того факта, что атмосфера таинственности не является только стилистической особенностью повести, а заключает в себе и некую содержательную функцию, которая нам пока не ясна.

Завершим настоящие заметки следующим утверждением: если наши предположения относительно персоны неназванного соперника-друга Германна верны, то самым загадочным действующим лицом повести становится в нашем восприятии конногвардеец Нарумов.

Разумеется, мы не можем утверждать, что именно он и является тем «любезным молодым человеком», за которого Лизавета Ивановна вышла замуж, но вместе с тем у нас нет ответа на вопрос, почему фамилия Нарумова отсутствует в тексте Заключения. В самом деле, почему?

2001

«МИЛОСТЬ К ПАДШИМ...»

В четвертой строфе «Памятника» Пушкин, среди прочих достоинств своей лиры, называет милосердие.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Такое понимание слов «милость к падшим» (как милосердия) сегодня настолько очевидно, что и говорить здесь, казалось бы, не о чем. Но это не совсем так. Еще лет двадцать назад рассматриваемая нами строка трактовалась совершенно иначе. Вот что можно было прочесть по этому поводу в книге, изданной в 1978 году:

«Видеть в этих словах призыв смотреть на людей без злобы, на падших с милосердием, на несчастных с состраданием — до такой степени странно, так противоречит всему характеру стихотворения, что и спорить с этим кажется бесполезным и неинтересным...»¹

Отдавая дань принятому идеологическому стереотипу, автор цитируемой статьи видел в словах «милость к падшим призывал» лишь одно единственное значение: Пушкин в своих произведениях с 1826 по 1837 год «призывал царя освободить сосланных в Сибирь декабристов». При этом слово «падшие» предлагалось понимать только в смысле «потерпевшие поражение в борьбе», «побежденные»².

Может быть, эта статья принадлежит какому-нибудь дилетанту в пушкиноведении или завзятому конъюнктурщику минувшей поры? В том-то и дело, что нет. Ее автором является замечательный пушкинист С. М. Бонди, непревзойденный текстолог пушкинских рукописей. Такова была сила господствующей идеологической схемы, что даже известный ученый не мог преодолеть ее влияния.

В подтверждение своей точки зрения Бонди ссылался на ряд произведений, в которых поэт действительно «пытается воздействовать на Николая, добиться ”прощения“ сосланных декабристов»³.

¹ Бонди С. Памятник // О Пушкине. Статьи и исследования. М., 1978. С. 468. Как нам удалось установить, этот пассаж и весь окружающий его контекст направлены против давней статьи В. С. Непомнящего «Двадцать строк. Пушкин в последние годы жизни и стихотворение ”Я памятник себе воздвиг нерукотворный...“», опубликованной в 1965 году в журнале «Вопросы литературы» (№ 4).

² Там же. С. 469.

³ Там же. С. 470.

К таким пушкинским созданиям он не без оснований отнес «Стансы» (1826):

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, не злобен, —

а также другое стихотворение Пушкина, вызвавшее разочарование в либеральных кругах общества, — «Друзьям» (1828):

Я льстец! Нет братья, льстец лукав:
Он горе на царя накличет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.

Тот же намек содержится в стихотворении «Пир Петра Первого» (1835), на которое ссылался Бонди:

Нет! Он с подданным мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.

Менее обоснованным представляется отнесение к этому ряду произведений поэмы «Анджело», потому что в ней тема прощения монархом своего подданного имеет более широкий (не политический, а философский) смысл и перенесена сюда из шекспировской пьесы «Мера за меру», сюжет которой использован в пушкинской поэме.

И уж совсем курьезным выглядит отыскание того же мотива в «Сказке о царе Салтане...», где в роли «потерпевших

поражение в борьбе» выступают, по логике Бонди, «ткачиха», «повариха» и их мать — «баба Бабариха»¹.

Возможность более широкого толкования пушкинского милосердия Бонди решительно отрицает. Но сострадание, человеколюбие свойственны Пушкину, разумеется, не только по отношению к декабристам. Оно распространяется и на других людей, оказавшихся вне закона, что легко обнаруживается в поэме «Братья разбойники» (1821–1822), в повести «Кирджали» (1834), в образе Пугачева в «Капитанской дочке» (1833–1836), в набросках неоконченной повести «Марья Шонинг». Кстати, сюжет последней строился на материалах судебного процесса о детоубийстве, почерпнутых Пушкиным из книги «Знаменитые иностранные уголовные дела, впервые опубликованные во Франции...».

Пушкинское «внимание и участие к судьбе маленького или оскорбленного человека, которым будет потом жить чуть не вся русская литература XIX века»², отмечали многие, например, Георгий Федотов, который так же, как и мы, считал «милость к падшим» в «Памятнике» совершенно равнозначной милосердию и состраданию ко всем людям.

Наконец многочисленные примеры из пушкинского творчества убеждают в том, что характернейшей чертой многих его героев, когда герои эти наделены возможностью судить и милловать окружающих, являются милосердие и великодушие. Таков герой поэмы «Тазит» (1829–1830), отверженный своей родней за неспособность свершить кровную месть по необъяснимой с их точки зрения причине:

...Убийца был
Один, изранен, безоружен.

Таков Дубровский, не пожелавший мстить князю Верейскому, только что ранившему его выстрелом из кареты:

¹ Бонди С. Памятник. С. 472.

² Федотов Г. О гуманизме Пушкина // Пушкин в русской философской критике. С. 378.

«— Не трогать его! — закричал Дубровский, и мрачные его сообщники отступили» (VIII, 221).

Таков Пугачев в «Капитанской дочке», когда он сохраняет жизнь Гриневу и прощает ему его правдивые ответы: «Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай...» (VIII, 356).

Таков и Гринев. Соображением о милосердии (или, вернее, об отсутствии такового) проникнуто рассуждение героя из «Пропущенной главы»:

«Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, *которые замышляют у нас невозможные перевороты*, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди *жестокосердые*, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка» (VIII, 383–384).

Как знать, быть может, под теми, «которые замышляют невозможные перевороты», подразумеваются где-то в глубине подтекста и декабристы?

Можно привести еще множество примеров, убеждающих, что призыв к милосердию и «милость к падшим» есть одно из отличительных свойств пушкинской «лиры».

Тождественность этих понятий подтверждается и одной из черновых редакций четвертой строфы «Памятника»:

И долго буду тем любезен я народу,
 Что звуки новые для песен я обрел,
 Что вслед Радищеву восславил я свободу
 И *милосердие* воспел (III, 1052).

В окончательной редакции «милосердие» было заменено «милостью к падшим», что еще раз свидетельствует о равнозначности этих понятий...

Итак, нам сегодня представляется очевидным, что, провозглашая необходимость «милости к падшим», Пушкин имел в виду милосердие как таковое, а не какое-то частное его проявление по отношению к отдельной группе лиц, например, к сосланным в Сибирь участникам восстания 1825 года.

А слово «падшие», применимо ли оно к декабристам в ином значении, нежели категорически заявленное Бонди: «потерпевшие поражение в борьбе»? Он привел несколько примеров, подтверждающих ту несомненную истину, что в творчестве Пушкина слово «падшие» («падший») действительно встречается в этом, необходимом для трактовки Бонди, значении: «В боренье падший невредим» («Бородинская годовщина»), «Восстаньте, падшие рабы...» («Вольность»)¹. Но столь же несомненно, что Пушкин употреблял это слово и в ином (переносном) смысле. Например, в стихотворении «Отцы пустынноики и жены непорочны...»:

Всех чаще мне она (молитва. — В. Е.) приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой...

Или в финале «Пира во время чумы...», когда Вальсингам, под воздействием призывов Священника, вспоминает вдруг, словно опомнившись на мгновение, свою «чистую духом» Матильду:

Где я? святое чадо света! вижу
Тебя я там, куда мой падший дух
Не достигнет уже...
(VII, 183; курсив наш. — В. Е.)

Здесь «падший» — уронивший себя пред самим собой, перед Богом, утративший доброе имя в результате предосудительного поведения, преступивший черту дозволенного в отношениях между людьми, то есть преступник — не столько в юридическом даже, сколько в духовном смысле.

В таком значении характеристика «падшие» в полной мере может быть отнесена и к декабристам. Это осознавалось самими заговорщиками. Вот почему во время следствия подавляющее большинство арестованных искренне свидетельствовало против самих себя и своих товарищей.

¹ Бонди С. Указ. соч. С. 469.

Именно так (как недозволенные для человека, преступные) действия декабристов воспринимались и в пушкинском кругу. Например, П. А. Вяземский, вспоминая декабрьское восстание 1825 года в связи с польскими событиями 1830 года (Варшавское восстание), записал 4 декабря того же года:

«Что вышло бы, если 14-го (декабря. — В. Е.) Государь выступил бы из Петербурга с верным полками? В мятежах страшно то, что пакты с злым духом, пакты с кровью чем далее, тем более связывают. Одно преступление ведет к другому, или более обязывает на другое... Со всем тем я уверен, что все это происшествие (Варшавское восстание. — В. Е.) — вспышка нескольких головорезов, которую можно и должно было унять тот же час, как то было 14 декабря» (курсив наш. — В. Е.)¹.

В пушкинском «Дневнике» (запись 17 марта 1834 года, которую мы уже цитировали), с точки зрения пушкинистов, пытавшихся во что бы то ни стало представить Пушкина революционером, о восстании декабристов говорят столь же ужасные вещи:

«Но покойный государь (Александр I. — В. Е.) окружен был убийцами его отца. Вот причина, почему при жизни его никогда не было бы суда над молодыми заговорщиками, погибшими 14 декабря. Он услышал бы слишком жестокие истины. *НВ. Государь, ныне царствующий, первый у нас имел право и возможность казнить цареубийц или помышления о цареубийстве*; его предшественники принуждены были терпеть и прощать» (XII, 322).

Из приведенного текста видно, что Пушкин признает за царем право суда над декабристами, а к «помышлениям о цареубийстве» относится как к преступлению².

Иначе и не могло быть, потому что восстание декабристов представляется ему чисто дворянской проблемой — в контексте более широких размышлений о дворянском оскудении,

¹ Вяземский П. Записные книжки. М., 1992. С. 145.

² Характерно, что слово «погибшие» употреблено здесь, как и слово «падшие» в «Памятнике», не в прямом, а в переносном смысле.

о судьбах русского дворянства вообще. Как дворянин, Пушкин не мог не считать декабристов посягнувшими на закон и моральные устои общества.

«Не следует, чтобы честный человек заслуживал повешения» — эти слова, будто бы сказанные Н. М. Карамзиным в 1819 году, использованы Пушкиным в качестве эпиграфа к статье 1836 года «Александр Радищев». «И я бы мог, как шут...» — записывает он, потрясенный жестокой казнью пятерых декабристов, в тетради 1826 года над рисунком пяти виселиц. В этих репликах проявило себя постоянно осознаваемое Пушкиным высокое личное достоинство дворянина.

Дворянская честь ценилась Пушкиным очень высоко — и, быть может, в этом заключалось его коренное идейное расхождение с декабристами.

Завершим настоящие заметки довольно очевидным для нынешнего дня (но, по-видимому, не столь очевидным еще не так давно для ведущих советских пушкинистов, например, для С. М. Бонди) утверждением: рассмотренная нами строка «Памятника» вполне может быть отнесена и к декабристам в том числе, среди других «падших» заслуживающим сострадания и милосердия.

1999

ПОЧЕМУ ИТАЛИЯ?

Пушкинский отрывок «Когда порой воспоминанье...» не обойден вниманием исследователей, в частности Анной Ахматовой. Рассматривая его, она пришла к заключению, что пустынный остров, изображенный во второй его части, есть место захоронения казненных летом 1826 года декабристов¹.

¹ Ахматова А. Пушкин и Невское взморье // О Пушкине. Л., 1977. С. 148–161.

Приведем этот отрывок полностью в том виде, в каком он был рассмотрен Ахматовой:

Когда порой воспоминанье
Грызет мне сердце в тишине
И отдаленное страданье
Как тень опять бежит ко мне;
Когда людей повсюду видя,
В пустыню скрыться я хочу,
Их слабый глас возненавидя, —
Тогда забывшись я лечу
Не в светлый край, где небо блещет
Неизъяснимой синевой,
Где море теплою волной
На пожелтый мрамор плещет,
И лавр и темный кипарис
На воле пышно разрослись,
Где пел Торквато величавый,
Где и теперь во мгле ночной
Далече звонкою скалой
Повторены пловца октавы.

Стремлюсь привычною мечтою
К студеным северным волнам.
Меж белоглавой их толпою
Открытый остров вижу там.
Печальный остров — берег дикой
Усеян зимнею брусникой,
Увядшей тундрю покрыт
И хладной пеною подмыт.
Сюда порою приплывает
Отважный северный рыбак,
Здесь мокрый невод расстилает
И свой разводит он очаг.
Сюда погода волновая
Заносит утлый мой челнок...¹

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1977. Т. III. С. 204.

Ахматова совершенно справедливо отметила, что Петербург для Пушкина — всегда север. Весьма убедительна в этом смысле и ее ссылка на строку из «Рыбаков» Гнедича: «...повеяла свежесть на невские тундры»¹. Вообще вывод Ахматовой, сделанный в результате анализа второй части отрывка, представляется нам достаточно обоснованным². Во всяком случае, более обоснованным, нежели предположение Б. В. Томашевского, видевшего в тех же стихах изображение Соловецких островов³.

При этом необходимо отметить, что, касаясь характера отношений между Пушкиным и казненными декабристами, Ахматова допустила некоторое преувеличение: «Пушкину не надо было их вспоминать: он просто их не забывал, ни живых, ни мертвых»⁴. В другом месте она это сформулировала более определенно: «В своих мемуарах барон Розен пишет, как он (Пушкин. — В. Е.) ездил по взморью, чтобы найти могилы пяти казненных друзей»⁵. На самом деле из пяти казненных декабристов действительно близок к Пушкину был только Рылеев. С Пестелем Пушкин имел всего две-три встречи и вряд ли испытывал личную симпатию к лидеру «Южного общества». По воспоминаниям И. П. Липранди, одесского приятеля поэта, Пестель не нравился Пушкину, «несмотря на его ум». С М. П. Бестужевым-Рюминым и С. И. Муравьевым-Апостолом Пушкин, если и имел несколько эпизодических встреч, то лишь до южной ссылки, то есть до мая 1820 года, и никакой связи с ними не поддерживал. О знакомстве Пушкина с П. Г. Каховским известно лишь со слов С. М. Салтыковой (Дельвиг). Поэтому, за исключением Рылеева, казненных декабристов вряд ли можно считать друзьями поэта.

¹ Ахматова А. Указ. соч. С. 151.

² Впоследствии он был дополнительно аргументирован — см.: Чернов А. Скорбный остров Гонорупуло. М., 1990.

³ См. также: Листов В. С. Смысловые лабиринты отрывка «Когда порой вспоминаешь...» // В. С. Листов. «Голос музы тёмной...» М.: «Жираф», 2005. С. 183–212.

⁴ Ахматова А. Указ. соч. С. 152.

⁵ Там же. С. 157. Весьма симптоматично редакционное примечание к приведенной фразе Ахматовой: «Это указание ошибочно».

Отмеченное преувеличение связано, по-видимому, с одним пушкинским признанием, которое Ахматовой было, разумеется, хорошо известно: «Повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна» (XIII, 221).

Но приведенная пушкинская фраза по сути своей того же свойства, что и его предсмертные слова, обращенные к царю: «Жаль, что умираю, весь его бы был»¹.

Оба эти признания сделаны в сильном эмоциональном порыве, в них более обозначены благородные движения души, нежели реальные факты. Так можно ли воспринимать их буквально?!

Что же касается фактической стороны дела, то из 120 осужденных Пушкин был лично знаком едва ли с 20², хотя среди этих 20 были действительно такие близкие для него люди, как Пущин, Кюхельбекер, братья Бестужевы. Так что пушкинские слова о 120 «братьях и друзьях» — лишь благородное преувеличение; это слова, сказанные в порыве благородства и сострадания ко всем поверженным...

Однако, принимая вывод Ахматовой относительно пустынного острова как места захоронения декабристов, мы вынуждены отметить, что ее статья прояснила смысл отрывка лишь частично. Его первые строки не стали после ее статьи менее загадочными:

Когда порой воспоминанье
Грызет мне сердце в тишине
И отдаленное страданье
Как тень опять бежит ко мне...

Дело в том, что воспоминание и страдание, запечатленные в этих стихах, представляются нам, в отличие от Ахматовой, связанными не с общественно-политическим событием (казнью

¹ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 337.

² В указателе Л. А. Черейского отсутствуют, например, фамилии таких известных декабристов, как Лорер, Сутгоф, Сухинов, Розен, Штейнгель, братья Поджио, Горбачевский.

пятерых декабристов), а с какими-то событиями личной жизни. Они, по нашему мнению, говорят о каком-то сильном переживании личного порядка, уязвляющем сердце автора до конца не осознанной виной («грызет мне сердце в тишине»). Такие строки уместнее, на наш взгляд, было бы отнести к некоей женщине, горячо любимой поэтом в прошлом. Доводы Ахматовой в пользу того, что здесь подразумевается общественное событие, не представляются нам в данном случае убедительными: «Из того же загадочного отрывка "Когда порой воспоминанье" мы узнаем, что Пушкин бежит от разговоров, связанных с чем-то очень ему дорогим, о чем люди говорят недолжным образом. Что это не что-то личное, показывает слово "свет", то есть общество, потому что в свете личные дела в присутствии участника этих дел не обсуждались»¹.

Допустим, что в свете не обсуждались «личные дела в присутствии участника этих дел», но судьба той или иной женщины, нарушившей принятые правила поведения, вполне могла явиться предметом повышенного внимания, и отголоски этого внимания не могли не доноситься до поэта через знакомых. А кроме того, слово «свет» отсутствует в той редакции отрывка, который рассматривала Ахматова в своей статье, но на этом мы остановимся несколько позднее.

Однако главный изъян такой интерпретации заключается в предположении Ахматовой, что поэт при воспоминании о казненных декабристах, почему-то должен был бы лететь мыслью в Италию (?), но его воображение устремляется к «студеным северным волнам». Противопоставление Италии пустынному острову повисает в воздухе, выглядит здесь совершенно необъяснимым. Попытка Ахматовой обосновать это противопоставление тем доводом, что Италия (мечта об Италии) являлась «заветнейшей и любимейшей мечтой жизни»² Пушкина, представляется нам большой натяжкой, он слишком умозрителен.

¹ Ахматова А. Указ. соч. С. 156–157.

² Там же. С. 151.

Никакой реальной связи между казнью декабристов и непосредственно Италией в действительности не существовало.

Иное дело, если предположить, что в начальных стихах отрывка поэт вспоминает какую-то женщину. Но и тут мы как будто бы останавливаемся перед неразрешимой проблемой: какая связь могла существовать между судьбой этой женщины и казнью декабристов, а также между этой женщиной и Италией? Но в данном случае Италия как раз и помогает найти правильный ответ. Проблема легко разрешается, если принять, что женщиной, воспоминание о которой мучило поэта, была его одесская возлюбленная, итальянка по происхождению, Амалия Ризнич. Стихи, обращенные к ней после отъезда Пушкина из Одессы, всегда содержат упоминание об Италии. Например, в стихотворении 1826 года «Под небом голубым страны своей родной...» Италия обозначена в первом стихе голубизной неба (в рассматриваемом нами отрывке — «небо блещет синевой»); то же в стихотворении 1830 года «Для берегов отчизны дальней...», где находим такие приметы Италии:

...Под небом вечно голубым
В тени олив...

Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где тень олив легла на воды...

Здесь кроме голубизны неба присутствуют оливы, которые в отрывке заменены лавром и кипарисом.

Таким образом, упоминание Италии, детали итальянского пейзажа в стихах Пушкина, обращенных к Ризнич, вполне естественны. А вот связь между воспоминанием о ней и казнью декабристов представляется на первый взгляд довольно причудливой, но именно такая связь, оказывается, имела место в сознании Пушкина.

Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к беловому автографу уже упоминавшегося стихотворения «Под небом

голубым страны своей родной...». Текст его предваряется датой, вынесенной наверх в качестве заглавия и обозначающей, по-видимому, время написания: «29 июля 1826». А под текстом стихов имеется следующая запись, многократно воспроизводившаяся в публичных изданиях:

Усл. о см. 25

У о с. Р.П.М.К.Б: 24 (XVII, 248).

Эта запись расшифровывается пушкинистами следующим образом:

< Услышал о смерти Ризнич 25 июля 1826 г. >

< Услышал о смерти Рылеева, Пестеля, Муравьева,
Каховского, Бестужева 24 июля 1826 г. > (XVII, 248).

Приведенная запись свидетельствует, что две скорбные вести были получены Пушкиным почти одновременно. Поэтому нет ничего удивительного, если они прочно связались в его сознании одна с другой.

Как отметил в свое время П. К. Губер, «...бедная, легковерная тень красавицы Амалии пронеслась перед умственным взором Пушкина как бы со свитой пяти других теней, трагических и зловещих, которым суждено было еще долго тревожить воображение поэта»¹.

В таком контексте совершенно четкий смысл обретает пушкинское признание:

Когда людей повсюду видя,
В пустыню скрыться я хочу,
Их слабый глас возненавидя...

Перефразируя Ахматову (заменив в ее пассаже декабристов на Ризнич), заметим, что мы можем себе представить, какие

¹ Губер П. Дон-Жуанский список А. С. Пушкина. С. 111.

разговоры о Ризнич можно было услышать в свете! Достаточно вспомнить некоторые подробности ее биографии. Как известно, в мае 1824 года Ризнич со своим маленьким сыном уехала в Италию из Одессы, где продолжал оставаться ее муж. За нею последовал в Италию некто Собаньский (богатый польский помещик, предполагаемый соперник Пушкина), с которым она на некоторое время сошлась, а затем Собаньский оставил ее. Ризнич умерла от чахотки в крайней бедности через год после отъезда из Одессы. К ней в полной мере могут быть отнесены следующие строки из стихотворения «Заклинение», написанного в том же 1830 году, когда создавался отрывок:

Зову тебя не для того,
Чтоб укорять людей, чья злоба,
Убила друга моего...

Независимо от того, обращено ли «Заклинение» именно к Ризнич (единого мнения об этом у пушкинистов нет), приведенные строки вполне соответствуют по смыслу тем стихам из отрывка, на которых мы остановились чуть выше.

Итак, воспоминание, «грызущее сердце», и связанное с ним «отдаленное страдание» в первой части отрывка никакого отношения к декабристам, по-видимому, не имеют. Как же случилось, что и Ахматова (!) пошла по ложному следу, столь свойственному советскому пушкиноведению в силу существовавших в освещении творческого наследия Пушкина идеологических установок?¹

В случае с Ахматовой все обстояло значительно сложнее.

Продолживший вслед за Ахматовой разыскание захоронения останков казненных декабристов Андрей Чернов частично

¹ Пушкина надлежало представлять многомиллионному читателю в качестве революционера, борца с самодержавием, идейного единомышленника декабристов. С азартом, достойным лучшего применения, пушкиноведы находили все новые и новые тексты или фрагменты текстов, якобы связанные с декабристской тематикой.

коснулся этого, отметив, что статья Ахматовой — «прежде всего автобиография, и только потом пушкинистская работа»¹.

Сегодня мы можем сказать об этом более внятно: первый муж Ахматовой, один из крупнейших поэтов русского «серебряного века» Николай Гумилев, был расстрелян большевиками по ложному обвинению (в отличие от декабристов, без суда и следствия) в августе 1921 года, место его захоронения осталось неизвестным.

Именно в силу такого совпадения (сокрытие властями места захоронения) судьба несправедно казненного Гумилева предстала в глазах Ахматовой чуть ли не тождественной судьбам декабристов. Оправданно ли это? Отметим, что параллель с декабристами представлялась привлекательной многим достойным представителям нашей интеллигенции: судьбы своих собратьев, в той или иной степени пострадавших от советского режима, они склонны были сравнивать с судьбами мятежников 1825 года, для чего по существу очень мало оснований.

Гораздо ближе к истине оказались идеологи советского режима, видевшие в декабристах (в соответствии с известным указанием вождя) своих предшественников по революционному делу, но такой взгляд тоже страдает односторонностью.

Советские же диссиденты, многочисленные жертвы советского террора среди интеллигенции, не только не были революционерами и не способны были взять в руки оружие, но и вообще не помышляли о каком-либо организованном сопротивлении властям. Кроме того, власть для них, например, для Ахматовой, Гумилева, их сына Л. Н. Гумилева, Мандельштама, Клюева и многих, многих других, была чужда и даже враждебна с самого начала своего существования. А сами они всегда были гонимы, унижаемы и преследуемы этой властью.

Какая же здесь может быть параллель с декабристами, принадлежавшими к привилегированному слою, представлявшими собою цвет российского офицерства, блиставшими императорскими наградами на балах и в собраниях!..

¹ Чернов А. Указ. соч. С. 18.

Но возвратимся к пушкинскому отрывку.

Наша интерпретация его такова: вспоминая свою умершую возлюбленную, терзаясь чувством какой-то неясной для нас вины перед нею, поэт вдруг ощущает, что мысль его устремляется не на ее родину в Италию, где она умерла, а к месту предполагаемого захоронения декабристов. Почему это происходит, объясняет пушкинская запись под автографом стихотворения 1826 года «Под небом голубым страны своей родной...». Выскажем предположение, что отрывок первоначально замышлялся как обращение к памяти Ризнич, а тема декабристов возникла в нем произвольно и неожиданно для самого Пушкина. То есть по существу в отрывке запечатлена та же психологическая ситуация, что и в стихотворении 1826 года: воспоминание о Ризнич вытесняется из сознания автора размышлениями о судьбах казненных декабристов.

Остановимся еще на весьма важном вопросе, до сих пор оставшемся вне нашего внимания, — текстологическом.

Дело в том, что редакцию отрывка, которую мы здесь рассмотрели вслед за Ахматовой, вряд ли можно считать принадлежащей Пушкину в полной мере. От Пушкина дошел до нас черновой неотделанный и необработанный текст с большим количеством ритмических пропусков и сокращений в написании слов. По этому автографу Томашевский произвел весьма талантливую реконструкцию текста и получил ту редакцию отрывка, которая приведена в малом академическом собрании сочинений Пушкина и которую мы рассмотрели выше. Беда только в том, что редакция отрывка, созданная Томашевским, помещена в основном корпусе произведений поэта и воспринимается читателем как текст, в полной мере принадлежащий Пушкину.

На эту проблему в свое время обращал внимание Ю. Г. Оксман, отмечая перегруженность академического собрания сочинений Пушкина «материалами пушкинского фольклора и произведениями Бонди, Томашевского, Зенгер и даже Медведевой». «Особенно явственно это стало после того, — заключал

он, — как в массовых изданиях, опирающихся на большого академического Пушкина, сняты были леса — все эти прямые и угловые скобки, знаки вопроса, оговорки в примечаниях, в указателях, в предисловии»¹.

Все это имеет самое непосредственное отношение к нашим заметкам (равно, как и к статье Ахматовой), потому что выводы, полученные в результате анализа чернового неотделанного и необработанного текста, имеют более условный и предположительный характер, чем при анализе завершеного пушкинского произведения, что необходимо в данном случае иметь в виду.

1998

¹ Азадовский М., Оксман Ю. Переписка. С. 128. Об этом же говорил А. Л. Гришунин в своем сообщении об Оксмানে-пушкинисте на заседании Пушкинской комиссии ИМЛИ РАН в декабре 1998 года.

«НЕТ, НЕТ, БАРКОВ! СКРЫПИЦЫ НЕ ВОЗЬМУ...»

(Размышления по поводу
анонимной баллады «Тень Баркова»)

С начала 90-х годов минувшего столетия практически одновременно с упразднением цензуры стали появляться публикации порнографической баллады, упомянутой в заглавии настоящей статьи.

Сам факт таких публикаций, быть может, и не заслуживал бы особого внимания, если бы не одно важное обстоятельство: издатели настойчиво связывали «Тень Баркова» с именем Пушкина.

Дело пошло так быстро, что уже в 1994 году в авторитетнейшем научном издании лицейской лирики Пушкина¹ баллада эта, хотя она и не вошла в состав книги, была безоговорочно признана пушкинской (пока, правда, лишь в разделах «Комментарии» и «Примечания»).

Произошло это оттого, что за основу издания был принят первый том полного собрания сочинений Пушкина, подготовленный и откомментированный М. А. Цявловским и Т. Г. Цявловской-Зенгер еще в 1937 году (как известно, тогда, по условиям политической обстановки тех лет, том вышел в свет без комментариев составителей). В комментариях к тому автором баллады впервые был признан Пушкин. Основанием для этого послужила отдельная работа М. А. Цявловского, посвященная «Тени Баркова», — «Комментарии», — в ту пору (и многие десятилетия спустя) также не опубликованная. Лишь в 1996 году комментарии Цявловского к балладе вместе с ее текстом были

¹ Пушкин А. С. Стихотворения лицейских лет 1813–1817. СПб.: Наука, 1994.

наконец напечатаны в специальном филологическом издании¹ и тем самым сделались доступными для обсуждения.

В настоящей статье мы ставим себе целью заново рассмотреть «Тень Баркова» и проверить убедительность аргументации М. А. Цявловского, признавшего это анонимное произведение пушкинским.

1

Первое впечатление от прочтения полного текста баллады «Тень Баркова» — совершенно отчетливое сомнение в авторстве Пушкина.

С. М. Бонди когда-то высказался в том смысле, что при оценке стихов никакие логические и иные ученые аргументы не могут заменить или опровергнуть свидетельства верного художественного вкуса. Не посягая присвоить своему вкусу исключительное право на такое свидетельство, мы тем самым избавляем себя от досконального анализа художественных качеств баллады; однако не отказываемся от возможности обратиться хотя бы к некоторым моментам, наиболее очевидно, на наш взгляд, подтверждающим сомнения в авторстве Пушкина.

Основу сюжета баллады составляют, как известно, два порнографических эпизода, издевательски пародирующих сюжет «Громобоя» Жуковского, который построен на двух явлениях герою потусторонних сил: сначала адского духа Асмодея, а потом — Божьего угодника; в пародии и того и другого заменяет тень Баркова. Вот образчик пародирования:

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| «Ах, что ж Могущий повелел?» | «Скажи, что дьявол повелел» |
| — Надейся и страшися, | — Надейся, не страшися. |

¹ Пушкин А. С. Тень Баркова. (Контаминированная редакция М. А. Цявловского в сопоставлении с новонайденным списком 1821 г.) // Публ., подгот. текста и примеч. И. А. Пильщикова. Вступит. заметка Е. С. Шальмана // *Philologica*. 1996. Т. 3. N 5/7. P. 133–286. Датировка «новонайденного» списка 1821 годом не имеет необходимого обоснования.

«Увы! какой нас ждет удел?
Что жребий их?» — Молися!

— «Увы, что мне дано в удел?
— Что делать мне?» — Дрочися!

И руку положив крестом
На грудь изнеможенну,
Пред неиспытанным Творцом
Молитву сокрушенну
Умолкший пролиал в слезах...

И грешный стал му** трясти.
Тряс, тряс, и вдруг проворно
Стал х** все вверх и вверх расти,
Торчит ел**к задорно.
И жарко плешь огнем горит...

Памятуя слова С. М. Бонди о художественном вкусе, обойдем молчанием восторженное (продиктованное, думается, не в последнюю очередь уступкой антирелигиозной идеологии) заключение М. А. Цявловского: «Приведенные стихи Пушкина — один из самых замечательных образцов пародии в русской литературе». Да и почти все остальное построено на примитивной и плоской скабрёзности и, что примечательно, практически лишено всегда свойственного пушкинскому словесному хулиганству блестящего юмора, что украшает такие его бесценные выходки, как лицейское «От всенощной вечер идя домой...», или шедевр непристойной эпиграммы «Орлов с Истоминой в постеле...» (1817), или шуточку 1819 года «Недавно тихим вечером...», или более поздний «фламандской школы пестрый сор» — уморительную сценку «Сводня грустно за столом...» (1827).

Сквернословие баллады угрюмо-самоцельно и как-то не пушкински безвкусно; она решительно уступает и своему главному герою Баркову (творения которого, в частности «Ода Приапу», полны поэтического «куража», размашисто-темпераментны, энергичны) и, скажем, известной анонимной поэме о Луке с ее сочетанием похабщины и определенной аккуратности и даже «изысканности» в стиле. «Тень Баркова», на наш взгляд, лишена как художественной энергии этих образцов обценной поэзии — и тем более пушкинской энергии — так и особо Пушкину свойственной плотности сюжета.

В первой части баллады Жуковского Громобоею, сетующему на бедность и превратности идущей к концу жизни, является

Асмодей и предлагает герою в обмен на богатство и продление жизни продать аду свою душу. Заключив договор, герой живет счастливо и благополучно, но затем, устранившись приближающегося истечения срока договора, стремится искупить свою вину праведной жизнью, помощью несчастным и страждущим. Во второй половине баллады герою в ответ на его покаяние является Божий угодник, небесные силы побеждают посланца ада; Громобой умирает, но финал баллады пронизан характерным для Жуковского пафосом надежды на Божие милосердие и спасение за гробом.

В первой части пародии с героем тоже заключается своего рода «договор»: в обмен на возвращенную «расстриге-попу» половую мощь тень Баркова требует от героя стать стихотворцем в его, Баркова, духе — и тогда герою будут обеспечены как поэтический успех в кабаках, борделях, в «скопищах торговли» и так далее, так и несравненный сексуальный успех. На счастливом претворении в жизнь этого обещания балладу можно было бы и закончить, отчего она только выиграла бы в цельности. Однако автор присовокупил к написанному совсем новый сюжет о том, как удачливый герой оказался заточен в женском монастыре блудливой игуменьей, снова лишился мужской силы и подвергся опасности быть за это оскропленным и как тень Баркова снова спасла его и освободила из плена.

Сюжет баллады Жуковского — пусть, в духе допушкинской поэзии, весьма растянутый и к тому же осложненный судьбой дочерей Громобоя — безусловно связан, отражая целостность судьбы заглавного героя: второй эпизод (победа светлых сил над темными) непосредственно связан с изменением жизни героя, с его молитвами и раскаянием в договоре с духом зла. Подобная плотная связность сюжета, в котором все взаимно обусловлено и взаимно необходимо, чрезвычайно характерна и для пушкинской манеры; в повествовательных композициях Пушкина даже случаи продиктованы внутренней логикой событий и поведением героев. Ничего похожего в композиции «Тени Баркова» нет.

Второй эпизод баллады — заточение героя в монастырь и победа тени Баркова над игуменьей, пародирующая победу неба над адом у Жуковского, — не обусловлено ничем ни в первом эпизоде (бордель), ни в последующем поведении попа-расстриги, вдруг ставшего поэтическим учеником и продолжателем Баркова. Казалось бы, пародируемый материал (обращение Громобоя к благочестивой жизни) должен был продиктовать пародисту соответствующий сюжетный ход — например, «измену» попа своему «поэтическому» призванию, расплатой за которую явился его плен у игуменьи, и так далее — это было бы и не лишено остроумия, и вполне воплощало бы пародийную функцию, и, наконец, совершенно отвечало бы характерному для Пушкина, даже молодого, «сакральному» отношению к поэтическому дару и призванию — словом, так или иначе заключало бы в себе хоть какой-то смысл. Однако, повторяем, ничего подобного в балладе нет: два эпизода соединены между собой чисто механически, путем произвольного присоединения или нанизывания, так что баллада, по существу, разваливается на два отдельных сюжета, которые, кстати, нетрудно при желании и поменять местами — так, чтобы баллада заканчивалась, положим, поэтическими или иными подвигами героя, что было бы, несомненно, эффектнее... Вместо этого сообщается, что сладострастная игуменья «с духом тут рассталась», после чего:

«Ты днесь свободен, Е**ков!» —

Сказала тень расстриге.

Мой друг, успел найти Барков

Развязку сей интриге.

«Поди! (Отверзта дверь была.)

Тебе не помешают,

Но знай, что добрые дела

Святые награждают.

Усердно ты воспел меня,

И вот за то награда!»

Сказал, исчез — и здесь, друзья,

Кончается баллада.

Беспомощная в художественном отношении строфа, не держащая ни одного, особо необходимого для финального пассажа, поэтического проблеска, уныло и вяло «повисающая» (если использовать лексику и образность самой баллады) в конце повествования...

Дар художественной драматургии, изначально свойственный Пушкину и как повествователю, и как лирику, здесь начисто отсутствует..

2

Теперь, по возможности, кратко, коснемся языка и стилистики баллады и вообще версификационного уровня текста, то есть его художественных качеств (а не формального соответствия правилам стихосложения, чем занимаются обычно стиховеды). Приведем всего несколько наиболее выразительных примеров.

Вот окончание строфы II:

В четвертый раз ты плешь впустил
И снова щель раздвинул,
В четвертый *принял*, вколотил...

Обратим внимание на глагол «принял». Что «принял» расстрига? Слово явно не имеет вразумительного смысла.

В стихах 5–8 строфы III изображается довольно запутанная ситуация:

Вотще! *Под* бешеным попом
Лежит она тоскует,
И *ездит* по брюху *верхом*,
И в ус его целует.

«Милашка», как утверждает автор, и лежит «под бешеным попом» (тоскуя), и одновременно едит «по брюху верхом», то

есть находится сверху него. Но это еще не все! Как явствует из заключительных стихов строфы, она еще ухитряется при этом сжимать «в нежной длани» (которая чуть раньше грубо названа пятерней) причинный орган попа!

В конце строфы IV авторская ирония выглядит весьма неуклюже:

Не становился х** столбом,
Как будто бы для смеха.

Именно «как будто бы»! Не просто «для смеха» (хотя какой уж тут смех), а именно «как будто бы»! Тяжеловесное по смыслу и по звучанию восклицание это разительно отличается, например, от легкого пушкинского «как бы на смех ее супругу» (см. «Руслан и Людмила», часть III, стих 8).

В начале строфы VI тень Баркова задает герою, находящемуся в довольно-таки затруднительной ситуации, весьма витиеватый вопрос:

Что сделалось с детиной тут?

В этом восклицании неожиданно угадывается патетика, более подходящая для классицистической трагедии, нежели для шутливой баллады специфического содержания.

На патетическое восклицание «тени» поп-расстрига сообщает, в частности, что «лихой предатель изменил». «Предатель изменил» (равно, как если бы было сообщено, что «изменник предал») — еще один пример характерной стилистики баллады.

В конце строфы IX тень Баркова, наставляя попа-расстригу на стезю поэзии, предрекает ему довольно-таки странный успех у его потенциальных слушателей:

И будешь из певцов певец, —
Клянусь я в том е**ою, —
Ни чорт, ни девка, ни чернец
Не вздремлют над тобою.

Обещание, содержащееся в последнем стихе, весьма озадачивает, поскольку поэты в балладе уподобляются «певцам», а исполнение стихов — пению под аккомпанемент «гудков» и «смычков», то есть возможность восприятия стихов посредством чтения исключается. В связи с этим обещание «не вздремлют над тобою», возможно, имеет сексуальный смысл. Но в таком случае поп-расстрига, оказавшийся под «чортом» и под «чернецом», предстал бы перед нами в новом качестве: с измененной (выражаясь современным языком) сексуальной ориентацией! Это, как нам кажется, противоречит общему замыслу баллады и разрушает образ сексуального героя. Неслучайно все прочие списки «Тени Баркова», кроме избранного в данном случае М. А. Цявловским, дают сомнительный стих в иной редакции: «Не вздремлют *под* тобою», — что, впрочем, не отменяя неожиданной «бисексуальности» героя, оставляет непонятным, каким образом подобный успех связан с поэтическим первенством («из певцов певец»). Таким образом, в любом из вариантов — полная смысловая неразбериха.

В строфе X солнце «является за горой» (где-то на уровне горизонта, чуть выше) и одновременно «среди неба голубого», то есть близко к зениту.

Версификационная неумелость автора проявляется в тяжеловесности следующей синтаксической конструкции в строфе XV, где для сохранения принятого стихотворного размера введено местоимение «он»:

И в думе страждущий сказал
Он с робостью стыдливой...

К такому же средству пришлось прибегнуть автору и в стихе седьмом: здесь для сохранения размера в стих совершенно не к месту вставлен глагол «послушай».

Весьма загадочно звучит вторая часть строфы:

Послушай, скоро твоему
Не будет силы х**!
Тогда ты будешь каплуном...

«Ты будешь», видимо, следует воспринимать в смысле «я тебя сделаю», то есть в словах кровожадной игуменьи заключена страшная угроза. Но не совсем ясно, как она на самом деле собирается ее исполнить, потому что «сделать каплуном» — это одно, а вот то, что сообщается в следующих стихах строфы, нечто другое:

А мы прелюбодея
Закинем в нужник вечерком,
Как жертву Асмодея.

Тут речь идет о предмете мужского рода, некоем «прелюбоде» (не названном почему-то прямо, хотя мы привыкли, что в «Тени Баркова» абсолютно все называется своим именами!), который, судя по всему, бедному расстриге собираются отрезать и почему-то «закинуть в нужник», и почему-то «вечерком». Но ведь это совсем иная операция, нежели «сделать каплуном»! Создается впечатление, что автор похабной баллады как-то не очень хорошо владеет материалом или, что более вероятно, не в состоянии грамотно выразить свои мысли, становясь жертвой трудностей стихосложения...

В строфе XIX нельзя не отметить звуковую какофонию:

...но он лежит
Лежит и не ярится,
Она щекочет, но он спит,
Дыбом не становится.

Столкновение согласных звуков в стихе седьмом («Она щекочет...»), возникающие при этом «тн», «нсп» и «но он» свидетельствуют о весьма низком версификационном уровне. То же можно сказать о звучании последнего стиха (с «дыбом»).

Вот далеко не полный перечень примеров, красноречиво подтверждающих «большое мастерство» автора баллады, авторитетно отмеченное М. А. Цявловским¹

¹ Цявловский М. А. Комментарии. С. 265.

Для выяснения вопроса, мог ли Пушкин быть автором «Тени Баркова», может быть использован такой важный источник информации, как его творчество лицейской поры.

Первое упоминание имени Баркова содержится, как известно, в произведении середины 1813 года «Монах», впервые опубликованном лишь в 1928 году.

Там, приступая к исполнению своего поэтического замысла — «воспеть», как некий монах был совращен чертом, — юный поэт, взыскую духовной поддержки в своем рискованном начинании, обращает взгляд сначала к Вольтеру, а затем к Баркову. Нас интересует, конечно, второе обращение:

А ты, поэт, проклятый Аполлоном,
Испачкавший простенки кабаков,
Под Геликон *упавший в грязь* с Вильоном,
Не можешь ли ты мне помочь, Барков?
С усмешкою даешь ты мне скрипицу,
Сулишь вино и музу пол-девицу:
«Последуй лишь примеру моему».
Нет, нет, Барков! скрипицы не возьму,
Я стану петь, что в голову придется,
Пусть как-нибудь стих за стихом польется.

В этом фрагменте, посвященном Баркову, кратко очерчена ситуация, весьма схожая с той, что предстает в анонимной балладе, — но какая огромная разница в самом письме и, конечно, не только по причине иного жанра. В балладе «тьень» призывает попа-расстригу взять «задорный гудок» Баркова, в приведенном фрагменте «Монаха» Барков предлагает юному автору взять его «скрипицу», однако юный поэт недвусмысленно отвергает столь лукавое предложение, он отвечает:

Нет, нет, Барков! скрипицы не возьму.

Его выбор предопределен способностью уже в эти годы трезво и объективно оценить поэтические достоинства Баркова: это поэт, «испачкавший простенки кабаков», «упавший в грязь» под Геликоном, то есть не достигший обиталища муз, где бьет не иссякающий источник Иппокрена.

Характерно и то, что «в грязь» Барков падает у него вместе с Вийоном. Это очень важно для нас, потому что свидетельствует о неизменности во времени пушкинской оценки обценной поэзии. Так, в статье 1834 года «О ничтожестве литературы русской» Пушкин оценивает Вийона столь же критически, как и в раннем** лицейском произведении.

Противопоставляя литературу Франции эпохи Возрождения литературам других наиболее просвещенных стран Европы, он замечает (не без доли сарказма), что в то время, как Германия уже имела «Песнь о Нибелунгах», Италия — «Божественную комедию» Данте, Испания — Лопе де Вега, Кальдерона и Сервантеса, Англия — Шекспира, «у французов Вильон воспевал в площадных куплетах кабаки и виселицу и почитался первым народным поэтом!» (XI, 269).

Характерно, что М. А. Цявловский, отметив сходство ситуаций в «Тени Баркова» и фрагменте «Монаха», посвященном Баркову, и истолковав это сходство как подтверждение своей версии, ни словом не обмолвился о той достаточно критической оценке, которую дал лицеист Пушкин поэтическим опытам Баркова (и Вийона).

Пушкинская оценка 1813 года роли обценной поэзии — это, по нашему убеждению, не игра, не маскировка, а принципиальная творческая установка юного гения: он не собирается приобретать славу, «пачкая простенки кабаков», у него более серьезные намерения.

Серьезность его поэтических претензий подтверждена и в стихотворении 1815 года «Мечтатель»:

Пускай, удара в звучный щит
И с видом дерзновенным,

Мне Слава издали грозит
 Перстом окровавленным...
 Нашел в тиши я мирный кров
 И дни веду смиренно;
 Дана мне лира от богов,
 Поэту дар бесценный.

«Дана мне лира от богов» — означает, в частности, что юный поэт намерен достигнуть высот Геликона, а не свалиться «в грязь» перед ним, как это случилось с Барковым, и что он не случайно не разменял свой гений на «скрыпицу» Баркова — он уже тогда (в 1813 году) ощущал в своих руках «лиру»!

Другое упоминание Баркова содержится в стихотворении 1815 года «Городок»:

О ты, высот Парнаса
 Боярин небольшой,
 Но пылкого Пегаса
 Наездник удалой!
 Намаранные оды,
 Убранство чердаков,
 Гласят из рода в роды:
 Велик, велик — Свистов!
 Твой дар ценить умею,
 Хоть, право, не знаток;
 Но здесь тебе не смею
 Хвалы сплетать венком:
 Свистовским должно слогом
 Свистова воспевать;
 Но убирайся с Богом,
 Как ты, в том клясться рад,
 Не стану я писать.

(Курсив наш. — В. Е.)

Отношение к Баркову вновь выражено достаточно ясно.

Барков на Парнасе «боярин небольшой», о его «величии» «гласят» лишь «намаранные оды» и «убранство чердаков», но Пушкин умеет ценить его «дар» истинного поэта. При этом весьма красноречиво желание юного поэта дистанцироваться от Баркова заявлением, что сам он не является «знатоком» (то есть пылким поклонником) его творчества. Юный поэт не собирается воспевать Баркова («хвалы сплестать венок»), в частности, и потому, что делать это надо «барковским» слогом, но здесь позиция юного Пушкина остается неизменной по отношению к заявленной еще в «Монахе» («Нет, нет, Барков! скрыпицы не возьму...»):

Но убирайся с Богом,
Как ты...
Не стану я писать.

Предел творчески допустимого обозначен достаточно явно и достаточно резко.

Однако, по утверждению М. А. Цявловского, именно в промежутке между двумя этими принципиально важными творческими заявлениями Пушкина-лицеиста им и была написана порнографическая баллада «Тень Баркова». Художественные достоинства сего творения мы рассмотрели раньше. Сейчас мы предлагаем взглянуть на проблему с другой стороны: возможно ли такое несоответствие творческих установок Пушкина собственной поэтической практике? Нам такие случаи в творческой биографии поэта не известны.

Пушкин всегда был строго принципиален в вопросах творчества: тщетно искать у него каких-либо уступок общественному мнению, веяниям моды: вряд ли он мог ради завоевания сомнительной популярности у части лицеистов написать «площадные куплеты», достойные «украшать простенки кабаков».

Есть еще одно соображение, вызывающее серьезные сомнения в возможности приписать «Тень Баркова» Пушкину, — его особое отношение к Жуковскому, исполненное дружбы, приязни и почтения.

Такому ходу мысли, вопреки возражениям М. А. Цявловского, никак не противоречит то обстоятельство, что в 1818 году в четвертой песни «Руслана и Людмилы» Пушкин изящно пародировал балладу Жуковского «Вадим».

Во-первых, пародирующим Жуковского стихам предпослано следующее, свидетельствующее об искреннем восхищении его талантом признание:

Поэзии чудесный гений,
 Певец таинственных видений,
 Любви, мечтаний и чертей,
 Могил и рая верный житель,
 И музы ветреной моей
 Наперсник, пестун и хранитель!
 Прости мне, северный Орфей,
 Что в повести твоей забавной
 Теперь во след тебе лечу
 И лиру музы своенравной
 Во лжи прелестной обличу.

Во-вторых, М. А. Цявловский вновь слишком пристрастен, утверждая, что пушкинская пародия «не менее кощунственна по существу», чем «Тень Баркова»¹.

Приведем в доказательство пристрастности М. А. Цявловского самое эротичное место пушкинской пародии:

И вот она на ложе хана,
 Коленом опершись одним,

¹ Цявловский М. А. Комментарии. С. 237.

Вздохнув, лицо к нему склоняет
С томленьем, с трепетом живым,
И сон счастливица прерывает
Лобзаньем страстным и немым...

Стихи эти куда скромнее, например, эротических откровений Батюшкова 1812 года в «Моих пенатах» (о сопоставлении с откровенной похабщиной «Тени Баркова» не может быть и речи).

«По существу» же автор показывает этими стихами, что, в сравнении с Русланом, Ратмир не столь уж поглощен своим чувством к Людмиле:

Восторгом витязь упоенный
Уже забыл Людмилы пленной
Недавно милые красы...

Конечно, пародийная замена двенадцати праведниц у Жуковского компанией «прелестных дев», обольщающих Ратмира в поэме Пушкина, выглядит достаточно рискованной. Подробнее это рассмотрено в обстоятельном исследовании В. А. Кошелева, посвященном «Руслану и Людмиле»¹. Единственное возражение вызывает утверждение автора о схожести ситуаций в пародии Пушкина и во второй части «Тени Баркова». Аналогия представляется весьма эфемерной, рассмотрение ее вряд ли плодотворно ввиду абсолютной стилистической несопоставимости двух текстов. Куда правомернее представляется нам сопоставление этого эпизода пушкинской поэмы с более высокими, чем «Тень Баркова», литературными образцами (как она того и заслуживает). Например, с поэмой В. И. Майкова «Елисей, или Раздраженный Вах» (1771), высоко ценимой Пушкиным, или с «Декамероном» Боккаччо (первая новелла третьего дня о Мазетто Лампореккьо, устроившемся в женский монастырь садовником).

¹ Кошелев В. А. Первая книга поэта. Томск: Водолей, 1997. С. 99–115.

Несмотря на то что пародии, как мы уже отметили, предположительно дружелюбное предупреждение и сама она выполнена весьма изящно и талантливо, Пушкин все же, по-видимому, испытывал некоторые угрызения совести за поэтическую шалость в «Руслане и Людмиле» и считал необходимым покаяться в содеянном в неоконченной статье 1830 года «Опровержение на критики»:

«За вступление, не помню которой песни:

Напрасно вы в тени таились etc.

и за пародию *Двенадцати Спящих Дев*; за последнее можно было меня пожуричь порядком, как за недостаток эфетического чувства. Непростительно было (особенно в мои лета) пародировать в угождение черни девственное поэтическое создание» (XI, 144–145).

И это «в угождение черни» говорится об изящном, можно даже сказать, любовном пародировании поэта, которого юный лицеист искренне почитал. Жуковский с нежностью упомянут («певец Людмилы, / Мечты невольник милый») в послании «К сестре» (апрель 1814), с восторгом — в «Воспоминаниях в Царском Селе» («скальд России вдохновенный», 1814); руку его, по свидетельству самого Жуковского (письмо П. А. Вяземскому от 19 сентября 1815 года), молодой поэт в момент их знакомства крепко прижал к сердцу.

Между тем М. А. Цявловский убежден, что восхищенные поэтические признания Пушкина непосредственно предшествуют написанию «Тени Баркова» (относимой Цявловским к декабрю 1814 — апрелю 1815 года), а сама баллада — знакомству Пушкина с Жуковским (7 мая — июнь 1815 года¹) и этому трогательному жесту лицеиста.

Скажут, что наши соображения продиктованы сентиментальностью и «морализмом», приведут примеры «единства противоположностей в житейских отношениях Пушкина с людьми — но тут ситуация не житейская. Речь идет об отношении

¹ Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина (1799–1826). Л., 1991. С. 91.

Пушкина к музе и личности Жуковского в их неразрывной связи — отношении, пусть не лишенном юмора (проявившегося в «Руслане и Людмиле», проявлявшегося и позже), но, безусловно, искреннем и трепетном, — как к другой, но чрезвычайно близкой душе. В «Тени Баркова» пародируемый Жуковский — вполне посторонний, «чужой» по духу объект, годный лишь для того, чтобы забавы ради быть подвергнутым издевательствам — и над музой, и над сказавшейся в стихах личностью.

Роль такого легкомысленного и даже злобного насмешника примеряет М. А. Цявловский к Пушкину — хотя хорошо известно, как реагировал юный Пушкин и не на такие ожесточенные выпады в адрес своего старшего друга.

Так, на постановку осенью того же 1815 года комедии А. А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды», где в образе «балладника Фиалкина» осмеивался Жуковский, Пушкин ответил довольно резкой эпиграммой «Угрюмых тройка есть певцов» (8 декабря 1815), а позднее в послании «К Жуковскому» (октябрь 1816) вновь вспоминает автора возмутительной комедии:

Тот, верный своему мятежному союзу,
На сцену возведя зевающую музу,
Бессмертных гениев сорвать с Парнасса мнит.

Нам могут сказать, что все это «лирика» и что «в жизни все сложнее». Что ж, оставим «лирику» и зададимся вопросом: имеются ли у версии М. А. Цявловского какие-либо достаточные фактические основания?

5

Нет, никаких достоверных оснований на самом деле не существует. Как признавал сам Цявловский, «единственное указание на принадлежность баллады "Тень Баркова" Пушкину

имеется в статье В. П. Гаевского»¹, опубликованной в 1863 году в «Современнике»².

В статье этой, с неясной ссылкой на неназванных товарищей по лицу, сообщалось, что «Тень Баркова» якобы была написана Пушкиным в 1812–1814 годах.

В нарушении элементарных принципов доказательности М. А. Цявловский заявил по этому поводу следующее: «Этим показаниям мы ничего не можем противопоставить: ни в написанном самим поэтом, ни в рассказах о нем нет ничего такого, что позволило бы усумниться в справедливости сообщенного Гаевским о первых произведениях поэта»³.

Поразительная логика!

Ведь «ни в написанном самим поэтом», ни в опубликованных «рассказах о нем нет ничего такого», что подтверждало бы сообщение Гаевского о «Тени Баркова», — это, как мы отметили чуть ранее, признает и сам М. А. Цявловский.

При этом, если бы происхождение «показаний», на которых фактически базируется версия Цявловского, не было столь неясным, необходимо было бы отметить, что значимость их сильно снижается по причине анонимности, а также тем, что дошли они до читателя не напрямую, а через третье лицо (через Гаевского). Кроме того, к отмеченному следовало бы добавить, что упомянутые «показания» по существу являются воспоминаниями довольно-таки пожилых людей о событиях полувековой давности (со всеми вытекающими отсюда последствиями).

Ситуация с этими показаниями вообще весьма запутанная, а чтобы убедить в том читателей, нам необходимо обратиться к статье Гаевского. Она как раз и начинается с пунктуального перечисления источников, использованных ее автором при работе. Источники эти подразделяются на две части: материалы, опубликованные в печати, и материалы, собранные к 50-летию

¹ Цявловский М. А. Комментарии. С. 159.

² Гаевский В. П. Пушкин в лицее и лицейские его стихотворения // Современник. 1863. № 7, 8.

³ Цявловский М. А. Комментарии. С. 162.

лица, в большей своей части рукописные (не опубликованные ко времени написания статьи).

К первым Гаевский отнес биографические исследования Бартенева и Анненкова, «Записки о Пушкине» Пущина и другие, менее значительные (не названные им), журнальные публикации.

Ко вторым отнесены материалы, собранные в 1861 году. И здесь мы приведем текст статьи:

«Наконец, по случаю 50-летней годовщины лица, в 1861 году, составлен, на основании преимущественно официальных данных, его "Исторический очерк", представляющий биографические сведения о многих лицах, упоминаемых в предлагаемой статье. По тому же поводу автору ее сообщены некоторые материалы касательно внутренней неофициальной жизни лица, с которою связано начало литературной деятельности Пушкина и его товарищеского кружка; *именно*: лицейские бумаги 1811–1817 годов, состоящие из рукописных, отчасти ненапечатанных сочинений, журналов, сборников, карикатур и проч., хранящиеся у товарища поэта, М. Л. Яковлева; бумаги, оставшиеся по смерти бывшего директора лица Е. А. Энгельгардта, и рукописные заметки другого товарища Пушкина, барона М. Корфа, ко второй главе биографии поэта (о лице), написанной г. Бартевым. Устраняя все официальное и, во избежание повторений, пропуская все известное и недавно еще напечатанное, извлекаем из этих данных, с помощью воспоминаний современников, сведения, на недостаток которых справедливо жалуются биографы и почитатели великого поэта»¹.

Теперь сравним, как изложен этот текст во вступительной части «Комментариев» М. А. Цявловского:

«Работа Гаевского основана на лицейских бумагах 1811–1817 годов, хранившихся у М. Л. Яковлева, на бумагах архивов: лица и бывшего директора лица Е. А. Энгельгардта, на

¹ Гаевский В. П. Пушкин в лицее и лицейские его стихотворения // Современник. 1863. № 7. Отд. I. С. 127–128.

записке о Пушкине М. А. Корфа и на рассказах о Пушкине его товарищей»¹.

Как видно из сопоставления двух текстов, М. А. Цявловский слегка подкорректировал Гаевского: «рассказы о Пушкине его товарищей» у Гаевского не упоминаются. Вряд ли допустимо предполагать таковые («рассказы») на основании действительно не вполне ясной фразы Гаевского о «воспоминаниях современников», потому что здесь, скорее всего, имелись в виду воспоминания современников, опубликованные в печати или имевшиеся у Гаевского в рукописном виде, как, например, упомянутая им записка Корфа. Во всяком случае, ни о каких устных беседах и встречах с бывшими лицеистами Гаевский не упоминает.

Однако, дабы подкрепить свою слишком вольную интерпретацию текста Гаевского, М. А. Цявловский называет фамилии пяти оставшихся в живых к 1863 году лицейских товарищей Пушкина², у которых Гаевский мог бы получить «сведения о Пушкине-лицеисте». Далее он заключает: «На основании записки Корфа и устных рассказов названных товарищей Пушкина по лицу Гаевский так писал о первых произведениях Пушкина...»³

Таким вот образом, в результате излишней увлеченности уважаемого исследователя своей версией, неназванные Гаевским «товарищи Пушкина по лицу» превратились у М. А. Цявловского в «названных». Столь важного для него определения М. А. Цявловский твердо придерживался в дальнейшем тексте «Комментариев», создавая для непосвященного читателя иллюзию того, что сведения о «Тени Баркова» получены Гаевским от нескольких и притом вполне определенных бывших соучеников Пушкина.

¹ Цявловский М. А. Комментарии. С. 159.

² По предположению Цявловского, это могли быть М. Л. Яковлев, Ф. Ф. Матюшкин, К. К. Данзас, С. Д. Комовский, М. А. Корф, из них Данзас, Комовский и Корф не принадлежали к кругу друзей Пушкина, Яковлев оставил о Пушкине свои воспоминания, где никаких сведений о «Тени Баркова» не содержится.

³ Там же. Упоминания об «устных рассказах» у Гаевского нет.

Справедливости ради, следует признать, что «рассказы товарищей Пушкина» не полностью выдуманы Цявловским, он лишь умело использовал нужным для себя образом неясности, содержащиеся в рассматриваемой нами статье. Так, Гаевский действительно через 30 страниц после досконального перечисления источников своей информации предварил наиболее важное для Цявловского сообщение о «Тени Баркова» неясной ссылкой: «По рассказам товарищей его». Цявловский произвольно перенес эту неясную ссылку Гаевского на 30 страниц вперед и уверенно поставил в один ряд с другими, перечисленными самим Гаевским источниками его информации.

На самом деле, совершенно не ясно, о «рассказах» каких товарищей вскользь обмолвился Гаевский. Поскольку, кроме Корфа и Яковлева, никакие другие лицейские товарищи Пушкина Гаевским не упоминаются в качестве неофициальных информаторов (записки Пущина к тому времени уже были опубликованы), остается предположить, что «рассказы» эти принадлежали им, а быть может, одному из них, например, Корфу.

Чтобы оценить, насколько объективны могли быть «показания» Корфа, обратимся к его известным воспоминаниям.

Так, в начале своей «Записки о Пушкине» Корф (по-видимому, с удовольствием) приводит проникнутые злым неприятием нашего поэта суждения о нем некоего Пельца, почерпнутые из книги «Петербургские очерки», опубликованной Пельцем в Германии после возвращения из России:

«...Пушкин предпочитал спокойнейший путь — делания долгов и лишь уже при совершеннейшей засухе принимался за работу. Когда долги слишком накопились и Государь медлили их уплатою, то в благодарность за прежние благодеяния Пушкин пускал тихомолком в публику двустигия вроде следующего, которое мы приводим здесь как мерило признательности великого гения:

Хотел издать Ликурговы законы —

И что же издал он? — Лишь кант на панталоны.

Нет сомнения, что от Государя не оставалось сокрытым *ни одно из этих грязных детищ грязного ума*; но при всем том благодушная рука монарха щедро отверзала для поэта и даже для оставшейся семьи, когда самого его уже не стало»¹.

Как же комментирует это лицейский товарищ Пушкина:

«Все это, к сожалению, сущная правда, хотя в тех биографических отрывках, которые мы имеем о Пушкине и которые вышли из рук его друзей или слепых поклонников, ничего подобного не найдется, и тот, кто даже и теперь еще отважился бы раскрыть перед публикой моральную жизнь Пушкина, был почтен чуть ли не врагом отечества и отечественной славы»².

Вот такие товарищеские чувства испытывал Корф к Пушкину!

Отметим при этом, что Пельц мимоходом приписал Пушкину философско-галантерейную эпиграмму, вовсе ему не принадлежащую. А что же Корф, которому Гаевский, как авторитету в вопросах пушкинской биографии, отдал на предварительное прочтение рукопись своей статьи о лицее? Подтверждая, что все сообщенное Пельцем «сущная правда», Корф тем самым признал и принадлежность Пушкину приведенной Пельцем эпиграммы.

И вот таким-то «авторитетным» показаниям, по мнению М. А. Цявловского, «нечего противопоставить». Он пишет:

«Сообщаемое Гаевским о "Тени Баркова" не вызвало со стороны Корфа ни слова. Нельзя допустить, чтобы он оставил без возражений сообщение о балладе и приведенные из нее стихи, что занимает в печатном тексте статьи более двух страниц. Молчание Корфа — конечно, знак согласия с тем, что сообщили его товарищи Гаевскому»³.

Какие «товарищи», что именно «сообщили» они Гаевскому, — это, как мы уже отметили раньше, никому не известно, никаких пояснений Гаевский, к сожалению, не оставил. А «знак согласия»

¹ Корф М. А. Записка о Пушкине // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 117.

² Там же.

³ Цявловский М. А. Комментарии. С. 162.

в молчании Корфа действительно прочитывается, но по другой причине, нежели предполагал М. А. Цявловский, — по причине, которую мы уже указали раньше: неприязнь к Пушкину. На самом деле, если бы Корф что-нибудь знал о «Тени Баркова», он не преминул бы этим воспользоваться, продемонстрировать это, чтобы еще раз злорадно уязвить память поэта. А быть может, так оно и было на самом деле — именно Корф и поведал Гаевскому какие-то свои предположения или подозрения об авторстве Пушкина в отношении «Тени Баркова», столь же достоверные, как и одобренное им печатное утверждение уже упомянутого нами Пельца о принадлежности Пушкину галантерейной эпиграммы на императора.

В таком случае Корф, разумеется, также оставил бы «без возражений сообщение о балладе и приведенные из нее стихи».

Таким образом, мы в состоянии противопоставить немало аргументов целенаправленным умозаключениям М. А. Цявловского, не подкрепленным никакими фактическими данными.

Так или иначе, М. А. Цявловский обошел молчанием известную проблему, на которой мы вынуждены сейчас кратко остановиться. Она заключается в том, что под именем Пушкина распространялось в списках множество текстов, по большей части стихотворных, ему не принадлежащих. При этом имели место весьма курьезные случаи. Так, например, петербургская «Северная звезда» в 1829 году опубликовала фрагмент «Негодования» Вяземского в виде отдельного стихотворения под названием «Элегия» с указанием на авторство Пушкина¹. Текст этот и впоследствии воспроизводился как пушкинский (в частности, П. А. Ефремовым) вплоть до выхода в 1878 году полного собрания сочинений Вяземского. Как сообщил сотрудник рукописного отдела Пушкинского Дома А. В. Дубровский в докладе на Международной Пушкинской конференции 2002 года (Петербург — Москва), рукопись этих стихов была в свое время получена П. В. Анненковым от В. М. Тютчева как безусловно пушкинский текст. Охотно приписывались Пушкину и стихи

¹ Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1986. С. 474.

эротического характера, например, «Первая ночь брака», о чем вскользь упомянул сам М. А. Цявловский.

Не случайно в последнем томе полного собрания сочинений Пушкина приведен обширный список произведений, «ошибочно приписывавшихся Пушкину в наиболее авторитетных изданиях», занимающий несколько страниц! Здесь находятся и «Первая ночь брака», и упомянутая нами ранее эпиграмма «На Александра I» («Хотел издать Ликурговы законы...»), приписанная Пушкину Пельцем и Корфом, и многие другие произведения, не имеющие никакого отношения к Пушкину.

Все это, конечно, хорошо было известно М. А. Цявловскому, и все же он не пожалел усилий, чтобы постараться приписать Пушкину еще один сомнительный текст, не располагая для этого серьезными аргументами.

Не выглядит объективной и его раздраженная реакция на колебания П. А. Ефремова, первоначально отнесшегося к публикации Гаевского весьма положительно. Впоследствии Ефремов, видимо, в результате длительных размышлений, сопоставлений и консультаций, вовсе изменил первоначальное мнение и отказался признать «Тень Баркова» пушкинским произведением.

Примечательно, что окончательное решение Ефремова оказалось, по его свидетельству, влияние и на Гаевского, который, по его словам, также перестал настаивать на своем «предположении» об авторстве Пушкина. Вот как описал это Ефремов:

«...в Москве мне попала целая тетрадь подобных произведений одного москвича, состоявшая из переделок на такой же лад баллад и поэм Жуковского, как эта "Тень Баркова" (Громобой), "Съезжинская узница" (Шильонский узник) и пр. Эту тетрадь я отдал В. П. Гаевскому, а он сам уж встретил меня отказом от своего прежнего предположения. Кто же, однако, наговорил ему таких подробностей, которые были приведены при печатании им отрывка "Тени Баркова"?»¹

Как видно из приведенного текста, Ефремов задавался по отношению к Гаевскому тем же недоуменным вопросом, что и мы:

¹ Цявловский М. А. Комментарии. С. 164.

«Кто же, однако, наговорил ему такие подробности о "Тени Баркова"?»

Ответить на этот вопрос Ефремова М. А. Цявловскому нечем — он ограничивается язвительным выпадом в адрес неудобного для него свидетеля: «Утверждение это приходится оставить на совести Ефремова»¹.

Пытаясь подвергнуть сомнению важное сообщение Ефремова, М. А. Цявловский приводит собственноручную запись Гаевского на экземпляре рукописи: «По удостоверению П. А. Ефремова, "Тень Баркова" не Пушкина», — толкуя ее как подтверждение неизменности первоначальной позиции Гаевского, как его несогласие с Ефремовым.

Вот уж поистине странная логика. Ведь трезвый взгляд на фразу Гаевского убеждает, что запись сделана Гаевским для памяти или для потомков, и это само по себе (при, безусловно, уважительной тональности фразы) позволяет предположить: мнение Ефремова имело вес для Гаевского. А коли так, почему же он не мог изменить, не без влияния Ефремова, собственное мнение о балладе?

Заслуживает внимания и предположение Ефремова о «московском происхождении» баллады, ведь некоторые детали в ее первой строфе действительно могут быть связаны с Москвою:

«*Мещанская*» — известная улица в Москве, примыкающая к району Марьиной рощи, — вспомним название сентиментальной повести Жуковского, ведь именно Жуковский издательски пародируется в балладе;

«*Московский модный молодец*» — скорее всего приказчик, потому что именно так (молодец) нередко называли в Москве приказчиков²;

«*Подьячий из Сената*» — тоже может быть указанием на Москву, потому что с 1763 года два департамента Сената

¹ Там же. С. 165–166.

² *Елистратов В. С.* Язык старой Москвы: лингвоэнциклопедический словарь. М., 1997. С. 296.

располагались в Москве (четыре — в Петербурге)¹. Кроме того, слово «подьячий», утратившее к началу XIX века свое прошлое значение («приказной служитель, писец в судах» — см. словарь Даля) приводится в словаре «Язык старой Москвы» как старомосковское:

«**Подьячий.** Мелкий чиновник, взяточник, чинуша, ничтожная личность»².

Безусловно, московского толка и выражение «ломает в стих» в строфе 4 баллады. Сравним со словарем «Язык старой Москвы»:

«**Ломать:** ломать счастье. Вероятно, продолжать играть, несмотря на проигрыш, в надежде переломить судьбу (при игре в карты)»³.

Видимо, в балладе слово «ломать» (по аналогии с приведенным его значением, относящимся к игре в карты), хотя оно и выглядит довольно неуклюже, обозначает попытки незадачливого стихотворца (Хвостова) вставить в стих слово, туда не помещающееся.

Обратим также внимание на следующие стихи 11-й строфы:

Пером владеет, как е**ой,
 Певцов он всех славнее;
 В трактирах, в кабаках герой,
 На бирже всех сильнее.

Не совсем ясный смысл последнего стиха (ведь биржа — это «учреждение для заключения крупных торговых и финансовых сделок»⁴) проясняется также с помощью словаря старомосковского говора, где к слову «биржа» дается следующее разъяснение:

¹ БСЭ. М., 1976. Т. 23. С. 248.

² Елистратов В. С. Указ. соч. С. 387.

³ Там же. С. 268.

⁴ Словарь языка Пушкина: В 4 т. Т. 1. М., 2000. С. 100.

«...биржа в Москве гораздо обширнее, чем кажется: она собирается во многих местах, почти целый день не редет толпа на *тычке*, который для торговцев средней руки, не имеющих права посещать биржу <...>, может почестся истинной биржей. Подрядчики и служащие транспортных контор, извозчики и вообще все занимающиеся извозом чернеют темной тучей на углу против Гостиного двора <...> Смешанная куча промышленного люда толчется день-деньской против извозчичьей биржи, там и сям с деловыми людьми мешается особый класс промышленников, зовомых здесь жуликами, разные рядские ширялы, нищие обоих полов и разных видов — смешение весьма разнообразное и вполне демократическое»¹.

Здесь-то, по-видимому, по замыслу автора баллады, и должен был исполнять свои похабные куплеты, восхваляющие Баркова, неведомо как сделавшийся их сочинителем поп-расстрига.

На это указывает и упоминание биржи в одном ряду с трактирами и кабаками, потому что в том же словаре языка старой Москвы отмечается их связь между собою:

«Мудрено ли после этого, что большинство торговых людей предпочитает Бирже трактиры и почти все дела и переговоры происходят в них. Трактир — истинная биржа для Москвы...»².

Все отмеченные детали позволяют сделать вывод, что у Ефремова, вопреки категоричным возражениям Цявловского, основания для предположения о московском происхождении баллады имелись — как и для сомнений по поводу того, мог ли юный Пушкин, если бы он действительно являлся автором баллады, знать такие подробности о Москве, «вывезенный из нее почти ребенком». Но все это, конечно, не главное.

Куда важнее, что с версией об авторстве Пушкина плохо согласуются некоторые известные нам факты. Так, комментарии к «Монаху» в уже упомянутом нами издании лицейской лирики Пушкина содержат следующие сведения об этом произведении:

¹ Елистратов В. С. Указ. соч. С. 56.

² Там же. С. 56–57.

«Первое упоминание о "Монахе" принадлежит В. П. Гаевскому, указавшему, что в "первые два года лицейской жизни" Пушкин "сочинил, в подражание Баркову, поэму «Монах», которую уничтожил, по совету одного из своих товарищей <...>". Гаевский опирался на свидетельство А. М. Горчакова, в 1870–1880-е гг. трижды рассказывавшего, что уговорил Пушкина уничтожить лицейское стихотворение "довольно скабрёзного свойства" <...>; в другом месте он называл его "дурной поэмой" <...> и "Монахом" <...>. Автограф "Монаха" однако сохранился, причем в бумагах самого же Горчакова, где он и был обнаружен в 1928 г. Тетради с текстом поэмы потрепаны; по видимому, они ходили между лицеистами»¹.

Необходимо осмыслить эти сведения и сделать необходимые выводы.

Во-первых, Горчаков, один из ближайших товарищей Пушкина, считал «Монаха» стихотворением «довольно скабрёзного свойства», что по понятиям того времени было суждением достаточно справедливым.

Проиллюстрируем это следующим отрывком:

Люблю тебя, о юбка дорогая,
 Когда, меня под вечер ожидая,
 Наталья, сняв парчовый сарафан,
 Тобою лишь окружит тонкий стан.
 Что может быть тогда тебя милее?
 И ты, вясь вокруг прекрасных ног,
 Струи ручьев прозрачнее, светлее,
 Касаешься тех мест, где юный бог
 Покоится меж розой и лилеей.

Иль как Филон за Хлоей побежав,
 Прижать ее в объятия стремится,
 Зеленый куст тебя вдруг удержав...
 Она должна, стыдясь, остановиться.

¹ Пушкин А. С. Стихотворения лицейских лет 1813–1817. С. 417.

Но поздно все, Филон, ее догнав,
С ней на траву душистую валится,
И пламенна, дрожащая рука
Счастливого любовью пастуха
Тебя за край тихонько поднимает...
Она ему взор томный ослабляет,
И он... но нет; не смею продолжать...
Я трепещу, и сердце сильно бьется...

Кроме того, в «Монахе» весьма заметны антиклерикальные мотивы, как, например, в следующем отрывке:

И слышал я, что будто старый поп,
Одной ногой уже вступивший в гроб,
Двух молодых венчал перед налоем —
Черт прибежал амуров с целым роем;
И вдруг дьячок на крылосе всхрапел,
Поп замолчал — на девицу глядел,
А девица на дьякона глядела,
У жениха кровь сильно закипела,
А бес всех их к себе же в ад повел.

Поэтому совет Горчакова уничтожить текст «Монаха» был достаточно обоснованным. Хранить рукопись в стенах лицея было небезопасно.

Немаловажным обстоятельством в этой связи представляется и указание Гаевского, что «Монах» сочинен «в подражание Баркову», которое М. А. Цявловский, в соответствии с принятой в «Комментариях» методологией, отвергает как недостовверное (достоверно лишь то, что не противоречит его версии!). Он уверенно заявляет: «Ошибочно утверждение Гаевского, не знавшего текста "Монаха", что эта поэма написана в подражание Баркову»¹.

¹ Цявловский М. А. Комментарии. С. 161.

Но Горчаков-то текст «Монаха» знал, — возразим мы М. А. Цявловскому, — и именно поэтому считал поэму столь скабрезной, что настоятельно советовал Пушкину ее уничтожить¹.

Кроме того, Гаевский, сообщая что-то о «Монахе» или о «Тени Баркова», только пересказывал слышанное им от кого-то. При этом его сообщение о «Тени Баркова» М. А. Цявловский признал достоверным свидетельством, а его же сообщение о «Монахе» посчитал ошибочным.

Тем самым он продемонстрировал нам, что вообще сообщения Гаевского (а значит, и те, на которых была выстроена его версия об авторстве Пушкина) могут подвергаться сомнению.

Во-вторых, Горчаков, как следует из приведенных фактических подробностей, не знал о существовании «Тени Баркова» (иначе он, безусловно, посоветовал бы Пушкину уничтожить в первую очередь именно балладу). Таким образом, сообщение Гаевского о широком хождении баллады среди лицеистов не подтверждается: Горчаков, знавший «Монаха», о «Тени Баркова», по-видимому, не был осведомлен.

В-третьих, маловероятно, чтобы Пушкин, уничтожив текст «Монаха», не уничтожил бы текста «Тени Баркова», если бы действительно являлся автором баллады. Ведь ее хранение и распространение в стенах лицея было бы несоизмеримо рискованнее, чем хранение и распространение «Монаха».

Вообще возможности ее хождения между лицеистами противоречит то место «Записок о Пушкине» Пущина, где лицейский друг поэта рассказывает историю создания эпиграммы «От всенощной, вечер, идя домой...», завершающейся, как известно, непристойностью.

Эпиграмму эту Пушкин прочел и Кайданову, который, взяв его в назидание за ухо, высказал следующее предостережение

¹ Конечно, с точки зрения сегодняшнего читателя, суждение Горчакова, быть может, выглядит слишком строгим в моральном отношении, но это означает лишь то, что наши представления о пристойности существенно отличаются от представлений, принятых в русском образованном обществе в начале XIX века.

от публичного исполнения подобного рода сочинений: «Не советую вам, Пушкин, заниматься такой поэзией, особенно кому-нибудь сообщать ее. И вы, Пуцин, не давайте волю язычку»¹. Завершается этот эпизод весьма примечательным признанием Пуцина, исключающим предположения о возможности широкого распространения в лице сочинений непристойного характера:

«Хорошо, что на этот раз подвернулся нам добрый Иван Кузьмич, а не другой кто-нибудь»².

Итак, Пушкин, если бы он был автором «Тени Баркова», конечно, уничтожил бы рукопись баллады, но в таком случае никаких списков «Тени Баркова» не существовало бы, как не было списков «уничтоженного им "Монаха"».

В-четвертых, не названные Гаевским лицейские товарищи поэта за давностью лет могли посчитать «Тенью Баркова», ставшей известной им позже, именно «Монаха», отсюда и их утверждения, что «Монах» был написан «в подражание Баркову». В связи с последним предположением очень важным представляется то обстоятельство, что информатор Гаевского об истории создания «Тени Баркова» авторство Пушкина ничем не подтвердил. Таким, пусть косвенным, свидетельством могла стать ее копия, выполненная кем-то в те же годы, когда баллада якобы была написана Пушкиным. Но такой копии не существует.

М. А. Цявловский, в распоряжении которого имелось семь списков баллады, засвидетельствовал это достаточно определенно: «Наиболее старым из известных нам текстов "Тени Баркова" является текст в сборнике, представляющем собой тетрадь в 8° (21 × 14 см) в бумажном переплете с кожаным корешком»³.

Этот текст М. А. Цявловский обозначил буквой «С» и датировал предположительно серединой XIX века. Следовательно, текст, опубликованный Гаевским в 1863 году, был более новым

¹ Пуцин И. И. Записки о Пушкине // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 88.

² Пуцин И. И. Указ. соч. С. 88.

³ Цявловский М. А. Комментарии. С. 167.

по сравнению со списком «С», и его Цявловский обозначил буквой «Г»¹.

То есть из описания исследователя, мнение которого в данном вопросе мы не смеем оспаривать, следует, что текст баллады, опубликованный Гаевским в 1863 году, никакого отношения к лицу пушкинского времени не имеет. Бывшие лицеисты не хранили его в течение десятилетий — он имеет более позднее происхождение.

Поэтому можно уверенно утверждать, что не только автографа, но и списка баллады, относящегося ко времени пребывания Пушкина в лицее, не обнаружено. В этом существенное отличие ситуации с «Тенью Баркова» от ситуации с «Монахом».

Таким образом, никаких фактических оснований считать балладу пушкинским произведением у М. А. Цявловского не было: нет автографа, нет копии, авторизованной Пушкиным, нет ни одной копии, относящейся к лицейской поре, а также, как признавал сам Цявловский, «ни в писаниях самого Пушкина, ни в воспоминаниях о нем, кроме приведенных Гаевским рассказов товарищей (не названных Гаевским. — В. Е.) по лицу, о балладе нет ни слова»².

Тем удивительнее безапелляционная уверенность Цявловского в авторстве Пушкина.

6

Однако, по утверждению Е. С. Шальмана, автора заметки, предваряющей публикацию баллады в журнале *Philologica*, М. А. Цявловский в «Комментариях» «блестяще разрешил» проблему обоснования атрибуции «Тени Баркова»³.

При этом Е. С. Шальман обозначил следующие основные этапы работы исследователя:

¹ Цявловский М. А. Комментарии. С. 16–171.

² Там же. С. 228.

³ *Philologica*. 1996. Т. 3. С. 135.

- «контаминировал полный текст произведения»;
- «проанализировал историю "Тени Баркова" в пушкиноведении»;
- «составил почти исчерпывающий список лексических и фразеологических совпадений баллады с ранними лицейскими стихотворениями Пушкина»;
- «обратился к проблеме пушкинского сквернословия»¹.

Рассмотрим все эти этапы по порядку, предложенному Е. С. Шальманом.

«Контаминированный полный текст баллады» уже рассматривался нами, и его рассмотрение будет продолжено в дальнейшем. Остановимся здесь лишь на самом процессе контаминации (соединения текстов разных редакций одного произведения). На этом этапе работы М. А. Цявловским, исследователем, безусловно выдающимся и весьма уважаемым нами, допущена, на наш взгляд, серьезная ошибка методологического характера. Будучи непреклонно уверенным в авторстве Пушкина, исследователь последовательно «улучшал» разные редакции баллады, по мере сил повышая их версификационный уровень (хотя, как мы показали ранее, контаминированный текст в отношении художественном тоже весьма убог). Однако если балладу написал не Пушкин, а какой-то не известный нам посредственный стихотворец, то, «улучшая» текст баллады, исследователь только удалялся от неведомого нам подлинника. Поэтому, по нашему убеждению, контаминированию текста должно предшествовать установление его истинного автора, подтвержденное объективными и неопровержимыми доказательствами. В случае же с «Тенью Баркова» исследователь действовал в обратной последовательности: сначала из разных редакций был контаминирован текст (исходя из предполагаемого авторства Пушкина), а затем была предпринята попытка доказать это предполагаемое авторство с помощью того же искусственно созданного текста.

¹ Там же. С. 135.

Что касается анализа «истории ”Тени Баркова“», отмеченного Е. С. Шальманом, то самые существенные моменты этого анализа мы уже рассмотрели в предыдущем разделе настоящей статьи и не нашли в нем достаточно убедительных доказательств авторства Пушкина.

Не имеет, по нашему убеждению, серьезного значения для атрибуции баллады и «проблема пушкинского сквернословия», досконально рассмотренная М. А. Цявловским. Она, быть может, имела некоторую актуальность для тех лет, когда писались «Комментарии»: по представлениям того времени, сквернословие великого национального поэта должно было быть, хоть в какой-то степени, установлено как факт, иначе издание просто могло бы подвергнуться нападкам всевозможных блюстителей общественной морали. На самом же деле, эта «проблема» и без М. А. Цявловского прекрасно известна каждому, кто читает Пушкина не по школьной хрестоматии. Красноречивых пропусков слов, легко угадываемых русским читателем, немало даже в массовых изданиях классика. То, что ученый систематизировал и описал чуть ли не все случаи использования поэтом ненормативной лексики, вряд ли могло приблизить его к доказательству причастности Пушкина к созданию порнографической баллады. С воодушевлением использовали «русский титул» и Вяземский, и Дельвиг, и Языков, и Полежаев, и брат поэта Лев Сергеевич, и многие друзья, знакомые, собратья по перу.

Остается рассмотреть «почти исчерпывающий список лексических и фразеологических совпадений баллады с ранними лицейскими стихотворениями Пушкина», используя для этого ее контаминированный текст. Список этот является по существу главным аргументом в глазах приверженцев версии авторства Пушкина.

По утверждению М. А. Цявловского, он «сличил» «сто два стиха баллады, в большей или меньшей степени схожих со стихами сорока одного стихотворения 1813–1816 гг. Пушкина»¹.

¹ Цявловский М. А. Комментарии. С. 228.

На самом деле, из названных ста двух стихов баллады пять нужно исключить по той причине, что они сопоставлены лишь с дубиальными стихами из стихотворений «Гараль и Гальвина» (стихи 171 и 275 баллады) и «Исповедь бедного стихотворца» (стихи 6, 41, 44), принадлежность которых Пушкину, несмотря на предпринятые в свое время М. А. Цявловским усилия, до сих пор не считается доказанной, а 232-й стих баллады следует исключить из общего подсчета потому, что предложенное М. А. Цявловским сопоставление неубедительно. Так, 232-й стих баллады («И тёмно становилось...») он сопоставляет со стихом из «Козака» (1814) — «Ночь становится темнее». Не трудно заметить, что резко характерному ударению в слове «тёмно» нет соответствия в приведенном М. А. Цявловским стихе Пушкина.

К сожалению, весь «анализ» М. А. Цявловского избилует подобного рода натяжками и неточностями.

Вот ряд характерных примеров.

Стихам баллады 9 («Всяк, пуншу осушив бокал») и 239 («И водкою налив бокал») М. А. Цявловский находит следующие «лексические и фразеологические» соответствия у Пушкина: «Что предвидит всяк» («Козак»); «Стаканы *сушит* все до дна» («Красавице, которая нюхала табак»); «И *пунш*, и грог душистый» («Пирующие студенты»); «Скорее скатерть и *бокал*» («Пирующие студенты») — всего 13 подобных примеров!

Что же общего между стихом баллады 9 и стихом из «Козака»? Оказывается, всего лишь словечко «всяк», с пушкинским стихом «стаканы *сушит* все до дна» — общее слово «сушить» («осушать»), с одним стихом из «Пирующих студентов» общее слово «пунш», с другим — «бокал». Таким способом установлено «лексическое и фразеологическое» совпадение двух стихов баллады и девяти (!) стихотворений Пушкина (можно подыскать и значительно большее количество подобных соответствий!), в которых встречаются следующие общие слова: всяк, пунш, осушить (сушить), бокал!

В то же время почему-то оставлено без внимания столь важное обстоятельство, что выражение «водкою налив бокал» —

совершенно не пушкинское, у Пушкина ни в одном из произведений за весь период творчества водка в бокал не наливается (в отличие от пунша, грога, шампанского)!

По такому же принципу находятся соответствия для стиха баллады 19 («Хвала тебе, расстрига-поп»): «Хвала тебе, богиня!» («Мечтатель»); «Хвала, о юноша герой!» («Принцу Оранскому»); «И прилечу расстригой» («К сестре»); «Попов я городских» («Городок»); «И слышал я, что будто старый поп» («Монах»); «С нахмуренным попом» («К Пущину»). Этим примером охвачено 6 стихотворений Пушкина!

Но слова эти слишком обиходны, и, конечно, использовал их в стихах в начале XIX века не только Пушкин.

А вот еще один впечатляющий пример анализа лексики баллады.

Одному стиху из «Городка» — «Вотще даны мне розы» — нашлось соответствие сразу в четырех стихах «Тени Баркова» (25, 29, 33, 211): «Повис! вотще своей рукой»; «Вотще! Под бешеным попом»; «Вотще! Е**ак лишился сил»; «Вотще му** свои трясет».

Что общего выявлено в процессе научного сопоставления?

Словцо «вотще»!

В результате предпринятого анализа М. А. Цявловский установил, что автор баллады использовал следующие (в большинстве своем довольно обиходные) слова, встречающиеся, естественно, и в лицейской лирике Пушкина: тень, молодец, всяк, пунш, осушить, бокал, багряный, хвала, расстрига, поп, жрец, вотще, пасть (пал, пала), длань, полуночный, дитя, кряхтеть (кряхтя), зардеться, вдруг, сиять, детина, вещать, привидение, предатель, гений, чудо, вмиг, сокрыться, гудок, смычок, петь, последовать, певец, черт, девка, чернец, красота, гласить, венчать, трактир, край, пиит, пол (физиологич.), воспеть, являться, поле, тиран, пришлец, прелюбодей, слабеть, вянуть, скошенный, увы, уж, несчастный, ах, яриться, речь (рек, рекла), спать, поэт, призрак, предстать, пыхать (пышет), пылать, днесь, отверзать, награждать, друзья¹.

¹ Цявловский М. А. Комментарии. С. 221–228.

Последовательность слов в нашем перечне в точности повторяет последовательность их рассмотрения ученым.

Особенно впечатляющи в своей убедительности совпадения следующих слов: всяк, днесь, ах, уж, увы, вотще, вдруг, вмиг. Да и остальные слова, как мы уже отметили, весьма обиходны. Все эти слова, за исключением нескольких («молодец», «пунш», «расстрига», «детина», «смычок», «прелюбодей»), встречаются, например, и у Жуковского в произведениях, написанных до 1817 года, что мы подтверждаем соответствующим списком, прилагаемым к настоящей статье.

Таких примеров сопоставления по одному слову у М. А. Цявловского — 68, что охватывает 79 стихов баллады из 102-х, продекларированных им самим. На самом же деле, из 102-х стихов нужно еще вычесть 6 отвергнутых нами раньше. Следовательно, на долю собственно «фразеологических совпадений» приходится менее 20-ти.

Приведем их перечень.

«Тень Баркова»:

- 1) «зимним вечерком» (строфа I);
- 2) «хвала тебе» (строфа II);
- 3) «над хладной одой» (строфа IV);
- 4) «сквозь ночную мглу» (строфа V);
- 5) «часы досужны» (строфа VIII);
- 6) «Прокляты Аполлоном» (строфа IX);
- 7) «Бесмысленным поэтам» (строфа IX);
- 8) «вмиг исчез призрак» (строфа X);
- 9) «доволен будешь мной» (строфа X);
- 10) «велик Барков» (строфа XI);
- 11) «Поет свои куплеты» (строфа XII);
- 12) «ворота на замок» (строфа XIII);
- 13) «Девицу престарелу, ... поседелу» (строфа XVI);
- 14) «сумрачную тень» (строфа XVIII);
- 15) «скрипя, шатнулась дверь» (строфа XIX);
- 16) «время быстро мчалось» (строфа XX);
- 17) «пала в прах» (строфа XXIII).

Лицейская лирика Пушкина:

- 1) «Под зимний вечерок» («Городок»);
- 2) «Хвала тебе» («Мечтатель»);
- 3) «Холодных од» («К Галичу»);
- 4) «в тьме ночной» («Воспоминания в Царском Селе»);
- 5) «досужный час» («Пирующие студенты»);
- 6) «проклятый Аполлоном» («Монах»);
- 7) «бессмысленных поэтов» («К Батюшкову»);
- 8) «вмиг сей призрак исчезает» («Монах»);
- 9) «доволен будешь мной» («Монах»);
- 10) «Велик, велик Свистов» («Городок»);
- 11) «поют куплеты» («Послание к Галичу»);
- 12) «двери на замок» («К Галичу»);
- 13) «моську престарелу, ... поседелу» («К сестре»);
- 14) «сумрачную тень» («К сестре»);
- 15) «со скрипом дверь шатнулась» («Монах»);
- 16) «но быстро день за днем умчался» («Послание к Юдину»);
- 17) «падет во прах» («К Лицинию»).

Любопытно, что часть этих фразеологизмов (12 из 17) встречается и у Жуковского в произведениях, написанных до 1817 года. Приведем их в принятой ранее нумерации:

- 1) «Крещенский вечерок» («Светлана»);
- 2) «Хвала тебе» («Певец во стане русских воинов»);
- 4) «во мгле ночной» («Варвик»);
- 5) «часы беспечного досуга» («Послание к Плещееву»);
- 6) «Прокляты небесами» («Громобой»);
- 7) «оды пачкунов без смысла» («Послания к кн. П. А. Вяземскому и В. Л. Пушкину»);
- 8) «призрак пропал» («Эолова арфа»), «вмиг / Из очей пропали», («Светлана»),
- 12) «двери на замок» («К Батюшкову»);
- 14) «чёрна тень» («Громобой»);
- 15) «Дверь шатнулась... скрипит» («Светлана»);

16) «за днями мчатся дни», «пролетает / Быстро время» («Адельстан»);

17) «пала в прах» («Светлана»).

Однако нельзя не отметить, что баллада имеет фразеологические совпадения со стихами Жуковского, соответствия которым нет у Пушкина.

«Тень Баркова»:

1) «И вкривь, и вкось, и прямо» (строфа IV);

2) «солнце за горой» (строфа X);

3) «Тиранка бедного попа» (строфа XIV)¹;

4) «Как жертву Асмодея» (строфа XV);

5) «И тёмно становилось» (строфа XX);

6) «дано в удел» (строфа XXII).

Произведения Жуковского до 1817 года:

1) «вперед, и взад, и вкось» («Мартышка»);

2) «солнце за горой» («Людмила», «Тургеневу, в ответ на его письмо»), «солнце за горою» («Громобой»);

3) «Тиранка Дульцинея» («Романсы из "Дон Кихота"»);

4) «как некий Асмодей» («К Воейкову»);

5) «Тёмно в зеркале» («Светлана»);

6) «дан удел» («Цветок»).

Наличие словесных и фразеологических совпадений с Жуковским позволяет предположить, что те же совпадения с пушкинскими текстами вторичны. Автор «Тени Баркова», пародируя баллады Жуковского «Громобой», пародировал вообще всю лексику Жуковского. А пушкинская лексика лицейского периода была производной от той же лексики — вот главная причина лексических (на уровне одного слова) и фразеологических совпадений «Тени Баркова» с пушкинскими стихами.

¹ Редакция стиха 167 из списка баллады, обозначенного М. А. Цявловским буквой «А», — см.: Цявловский М. А. Комментарии. С. 188.

Кроме того, анализ лексики, предпринятый М. А. Цявловским, выглядит слишком односторонним: рассматривались лишь те стихи баллады, которые имели, по его мнению, соответствия в лицейской лирике Пушкина, но совершенно оставлены без внимания и объяснения те многочисленные случаи, когда лексика баллады существенно отличается от пушкинской (мы не включаем сюда, разумеется, непристойные слова и выражения, почти не встречающиеся в пушкинских произведениях этого времени).

Дабы восстановить нарушенную М. А. Цявловским объективность, мы рассмотрели именно случаи существенного расхождения языка баллады с пушкинским. Ниже, по возможности, кратко излагаются полученные результаты.

1. Выражения, Пушкину не свойственные, не встречающиеся в его творчестве (всего 17):

- 1) «расстриженным попом» (строфа I);
- 2) «корнет уланский» (строфа I);
- 3) «третьей гильдии купец» (строфа I);
- 4) «волосы клокочет» (строфа III);
- 5) «ломает в стих» (строфа IV);
- 6) «как будто бы для смеха» (строфа IV);
- 7) «огнистыми очами» (строфа V);
- 8) «лихой предатель изменил» (строфа VI);
- 9) «солнце за горой» (строфа X);
- 10) «как в масле сыр кататься» (строфа XIII);
- 11) «тиран для бедного попа» (строфа XIV);
- 12) «с робостью стыдливой» (строфа XV);
- 13) «как жертву Асмодея» (строфа XV);
- 14) «весенний знак» (строфа XVII);
- 15) «утро пробудилось» (строфа XVIII);
- 16) «время быстро мчалось вдаль» (строфа XX);
- 17) «водкою налив бокал» (строфа XX).

2. Слова, не употреблявшиеся Пушкиным в лицейский период творчества (всего 11): Асмодей, биржа, гильдия, вкось, вкривь, интрига, Приап, подьячий, призрак, святцы, тёмно.

Эти слова если и употреблялись Пушкиным в послелицейском творчестве, то достаточно редко. Например, «Асмодей» (имя адского духа, демона из баллады Жуковского «Громобой») после лица встречается у Пушкина, но не в своем прямом значении, а как прозвище Вяземского, принятое в «Арзамасе».

3. Слова, вообще отсутствующие в «Словаре языка Пушкина» (всего 17): дыбом, вколотить, водрузиться, задорно, измяться, каплун, керч, корпеть, отвиснуть, портища, прореха, пятерня, расстриженный, сноп, устрашиться, ядреный.

Нельзя не обратить внимания на то, что значительная часть слов имеет ярко выраженную стилистическую окраску, подчеркивающую их простонародность, чего не скажешь о тех словесных совпадениях с пушкинской лирикой, которые отмечены М. А. Цявловским.

Кроме того, отмеченные нами в тексте баллады особенности речи: «ломает в стих», «дыбом», «время, мчащееся вдаль», «как будто бы для смеха», «волосы клокочет», пробуждающееся утро («уж утро пробудилось»), характерное ударение в слове «тёмно»¹, водка, разливаемая по бокалам («водкою налив бокал»), — позволяют предположить в авторе человека невысокого социального уровня.

Таким образом, анализ лексики баллады (непристойные слова и выражения, как уже было отмечено, в расчет не принимались) дал следующие результаты:

- выражений, вообще не свойственных Пушкину, — 17;
- слов, отсутствующих в «Словаре языка Пушкина», — 17;
- слов, не употреблявшихся Пушкиным в лицейский период творчества, — 11.

Для баллады объемом в 288 стихов полученные показатели весьма существенны, особенно если учесть, что значительная

¹ «Тёмно», встречающееся в единичных случаях у Жуковского и Пушкина, является одним из признаков намеренной стилизации под народную речь, например, в балладе Жуковского «Светлана».

часть текста, как уже отмечено выше, была исключена из рассмотрения.

Но все же, справедливости ради, возвратимся к отмеченным М. А. Цявловским фразеологическим совпадениям текста баллады с пушкинской лирикой, соответствия которым нет в произведениях Жуковского: «над холодной одой»; «доволен будешь мной»; «Велик Барков»; «Поет свои куплеты»; «...престарелу, ... поседу».

Сюда же можно отнести фразу «Прокляты Аполлоном», имеющую точное соответствие у Пушкина и не столь точное у Жуковского. Мы имеем шесть бесспорных случаев фразеологических совпадений, отмеченных М. А. Цявловским. Конечно, это не так много по сравнению с отмеченными нами случаями разительных стилистических отличий языка баллады от пушкинского. Но все же такой факт требует объяснения. Нам представляется, что выявленные М. А. Цявловским фразеологические совпадения свидетельствуют о том, что автор баллады, превосходно знакомый с творчеством Жуковского, избранным для пародии, столь же хорошо знал и лицейскую лирику Пушкина.

Нельзя исключать и возможность внесения в текст баллады нескольких пушкинских словосочетаний при многочисленных случаях переписки версификационно слабого, а местами малограмотного сочинения, более образованными, чем автор, любителями подобного рода литературы. На возможность корректировки текста «под Пушкина» при переписках баллады указывает вариативность строфы 9, имеющей существенные разночтения в разных редакциях текста.

М. А. Цявловский остановился на следующем варианте:

Не пой лишь так, как пел Бобров,
 Ни Шелехова тоном.
 Шихматов, Палицын, Хвостов
 Прокляты Аполлоном...¹

¹ Philologica. 1996. Т. 3. С. 140–141.

Однако в других списках фамилии поэтов меняются: место Боброва занимают то Шатров, то Барков, то некий Лампров; Шелехов в некоторых списках заменен Шаликовым; троица «Шихматов, Палицын, Хвостов» в процессе переписок претерпела особенно много изменений:

- 1) «Шаликов, Шаховской, Хвостов»;
- 2) «Кропоткин, Шахматов, Хвостов»;
- 3) «Кропоткин, Шаховской, Хвостов».

Есть и редакция, полностью перенесенная из пушкинской эпиграммы «Угрюмых тройка есть певцов...»: «Шихматов, Шаховской, Шишков»¹.

Немаловажным обстоятельством является то, что по датировкам, предложенным самим М. А. Цявловским, эпиграмма написана через полгода после баллады. Если бы он включил в контаминированный текст именно последнюю редакцию, мы имели бы еще одно полное текстуальное совпадение с Пушкиным! Но автор «Комментариев» избрал другой вариант, проявив в данном случае безусловную объективность.

Такое количество вариантов фамилий поэтов в разных редакциях баллады не может принадлежать ее автору — это, конечно, результат сотворчества многочисленных переписчиков.

Иное предположение высказал недавно С. А. Фомичев, как и мы, убежденный в «версификационной слабости этого произведения» («Тени Баркова». — В. Е.), едва ли возможной даже у раннего Пушкина. Фомичев не исключает, что «"Тень Баркова" — плод коллективного творчества; подобное озорство было распространенным в условиях закрытого мужского учебного заведения»².

Но, как бы то ни было на самом деле, в нашу задачу не входит установление истинного автора (или авторов) порнографической баллады и связанное с этим распутывание всех

¹ Цявловский М. А. Комментарии. С. 181.

² Фомичев С. А. О текстологии пушкинской лирики // С. А. Фомичев. Служенье муз. СПб., 2001. С. 170.

хитросплетений истории «Тени Баркова». Пусть этим занимаются ее поклонники.

Наша задача заключается в том, чтобы объективно оценить всю аргументацию М. А. Цявловского, утверждавшего, что баллада «Тень Баркова» написана Пушкиным.

Здесь мы рассмотрели «почти исчерпывающий, — по мнению Е. С. Шальмана, — список лексических и фразеологических совпадений баллады с ранними лицейскими стихотворениями» Пушкина, составленный М. А. Цявловским, и пришли к выводу, что известным исследователем творчества поэта были допущены при этом серьезные методологические ошибки, вызванные его чрезмерной увлеченностью собственной версией об авторстве Пушкина. В результате его анализ языка баллады, к сожалению, оказался весьма односторонним и недостаточно глубоким.

Утверждение Е. С. Шальмана, что М. А. Цявловский «блестяще разрешил проблему обоснования атрибуции "Тени Баркова"», на наш взгляд, не соответствует действительности.

В настоящей статье мы старались подойти к проблеме авторства Пушкина, поставленной М. А. Цявловским, по возможности, всесторонне: оценили художественный уровень баллады; рассмотрели на примерах из лицейской лирики Пушкина его отношение к обценной поэзии, в частности к Баркову, а также и его отношение к Жуковскому; проиллюстрировали взаимоотношения между юношей Пушкиным и Жуковским некоторыми биографическими фактами; критически рассмотрели историю «Тени Баркова», изложенную М. А. Цявловским, и его анализ языка баллады. В заключение мы можем заявить со всей ответственностью, что ни по одному пункту нашей программы не обнаружено никаких неопровержимых доказательств версии Цявловского. Версия эта остается всего лишь версией, не имеющей необходимого обоснования.

На этом можно было бы поставить точку, но совсем недавно было осуществлено новое издание порнографической баллады с именем Пушкина на титуле¹.

Нельзя не отметить прекрасное полиграфическое оформление, обстоятельные филологические и лингвистические комментарии и экскурсы этого издания. Беда лишь в том, что, положив в основу книги рассмотренные нами «Комментарии» М. А. Цявловского, издатели по существу не привели никаких новых аргументов в пользу авторства Пушкина. Да и где они могли их взять?

Отсутствие серьезных аргументов не могут заменить надуманные рассуждения публикаторов «Тени Баркова» о якобы имеющем место сходстве Пушкина-лицеиста с героем баллады. Это мнимое сходство они основывают на том, что в ранних стихотворных посланиях «К Наталье» (1813) и «К сестре» (1814) юный поэт называет себя «монахом», лицей — «монастырем», свою комнатку в лицее — «кельей». Не оставлена без внимания и «шаткая постель» из послания «К сестре», которая ассоциируется у публикаторов с «кроватью» в «Тени Баркова». Конечно, между лицеистом («монахом») и попом-расстригой, великовозрастным «детинкой», прошедшим, как говорится, огонь, воду и медные трубы, на самом деле, очень мало общего. Но главное даже не в этом: новые издатели баллады не могут не знать, что все литературные образы названных пушкинских посланий, привлечшие их повышенное внимание, навеяны весьма популярным в России в те годы стихотворением французского поэта Ж.-Б.-Л. Грессе «Обитель» ("La Chartreuse"). К нему же восходит известное стихотворение Батюшкова «Мои пенаты. Послание к Жуковскому и Вяземскому» (1812), на которое также ориентировался Пушкин в своих первых опытах. Оттуда же, кстати, почерпнута убогая постель, упоминаемая в послании «К сестре»:

¹ Пушкин А. С. Тень Баркова. Тексты. Комментарии. Экскурсы / Сост. И. А. Пильщиков и М. И. Шапир. М., 2002.

Стул ветхий, необитый
И шаткая постель...

Сравним со стихами Батюшкова:

В сей хижине убогой
Стоит перед окном
Стул ветхой и треногой
С изорванным сукном.
....
Там жесткая постель —
Все утвари простые.

Эта постель, вопреки заклинаниям наших оппонентов¹, имеет мало общего с кроватью в «Тени Баркова» (текст М. А. Цявловского):

Кровать там мягкая в пыли
Является дубова.

Впрочем, никакой такой кровати в новом издании баллады обнаружить не удастся — оказывается, в тексте ее произведена важная замена:

Постель там шаткая в пыли
Является дубова.

Но и при такой замене не все сходится у публикаторов баллады. Так, запыленность «постели» и в новом варианте текста продолжает свидетельствовать о том, что кровать эта особая, гостевая, находящаяся в особых монастырских покоях, не используемая повседневно. К тому же кровать дубовая, то есть хорошего качества. Вряд ли такая кровать может быть шаткой, как в «келье» лицеиста.

¹ Пушкин А. С. Тень Баркова. С. 10.

Но бог с ней, с кроватью (постелью)! Гораздо важнее сейчас рассмотреть, как обосновывается отмеченное нами изменение текста.

В пояснениях к новому тексту баллады, контаминированному нашими издателями, сообщается: «Этот вариант поддерживается лицейским посланием Пушкина, где в описание "монастырской кельи" поэта входит "шаткая постель"»¹.

А в предисловии к новому тексту, с которого мы и начали рассмотрение этого издания, новая редакция стиха с «шаткой постелью» вместо «мягкой кровати» используется в цепочке доказательств сходства между «юным лицеистом и попом-расстригой»: «В послании "К сестре" (1814) поэт называет Лицей "монастырем", себя — "небогатым чернецом", а свою комнату — "мрачной кельей", где стоит "шаткая постель" (*эта деталь фигурирует и в "Тени Баркова"*)»².

Вот такая эквилибристика! А как она, «эта деталь», попала в балладу? Ведь в тексте, контаминированном М. А. Цявловским, ее не было...

И это не единичный случай, это методологический принцип контаминации: сначала «среди множества вариантов» текста были выбраны те, что больше соответствуют пушкинской «фонетике, грамматике, лексике и фразеологии»³, а затем составленный таким способом текст используется для доказательства авторства Пушкина!

Вообще-то ничего нового в методологии, демонстрируемой нашими издателями, нет. Ее, как мы отметили ранее, разработал и применил М. А. Цявловский в «Комментариях» к балладе, но он хотя бы не допускал столь явных оплошностей...

Укажем здесь также на одно существеннейшее отличие ранних стихов Пушкина от баллады. Таким отличием является насыщенность пушкинских стихов отсылками к западноевропейским литературным, музыкальным и живописным

¹ Там же. С. 58.

² Там же. С. 10.

³ Там же. С. 29.

произведениям, находившимся в сфере внимания русской образованной публики того времени. В послании «К Наталье» это *Селадон* (по имени героя романа О. Д. Юрфе «Астрея»), *Назора* (персонаж оперы А. М. К. Саккини «Обманутый скупой»), *Опекун и Розина* (персонажи комедии Бомарше «Севильский цирюльник»), *монах* (образ, восходящий к «Обителю» Грессе).

То же видим и в послании «К сестре»:

Жан-Жака ли читаешь,
 Жанлиса ль пред тобой?
 Иль с резвым Гамильтоном
 Смеешься всей душой?
 Иль с Греем и Томсоном
 Ты пренеслась мечтой...

А чуть далее новые примеры:

Иль звучным фортепяно
 Под беглою рукой
Моцарта оживляешь?
 Иль тоны повторяешь
 Пиччини и Рамо?

То же и в «Монахе», где связь с европейской культурой подтверждается упоминаниями Вольтера, Вийона, Жанны д'Арк, кармелитов и кратезианцев, Молока (имя беса, восходящее к поэме Мильтона «Потерянный рай»), Филона и Хлои, Дафны, Ньютона (Ньютона), Корреджио, Верне, Пуссена, Рубенса.

Напротив, в «Тени Баркова» совершенно нет западноевропейского культурного фона (исключение составляет лишь однократное упоминание Приапа, скорее всего появившегося здесь благодаря известной переводной оде Баркова, а не в результате знакомства с подлинником Пирона).

Это обстоятельство служит еще одним подтверждением правильности нашего предположения о том, что истинный автор

баллады принадлежал к иному социальному слою, нежели Пушкин.

Что же касается анализа «лексических и фразеологических совпадений» текста баллады с лицейской лирикой Пушкина, объективность которого в исполнении М. А. Цявловского уже рассмотрена нами, то нельзя не отметить, что в новом издании он усилен лишь в плане арифметических подсчетов:

«Цявловский не совсем точен: в языке лицейских произведений Пушкина он нашел параллели не к 102-м, а к 104-м стихам "Тени Баркова". В примечаниях нами добавлены параллели еще к 71 стиху "Тени"; в результате, установлены соответствия для 175 строк баллады, что составляет более 3/5 ее текста. Общее число установленных лексико-грамматических совпадений между "Тенью Баркова" и другими ранними произведениями Пушкина нам удалось увеличить почти в 6,5 раз: к 170 случаям такого рода, рассмотренным в "Комментариях" Цявловского, мы добавили 905 (из них 658 с прямым указанием адреса и 247 с отсылкой к "Словарю языка Пушкина")»¹.

Проиллюстрируем частично, за счет каких приращений (отмеченных самими издателями) столь существенно возросли арифметические показатели:

«В стихотворениях 1813–1816 гг. слово *вдруг*, помимо "Тени Баркова", употребляется еще 38 раз...»²; «наречие *уж* встречается более 70 раз...»³; «междометие *ах* в стихотворениях 1813–1816 гг. встречается 25 раз...»⁴ и т. д.

Вот такая внушительная арифметика для слишком доверчивых читателей! Наверное, если ввести в подсчет соединительные союзы, частицы, а быть может, еще и знаки препинания (а почему бы и нет, ведь анализ-то назван лексико-грамматическим), то будут «установлены соответствия» для всех 288 строк баллады, что составит 100 % текста!

¹ Пушкин А. С. Тень Баркова. С. 326.

² Там же. С. 318.

³ Там же. С. 323.

⁴ Там же. С. 324.

Весьма впечатляющим в ученых рассуждениях новых комментаторов выглядит уличение Пушкина в недостаточном знании греческой мифологии. Это производится по следующей схеме.

Сначала отвергается принятая М. А. Цявловским редакция начальных стихов строфы 9:

Не пой лишь так, как пел Бобров,
 Ни Шелехова тоном.
 Шихматов, Палицын, Хвостов
 Прокляты Аполлоном.

Эта редакция заменяется иной, почерпнутой из другого списка баллады, в которой место Аполлона занимает некий Фивский бог:

Не пой лишь так, как пел Бобров,
 Ни Шелехова слогом;
 Шихматов, Шиховской, Шишков
 Прокляты Фивским богом¹.

Затем эта замена инкриминируется Пушкину:

«Называя Аполлона Фивским богом, Пушкин допустил ошибку, основанную на ложной этимологии: он счел однокоренными словами мифоним Феб, или — в ”рейхлиновской“ транскрипции — Фив..., — и топоним Фивы; вряд ли стоит говорить, что культ Аполлона с Фивами никак не связан»².

Об этом действительно не стоит не только говорить, но и писать, когда речь идет о выпускнике Царскосельского лицея.

Что культ Аполлона связан не с Фивами, а с Дельфами можно почерпнуть в любом пособии по греческой мифологии. Кстати, и Пушкин называл Аполлона «Дельфийским идолом» («В начале жизни школу помню я...»). Предполагать, что он мог считать

¹ Пушкин А. С. Тень Баркова. С. 35–36.

² Там же. С. 54.

Аполлона «Фивским богом», весьма безответственно, но чего не сделаешь ради всепоглощающей идеи! И все же амбиции комментаторов, уличающих Пушкина в незнании элементарных вещей, представляются чрезмерными.

С другой стороны, редакция стиха с «Фивским богом» есть еще одно свидетельство недостаточной образованности истинного автора баллады, другие примеры отмечены нами ранее.

В заключение нельзя не отметить свежесть и оригинальность предложения публикаторов баллады пополнить «Словарь языка Пушкина» непристойными словами и выражениями, взятыми из «Тени Баркова» (разумеется, из редакции баллады, контаминированной именно нашими публикаторами)!¹

Здесь с лингвистической серьезностью даются названия мужского и женского половых органов (мужского — почему-то с латинским сопровождением *mentula*, а женского — без латинского сопровождения), их варианты, различные производные от них: уменьшительные (по-научному, «деминутив») и увеличительные (по-научному, «аугментатив»), а также новые значения глаголов и существительных, используемых при описании сексуального действия. Приведем отдельные, по возможности, наиболее безобидные примеры:

«битва — совокупление (перен.),

вколотить — ввести [половой член] (перен.),

впустить — ввести [половой член] (перен.),

глава (*glans penis*) — головка полового члена,

плешь (*glans penis*) — головка полового члена,

прореха (*rima pudenda*) — половая щель (перен.),

ездить — двигаться, находясь на сексуальном партнере,

ядренный — крепкий, твердый»².

Публикаторы порнографической баллады (при их знании предмета!) вполне могли бы предпринять издание, скажем, словаря сексуальных терминов, но им не терпится внести подобную

¹ Там же. С. 349.

² Там же. С. 349–352. Пунктуация, курсив, жирный шрифт — авторские. Почему отдельные слова имеют латинское сопровождение, а другие не имеют, не ясно. Видимо, для научного прикрытия навязчивой идеи.

лексику именно в «Словарь языка Пушкина». Что это — откровенный эпатаж читающей публики, попытка легитимизации непристойной лексики (так сказать, некий пробный шар) или просто побочный эффект постоянных занятий проблемами обшеченной литературы?

У нас нет ответа на эти вопросы.

Отметим лишь, что подобная наукообразная шаловливость не мешает публикаторам «Тени Баркова» считать, что их труд отвечает всем требованиям академического издания. Более того, отвечает предворяющему книгу грифу Академии наук, расположенному, правда, почему-то на авантитуле...¹

Но мы несколько отвлеклись от темы. Пора подвести окончательный итог нашим размышлениям.

Предисловие к книге, воспроизводящей текст и историю «Тени Баркова», завершается следующим весьма любопытным признанием: «Без риска ошибиться можно утверждать, что текста, публикуемого ниже, среди рукописей Пушкина не было никогда, — но каждая его строка *могла быть* написана Пушкиным именно так, а не иначе»².

Особенно красноречива здесь предположительность приведенного утверждения: не была написана, а именно «могла быть написана»! Откуда же в таком случае непоколебимая уверенность в том, что Пушкин написал бы порнографическую балладу именно так, как хотелось бы ее нынешним публикаторам? Что-то у них здесь не стыкуется.

А посему, «без риска ошибиться», мы полностью принимаем первую часть приведенного признания: такого текста («Тени

¹ Не так давно тоже с грифом Российской академии наук, но расположенным на титуле, вышло весьма авторитетное издание — 1-й том нового полного собрания сочинений А. С. Пушкина, где принадлежность порнографической баллады Пушкину подвергнута сомнению; в частности, там сообщается, что «Тень Баркова», «учитывая сложность вопроса о ее тексте и самом авторстве, будет включена в один из следующих томов, — вероятнее всего, наряду с другими дубиальными текстами» (*Пушкин А. С. Лицейские стихотворения 1813–1817 гг.* СПб., 1999. С. 547).

² *Пушкин А. С. Тень Баркова. Тексты. Комментарии. Экскурсы.* С. 32.

Баркова») «среди рукописей Пушкина не было никогда». Остальное следует отбросить как лукавое мудрствование. И поставить на этом точку.

ПРИЛОЖЕНИЕ

(Примеры лексических совпадений
в «Тени Баркова» и произведениях
В. А. Жуковского, написанных до 1818 года)

М. А. Цявловский установил, что автор «Тени Баркова» использовал следующие (в большинстве своем довольно обиходные) слова, встречающиеся и в лицейской лирике Пушкина:

1) тень, 2) молодец, 3) всяк, 4) пунш, 5) осушить, 6) бокал, 7) багряный, 8) хвала, 9) расстрига, 10) поп, 11) жрец, 12) вотще, 13) пасть (пал, пала), 14) длань, 15) полуночный, 16) дитя, 17) кряхтеть (кряхтя), 18) зардеться, 19) вдруг, 20) сиять, 21) детина, 22) вещать, 23) привидение, 24) предатель, 25) гений, 26) чудо, 27) вмиг, 28) сокрыться, 29) гудок, 30) смычок, 31) петь, 32) последовать, 33) певец, 34) черт, 35) девка, 36) чернец, 37) красота, 38) гласить, 39) венчать, 40) трактир, 41) край, 42) пиит, 43) пол, 44) воспеть, 45) являться, 46) поле, 47) тиран, 48) пришлец, 49) прелюбодей, 50) слабеть, 51) вянуть, 52) скошенный, 53) увы, 54) уж, 55) несчастный, 56) ах, 57) яриться, 58) речь (рек, рекла), 59) спать, 60) поэт, 61) призрак, 62) предстать, 63) пыхать (пышет), 64) пылать, 65) днесь, 66) отверзать, 67) награждать, 68) друзья¹.

Ниже приводятся примеры использования тех же слов в произведениях Жуковского, написанных до 1817 года, в порядке, принятом Цявловским, курсив везде наш:

¹ Цявловский М. А. Комментарии. С. 221–228. Слова «подьячий» и «в слезах» исключены нами из списка, так как Цявловский не нашел им соответствия у Пушкина.

- 1) «И много милых *теней* восстает» — вступление к старинной повести «Двенадцать спящих дев» (1810);
- 2) точное соответствие не найдено¹;
- 3) «И вслед ему *всяк час за ратью рать летела*» — «Ареопаг» (декабрь 1814 — январь 1815);
- 4) точное соответствие не найдено;
- 5) «И выпьем все до дна» — «К Батюшкову» (1812);
- 6) «...не найду ль волшебного *бокала*» — «Послания к кн. П. А. Вяземскому и В. Л. Пушкину» (1814);
- 7) «Между *багряных* лип чернеет дуб густой» — «Славянка» (1815); «*Багряным* блеском озаренны» — «Вечер» (1806);
- 8) «*Хвала* тебе, наш бодрый вождь» — «Певец во стане русских воинов» (1812);
- 9) точное соответствие не найдено;
- 10) «Едем, *поп* уж в церкви ждет» — «Светлана» (1808–1812);
- 11) «И Аполлонов *жрец* упрямый» — «Плач о Пиндаре» (1814);
- 12) «*Вотще* над мертвыми истлевшими костями» — «Сельское кладбище» (1802);
- 13) «Пред иконой *пала* в прах» — «Светлана» (1808–1812);
- 14) «Наполним кубок! меч во *длань!*...»; «Он махом мощной *длани*» — «Певец во стане русских воинов» (1812);
- 15) «На возмутившего *полуночным* приходом» — «Сельское кладбище» (1802);
- 16) «Спи, *дитя*, еще мгновенье» — «Адельстан» (1813);
- 17) «Как Расин *кряхтел* под тестом» — «К Воейкову» (1814);
- 18) «Однажды вечер знойный *рдел*» — «Вадим» (1814–1817); «Вдруг небо *рдеет*» — «Тленность» (1816);
- 19) «*Вдруг* — все тихо! мрак исчез» — «Пловец» (1812);
- 20) «Реин, в зареве *сияя*» — «Адельстан» (1814);
- 21) точное соответствие не найдено;

¹ Зато у Жуковского можно найти слова, использованные в «Тени Баркова», но отсутствующие у Пушкина: Асмодей, Приап, вкось, тёмно, призрак, тиранка, сноп.

- 22) «...вещать вам дерзаю» — «Абадонна» (1814); «Вещает Громобой» — «Громобой» (1810);
- 23) «Как привидение в тумане предо мною» — «Славянка» (1815);
- 24) «Бежит предатель сих дружин» — «Певец во стане русских воинов» (1812);
- 25) «Ах! гением моим любовь твоя была» — «Песня» (1806);
- 26) «О чудо! их Эдвин лобзает» — «Пустынник» (1812);
- 27) «Вот промчались... и миг» — «Светлана» (1808–1812);
- 28) «Из очей пропали» — «Светлана» (1808–1812); «Все вокруг молчит, призрак исчез» — «Славянка» (1815); «...как быстро скрылась ты» — «Вечер» (1806);
- 29) «И в гудок для пришлеца» — «К Воейкову» (1814);
- 30) точное соответствие не найдено;
- 31) «Так, петь есть мой удел» — «Вечер» (1806);
- 32) «Птичкой вслед за ней летит» — «Песня» (1808 или 1809);
- 33) «Здесь прах певца земля сокрыла / Бедный певец» — «Певец» (1811);
- 34) «За чертей, за мертвецов» — «К Воейкову» (1814);
- 35) «Девки боятся; на что их страшать небывальщиной» — «Красный карбункул» (1816);
- 36) «И вопит скорбно: "Где мой сын-чернец?"»; «И к матери идет чернец святой» — «Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди» (1814);
- 37) «В могущей красоте» — «К Батюшкову» (1812); «Блиста-ла красота младая» — «Алина и Альсим» (1814);
- 38) «Гласит: мужайтесь, чада!» — «Певец во стане русских воинов» (1812);
- 39) «Венчать предпочтительно» — «Свисток» (1810);
- 40) «В трактире тульском тишина» — «Любовная карусель, или Пятилетние меланхолические стручья сердечного любления» (1814);
- 41) «И небо с края в край зажглось» — «Громобой» (1810); «Уж вечер... облаков померкнули края» — «Вечер» (1806);
- 42) «И твой пиит» — «К Блудову» (1810);

- 43) «...нежный пол открыл» — «Пустынник» (1812);
- 44) «Мы воспевали чистою песнию Божию славу» — «Аббадонна» (1814);
- 45) «Является святая» — «Громобой» (1810);
- 46) «На поле бранном тишина» — «Певец во стане русских воинов» (1812);
- 47) «Всё, раболепствуя мечтам *тирана*, дань» — «Ареопагу» (1814);
- 48) «*Пришлец*, мы в родине своей» — «Певец во стане русских воинов» (1812);
- 49) точное соответствие не найдено;
- 50) «*Слабо* свечка глится» — «Светлана» (1808–1812);
- 51) «*Мальвина вянет* в цвете лет» — «Мальвина» (1808); «*Уж вянет* юности цветок» — «Стихи, сочиненные в день моего рождения» (1803);
- 52) «Лишает прелести цветка / Своей безжалостной ко-сою» — «К ***» («*Увы!* протек свинцовый год») (1804);
- 53) «*Увы!* пора любить» — «К Батюшкову» (1812); «*Увы!* уж и последний день» — «Громобой» (1810);
- 54) «*Уж* огласил их клич ту бездну мглы» — «Послание к Плещееву» (1812);
- 55) «Дарил *несчастных* он — чем только мог — слезою» — «Сельское кладбище» (1802); «*Несчастный!* он не снес презренья» — «Пустынник» (1812);
- 56) «Ах! гением моим любовь твоя была» — «Песня» (1806);
- 57) «На всех ярится смерть» — «Сельское кладбище» (1802);
- 58) «*Речет* пришлец: Врагов я зрел» — «Певец во стане русских воинов» (1812);
- 59) «*Сладко спать* в земле сырой» — «Людмила» (1808);
- 60) «Врагом *незнаемым поэт!*» — «Ивиковы журавли» (1813);
- 61) «Тоскующий и грозный *призрак* бродит» — «Варвик» (1814); «От ней удаляся, как *призрак* пропал» — «Эолова арфа» (1814);
- 62) «...*пред* темной завесой, / ...каждый *стоит*»; «...*стоять* перед нею с ничтожным покорством» — «Протокол двадцатого "арзамасского заседания"» (1817);

63) «И *пышет* пламя боя» — «Певец во стане русских воинов» (1812);

64) «Во взорах счастье *пылет*» — «Эпиесид» (1813);

65) «Там *днесь* его могила»; «*Днесь* голос лебединый» — «Певец во стане русских воинов» (1812);

66) «*Отверзта* дверь моя была» — «Пустынник» (1812);

67) «*В награду* от творца он друга получил» — «Сельское кладбище» (1802);

68) «И где же вы, *друзья*» — «Вечер» (1806).

В отличие от М. А. Цявловского и его последователей, мы не считаем, что арифметические показатели лексических совпадений могут служить решающим доказательством или опровержением авторства Пушкина, поэтому не подсчитываем, как это сделал Цявловский по отношению к Пушкину, в каком количестве произведений Жуковского встречаются слова, использованные в «Тени Баркова», — при желании такими примерами (за счет слов «тень», «всяк», «багряный», «хвала», «вотще», «длань», «вдруг», «привидение», «вмиг», «петь», «певец», «край», «поле», «увы», «уж», «ах», «призрак», «днесь», «поэт», «друзья») может быть охвачена значительная часть его творчества. Примеры фразеологических совпадений, в том числе таких, которые не имеют соответствия в лицейских стихотворениях Пушкина, приведены в тексте статьи — см. с. 139–140.

«ПОДЛИННЫ ПО ВНУТРЕННИМ ОСНОВАНИЯМ...»

(Заметки А. О. Смирновой-Россет)

В самом конце 90-х годов прошлого века вновь стали достоянием читателей «Записки» Александры Осиповны Смирновой-Россет, выдающейся представительницы петербургского светского общества, фрейлины императорского двора, приятельницы Пушкина в 30-е годы XIX века. Пушкин и есть главный герой ее воспоминаний. Несмотря на это, «Записки» впервые с 1895 года переизданы в полном объеме!¹

Дело в том, что из всей бесценной для нас мемуарной литературы о поэте они выделяются одной особенностью, которую сформулировала уже на первых страницах своего Предисловия к ним их составительница, дочь А. О. Смирновой-Россет, Ольга Николаевна Смирнова: «Самое любопытное в заметках, без сомнения, то, что касается разговоров императора с Пушкиным, которого он еще в 1826 году, в разговоре с графом Блудовым, назвал самым замечательным человеком в России»².

Эта особенность «Записок» и предопределила их судьбу после 1917 года. Они оказались не созвучными наступившей эпохе. Собственно, резко отрицательное отношение к ним так называемой прогрессивной интеллигенции определилось задолго до этого, что было ясно выражено в откликах П. Е. Щеголева, В. В. Вересаева, В. Ф. Саводника и др. Но лишь в советское время «Записки» были полностью исключены из научного обихода.

¹ Издание «Записки А. О. Смирновой, урожденной Россет» (М., 1999), на которое мы также будем ссылаться из-за содержащейся в нем статьи Л. В. Крестовой, является далеко не полным.

² *Смирнова-Россет А. О.* Записки. М., 2003. С. 6. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте указанием номера страницы в скобках.

Поводом для столь радикального решения послужила другая их особенность: составленные без учета временной последовательности событий по принципу сознательно провозглашенного автором, а затем и составителем, игнорирования хронологии «Записки» изобилуют самыми фантастическими анахронизмами, что и позволило объявить их подложными, принадлежащими перу дочери Смирновой-Россет, а не ей самой, и как тогда казалось, навсегда предать забвению.

Эта миссия была с успехом выполнена Л. В. Крестовой в ее известной статье 1929 года, на которой мы еще остановимся в дальнейшем.

А пока сосредоточимся на другом вопросе: как нам следует относиться к этим воспоминаниям сегодня?

1

Как и к любому произведению мемуарного жанра, к «Запискам», наверное, следует подходить с трезвым осознанием того обстоятельства, что память людская несовершенна и нельзя во всем безоговорочно доверять мемуаристу. В этом убеждении мы, как ни странно, невольно солидаризируемся с мнением одного из самых бескомпромиссных критиков «Записок» П. Е. Рейнбота, высказанным в его оставшейся неопубликованной монографии «Пушкин по запискам А. О. Смирновой. История одной мистификации»: «Воспоминаниям, даже вполне добросовестным, доверять опасно, память под конец жизни изменяет мемуаристам, и они часто уверены, что сами видели то, чего в действительности видеть не могли и только слышали от других, причем дошедшие слухи с течением времени изменялись и даже совершенно искажались. Примером таких несомненно добросовестных, но вполне фантастических воспоминаний являются воспоминания кн. Голицына...»¹

¹ Рейнбот П. Е. Пушкин по запискам А. О. Смирновой. История одной мистификации. С. 7. РГАЛИ. Ф. 4885. Оп. 1. Ед. хр. 875–876. К сожалению,

А наш случай еще отягощен, как мы об этом уже упомянули, большим количеством анахронизмов, что требует от читателя постоянного сопоставления сообщаемых сведений с другими известными нам фактами.

Вообще свидетельство современника никогда, на наш взгляд, не может служить единственным обоснованием научного вывода. Оно лишь подталкивает мысль исследователя в нужном направлении, дает ему ориентир, а также дополняет другие, более надежные свидетельства, если таковые имеются.

Это только в советское время те или иные сообщения мемуаристов возводились, когда нужно было хоть как-то обосновать определенную концепцию, в ранг научной истины. Так неоднократно поступал единомышленник Рейнбота в вопросе о «Записках» М. А. Цявловский.

Укажем в связи с этим лишь на один конкретный случай, касающийся пушкинского «Пророка», замысел которого, по утверждению Цявловского, явился реакцией поэта на казнь декабристов. Здесь уместно напомнить, чем обосновывал исследователь свой созвучный времени взгляд на этот пушкинский шедевр. Он апеллировал к сообщениям современников поэта как к единственному имевшемуся в его распоряжении аргументу: «В общей достоверности показания трех современников Пушкина, один из которых прямо ссылается на слова поэта, мы не имеем права сомневаться, — противопоставить их рассказам нечего»¹.

Аведь, оказывается, было, что противопоставить этому «показанию», и Цявловский не мог о том не знать! Противопоставить

полноценная полемика с неопубликованной работой не представляется целесообразной, но мы еще обратимся в дальнейшем к этому весьма добросовестному по количеству рассмотренных материалов, чрезвычайно (а может быть, местами чересчур) обстоятельному, но в целом, по нашему мнению, недостаточно убедительному исследованию. К сожалению, Рейнбот в этой работе взыскует не истины, а лишь подтверждений заранее сформулированного обвинительного приговора.

¹ Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартевым в 1851–1860 годах. С. 94.

ему можно было следующее сообщение Смирновой-Россет: «На другой день я (Пушкин. — В. Е.) был в монастыре; служка просил меня подождать в келье, на столе лежала открытая Библия, и я взглянул на страницу — это был Иезекииль. Я прочел отрывок, который перефразировал в "Пророке". Он меня внезапно поразил, он меня преследовал несколько дней, и раз ночью я написал свое стихотворение; я встал, чтобы написать его; мне кажется, что стихи эти я видел во сне. Это было незадолго до того, как Его Величество вызвал меня в Москву <...> Иезекииля я читал раньше; на этот раз текст показался мне дивно прекрасным, я думаю, что лучше его понял» (с. 317).

Из этой записи следует, что факт возникновения «Пророка» и его текст никак не связаны с политической злобой дня, в частности, с казнью декабристов. Изложенная в ней история создания «Пророка» в корне противоречит канонизированным советской академической наукой легендам об этом шедевре пушкинской лирики, сложившимся на основании сбивчивых и порой весьма противоречивых сообщений нескольких престарелых современников Пушкина.

На самом деле, конечно, ни те свидетельства, ни это не могут служить окончательным аргументом в так и остающейся до сих пор неясной для нас творческой истории «Пророка»...

Именно на таких основаниях (сообщения современников не могут служить окончательным аргументом) и следует рассматривать те страницы «Записок», которые представляют несомненный интерес для исследователей биографии и творчества поэта.

Относительно же достоверности приведенной нами записи Смирновой-Россет заметим, что она не вызывает у нас никаких сомнений.

Пушкин действительно много и внимательно читал Библию, и это для нас давно не новость; книга Иезекииля действительно поражает поэтической мощью, с чем согласится каждый, кто ее открывал; в «Пророке» действительно перефразирован ее фрагмент, в чем можно убедиться, сопоставив тексты:

«Иезекииль»(3.4):

«И он сказал мне: сын человеческий! встань и иди к дому Израилеву, и говори им Моими словами...»

«Пророк»:

И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей...»

Далее мы рассмотрим возможное количество подобных сообщений, объединенных следующим принципом: сведения эти, отличающиеся, на наш взгляд, безусловной достоверностью, вряд ли могли быть почерпнуты из пушкиноведческой литературы, существовавшей ко времени издания «Записок».

Тем самым выдвинутое в свое время Крестовой¹ в адрес дочери Смирновой-Россет обвинение (она якобы использовала печатные материалы) в отношении представленных примеров полностью отводится.

Начнем со следующей записи, передающей разговор Александры Осиповны с Николаем I о Пушкине, в частности, о «Борисе Годунове»: «...затем спросила Государя, какие части "Бориса" нравятся ему всего более. Он ответил: "Сцена, где Борис дает советы сыну, советы Отца-Государя..."» (с. 263).

Достоверность и подлинность записи получили неожиданное подтверждение в статье П. М. Бицилли «Пушкин и Николай I», опубликованной в 1928 году в парижском журнале «Звено».

Дело в том, что летом 1835 года Николай I, перед отъездом на встречу с королем Пруссии Фридрихом-Вильгельмом, оставил «на всякий случай» завещание наследнику престола. Как установил Бицилли, завещание это «почти всецело совпадает

¹ См.: Записки А. О. Смирновой, урожденной Россет. С. 360–362.

с последним монологом Бориса Годунова»¹. Мы же ограничимся лишь двумя следующими примерами.

«Борис Годунов»:

*Будь милостив, доступен к иноземцам,
Доверчиво их службу принимай.
Со строгостью храни устав церковный...*
(VII, 90; курсив Бицилли)

Завещание Николая I:

«*Будь милостив и доступен ко всем несчастным. Соблюдай строго все, что нашей церковью предписывается...*» (курсив Бицилли)².

«Борис Годунов»:

*О милый сын, тыходишь в те лета,
Когда нам кровь волнует женский лик.
Храни, храни святу чистоту
Невинности и гордую стыдливость...*
(VII, 90; курсив Бицилли)

Завещание Николая I:

«Ты молод, неопытен и *в тех летах, в которых страсти развиваются*, но помни всегда, что ты должен быть примером *благочестия*, и веди себя так, чтобы мог служить живым образцом...» (курсив Бицилли)³.

Сопоставив тексты, Бицилли отметил следующее: «Влияние образца сказалось в Завещании не только на выборе предметов, насчет которых даются наставления, но и на способах

¹ Бицилли П. М. Пушкин и Николай I // Московский пушкинист. Вып. III. М., 1996. С. 315.

² Там же. С. 316.

³ Там же. С. 316.

выражения. Николай I знал, как видно, монолог наизусть — нельзя же предположить, что он заглядывал в ”Бориса Годунова“, когда писал свое ”наставление“»¹.

При этом Бицилли сослался на приведенный нами текст «Записок», дав им следующую весьма неоднозначную оценку: «Знаю, что это — очень мутный источник; однако в основе ”Записок“ лежали все-таки подлинные записи А. О. Смирновой, и в этих последних не все — вымысел. Места, где никакой тенденциозности, никакой ”нарочитости“ нельзя заметить, могут быть признаны заслуживающими не меньшего доверия, нежели любые другие записи такого же рода»².

А вот другой пример, реакция Александры Осиповны на прочитанное Пушкиным новое сочинение: «Потом он прочел мне под строгим секретом очень оригинальную вещь: ”Летопись села Горюхина“. Это Россия! Я сказала ему: ”Цензура не пропустит этого. Она угадает“» (с. 56–57).

Такое восприятие повести не могло быть заимствовано из литературного источника, так как стало утверждаться в пушкинистике лишь в XX веке, то есть намного позже выхода «Записок»³.

В другой записи рассказывается о встрече Пушкина с сестрой Батюшкова: «Пушкин встретил у меня Жюли (Батюшкову, тоже фрейлину. — В. Е.), и, когда она уехала, разговор зашел об ее брате и об его стихотворениях. Пушкин находит их очень музыкальными, почти столь же музыкальными, как стихи Жуковского. Он продекламировал мне стихотворение, конец которого ему особенно нравится.

Он пел; у ног шумела Рона,
В ней месяц трепетал;
И на златых верхах Лиона
Луч солнца догорал...

¹ Бицилли П. М. Пушкин и Николай I // Московский пушкинист. Вып. III. М., 1996. С. 319.

² Там же.

³ См., например: Томашевский Б. В. Пушкин и народность // «Литературный критик». М., 1940. Кн. 5/6; Кожевников В. А. «История села Горюхина — история России» // Москва. № 6. М., 1989.

Я заметила, что меня восхищает мелодичность этих чудных стихов...» (с. 212–213).

Напомним, что на полях 2-й части «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова Пушкин отметил, что «Пленный» (стихотворение Батюшкова) «полон прекрасными стихами», а напротив его завершающих строф, к которым может быть отнесена и приведенная в «Записках» строфа, есть пушкинская помета: «Прекрасно» (XII, 266).

При этом пушкинские «Заметки на полях 2-й части "Опытов в стихах и прозе" К. Н. Батюшкова» впервые были опубликованы Л. Н. Майковым в 1899 году, то есть уже после выхода «Записок».

А вот запись Александры Осиповны о вожде Южного общества декабристов: «Говоря о Пестеле, Великий князь (Михаил Павлович. — В. Е.) сказал: "У него не было ни сердца, ни увлечения; это человек холодный, педант, резонер, умный, но парадоксальный, и без установившихся принципов". Искра (Пушкин. — В. Е.), сказал что он был возмущен рапортом Пестеля насчет этеристов, когда *Дибич* послал его в *Скуляны*. Он тогда выдал их. Великий князь ответил: "Вы видите, я имею основание говорить, что это был человек без твердых убеждений"» (с. 65–66; курсив наш. — В. Е.).

Сравним с дневниковой записью Пушкина от 24 ноября 1833 года: «...Это был Суццо, бывший молдавский господарь. Он теперь посланником в Париже; не знаю еще, зачем здесь. Он напомнил мне, что в 1821 году был я у него в Кишиневе вместе с Пестелем. Я рассказал ему, каким образом Пестель обманул его и предал этерию, представив ее императору Александру отраслию карбонаризма» (XII, 314).

Приведенная здесь характеристика Пестеля полностью совпадает с нашим представлением о нем, изложенным в данной статье об историческом подтексте «Пиковой дамы»¹. Более того, эта характеристика Пестеля подкрепляет наше (не высказанное в упомянутой статье за отсутствием хоть какого-нибудь

¹ См. выше главу: Исторический подтекст повести «Пиковая дама».

обоснования) предположение, что эпитафия к главе VI повести, возможно, метит в Пестеля: «Homme sans mœurs et sans religion!» (VIII, 243).

Пушкинская дневниковая запись впервые опубликована в 1881 году в «Русском Архиве»¹, до выхода «Записок», но в ней не упоминаются ни Дибич, ни Скуляны. Значит, и это сообщение (рассказ о Пестеле) не могло быть почерпнуто из указанного печатного источника.

Несомненный интерес представляет запись об «Арионе»: «...Арион (Пушкин. — В. Е.) был очень опечален, хотя и спасся сам от крушения; в заключение он прочитал мне наизусть французские стихи об Арионе:

Jeune Arion, bannis la crainte,
 Aborde aux rives de Corinthe;
 Minerve aime ce doux rivage,
 Périandre est digne de toi;
 Et tes yeux y verront un sage
 Assis sur le trône d'un roi.

(Юный Арион изгони из сердца страх,
 Причалъ к берегам Коринфа;
 Минерва любит этот тихий берег,
 Периандр достоин тебя;
 И глаза твои узрят мудреца,
 Восседающего на королевском престоле.)

Он прибавил: "Тот, кто говорил со мною в Москве как отец с сыном в 1826 году, и есть этот мудрец". Как он оригинален; после этих слов лицо его прояснилось, и он сказал: "Арион пристал к берегу Коринфа"» (с. 214–215).

¹ Бартенев П. И. Эпизод из деятельности Пестеля // Русский Архив. 1881. Т. II. № 32. С. 495.

Текст этот в свое время приводился Лернером в комментариях к пушкинскому стихотворению «Арион» в венгеровском издании собрания сочинений Пушкина¹.

Как нам удалось установить, процитированные стихи об Арионе принадлежат П.-Д.-Э. Лебрёну (1729–1807). Сочинения его «были хорошо известны молодому Пушкину»². Знакомство с поэзией Лебрёна прослеживается в ряде пушкинских стихотворений лицейской поры: «Монах» (1813), «Рассудок и любовь» (1814), «Осеннее утро» (1816), «Сон» (1816)³. Таким образом, приведенный фрагмент «Записок» вполне достоверен и представляет для нас несомненный интерес, хотя тон изложения оставляет ощущение некоторой нарочитости.

Столь же важны для нас смирновские записи, касающиеся «Евгения Онегина, например о «вербном херувиме»: «Одного очень важного красавца Великий князь Михаил Павлович называл: Тарквиний гордый. Другого красавца: Вербный херувим, и Пушкин ему сказал: "Ваше Высочество, подарите мне это, эпитет такой подходящий". Великий князь ответил: "Неужели? Дарю, и не стоит благодарности; неужели эпитет верный?" Пушкин ответил: "Дивный, С. именно вербный херувим!"» (с. 30).

В строфе XXVI главы восьмой читаем:

В дверях другой диктатор бальный
Стоял картинкою журнальной,
Румян, как вербный херувим,
Затянут, нем и недвижим...

К сожалению, комментаторы романа до сих пор не знают, кого запечатлел здесь Пушкин. Быть может, выяснить это поможет приведенный фрагмент «Записок».

¹ Пушкин А. С. Собр. соч.: В 6 т. / Под ред. С. А. Венгерова. Т. IV. С. XXXVIII.

² Пушкин А. С. Стихотворения лицейских лет 1813–1817. СПб.: Наука, 1994. С. 622.

³ Там же.

Имеет соответствие в «Евгении Онегине» и следующее сообщение Смирновой-Россет: «Бал у В. Искра (Пушкин. — В. Е.) любовался моим шарфом; принес мне даже стихи, в котором говорит о нем; стихи слишком лестны для меня, что я ему и сказала. Это — стихи для "Онегина"» (с. 57).

Александра Осиповна, конечно, имела здесь в виду строфу из «Альбома Онегина»:

[Вчера у В —] оставя пир
 R.C. летала как Зефир
 Не внемля жалобам и пеням
 А мы по лаковым ступеням
 Летели шумною толпой
 За Одалиской молодой
 Последний звук последней речи
 Я от нее поймать успел
 Я черным соболем одел
 Ее блистающие плечи
 На кудри милой головы
 Я шаль зеленую накинул
 Я пред Венерою Невы
 Толпу влюбленную раздвинул
 (VI, 616).

Здесь можно было бы упрекнуть мемуаристку в упрощенном подходе к поэтическому тексту, ведь эта строфа посвящена бальным похождениям героя романа и, по условиям литературной игры, предложенной читателю Пушкиным, сочинена самим Онегиным.

Однако, как отметил Ю. М. Лотман, «тексты альбома Онегина близки к ряду непосредственных высказываний Пушкина и имеют лирический характер»¹. Комментатор обосновал это утверждение весьма убедительными примерами.

¹ Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1983. С. 316.

Следует, по-видимому, принять во внимание и другое утверждение Лотмана: «Стремясь окружить своих героев неким реальным, а не условно-литературным пространством, Пушкин вводит их в мир, наполненный лицами, персонально известными и ему, и читателям»¹.

Подробно эта проблема рассмотрена Р. В. Иезуитовой в статье, посвященной «Альбому Онегина», где, анализируя эту строфу, она отмечает: «Пушкин самой логикой творческого процесса невольно становится его (Онегина. — В. Е.) прототипом»². Иезуитова также указывает на столь важное обстоятельство, что «к моменту работы над белой редакцией (альбома. — В. Е.) поэт уже лично знаком» с Александрой Россет³.

В свете этих обстоятельств и соображений, представленных Лотманом и Иезуитовой, рассматриваемая запись мемуаристики выглядит вполне достоверной.

В таком случае обращает на себя внимание и требует осмысления тот факт, что автор (Пушкин) в приведенной строфе уподобляет себя Онегину (который в строфе XXX главы восьмой очень похоже «гонится» за героиней романа), а юную Александру Россет — Татьяне:

За ней он гонится как тень;
Он счастлив, если ей накинёт
Боа пушистый на плечо,
Или коснется горячо
Ее руки, или раздвинет
Пред нею пестрый полк ливрей...
(VI, 179).

Этот и другие факты (например, пушкинские дневниковые записи за 1834 год) не позволяют нам согласиться с мнением Рейнбота: «Биографы Пушкина и комментаторы его сочинений

¹ Там же. С. 28.

² *Иезуитова Р. В.* Альбом Онегина (Материалы к творческой истории) // *Временник Пушкинской комиссии.* Л., 1989. Вып. 23. С. 27.

³ Там же. С. 30.

преувеличили значение взаимных отношений гениального поэта и шалуньи фрейлины, позднее умной, веселой хозяйки еще не налаженного великосветского салона»¹.

Он так же высказал уверенность в том, что фрейлина Россети отнюдь не была красавицей.

Кроме строфы из «Альбома Онегина», суждениям Рейнбота можно противопоставить и свидетельство одного из поклонников нашей фрейлины П. А. Вяземского, неплохо разбиравшегося во всем, что касалось слабого пола: «В то самое время (в начале тридцатых годов. — В. Е.) расцветала в Петербурге одна девица, и все мы, более или менее, были военнопленными красавицы; кто более или менее уязвленный, но все были задеты и тронуты»².

Заметим также, что, хотя по мнению Рейнбота, поддержанному Крестовой, инициалы «R. C.» вовсе не относятся к Россет («О. Н. ложно предполагает, что R. C. — Rosset, в рукописях Пушкина вместо этих инициалов имеются S. M. и L. C.»³), в полном собрании сочинений Пушкина «R. C.», как и «Венера Невы», расшифровываются в указателе имен, пусть и не вполне уверенно, как «Смирнова, Александра Осиповна, рожд. Россет» (XIX, 51).

Наиболее интересна из записей, касающихся «Евгения Онегина», следующая: «Пушкин читал нам "Онегина". Много смеялись над описанием вечеров, оно забавно; но всего нельзя будет напечатать. Он отлично изобразил императрицу, "крылатую лилию Лалла Рук"; это совершенно обрисовывает ее» (с. 68). То же сообщается в Предисловии Ольгой Николаевной: «В "Онегине" Пушкин упоминает об Александре Федоровне:

Подобно лилии крылатой
Колебясь входит Лалла Рук.

¹ Рейнбот П. Е. Пушкин по запискам А. О. Смирновой. С. 92.

² Вяземский П. А. Старая записная книжка. М., 2003. С. 228.

³ Записки А. О. Смирновой, урожденной Россет. С. 364 (прим.).

Дело в том, что Императрица, на костюмированном балу, при дворе в Берлине, была в костюме героини поэмы Мура, переведенной Жуковским» (с. 29).

Соответствующая строфа романа не вошла в окончательный текст, она известна нам по пушкинскому автографу:

И в зале яркой и богатой
Когда в умолкший тесный круг
Подобна лилии крылатой
Колебясь входит Лалла Рук
И над поникшею толпою
Сияет царственной главою
И тихо вьется и скользит
Звезда-Харита меж Харит
И взор смешенных поколений
Стремится ревностью горя
То на нее, то на Царя —
Для них без глаз один Евг<ений>
Одной Татьяной поражен;
Одну Т<атьяну> видит он

(VI, 637).

Отметим, что строфа эта в разделе беловых рукописей полного собрания сочинений, в нарушение принятого порядка, расположена почему-то за пределами главы, а имя собственное «Лалла Рук» почему-то отсутствовало в первом издании «Словаря языка Пушкина».

Разумеется, никак не упоминается приведенная нами строфа и в советских комментариях к роману, в том числе в известных комментариях Ю. М. Лотмана. Тем интереснее комментарий В. В. Набокова, резко контрастирующий с полным невниманием к этой строфе у нас: «Это великолепное четверостишие (первые четыре стиха. — В. Е.), обладающее исключительно яркой образностью, восхитительно оркестровано. Тонкая игра аллитераций зиждется на согласных "л", "к" и "р"».

Обратите внимание, как шесть последних слогов третьей строки перекликаются с тремя заключительными слогами последней строки четверостишия:

И в зале яркой и богатой,
 Когда в умолкший тесный круг,
 Подобна лилии крылатой
 Колебясь входит Лалла Рук...

Какая жалость, что Пушкин был вынужден исключить эту на редкость красивую строфу, одну из лучших, когда-либо им сочиненных! Конечно же, она страдает невозможным анахронизмом. Отдаваясь во власть личных воспоминаний в 1827–1829 гг., Пушкин описывает бал первых лет правления Николая I (1825–1855), на мгновение забывая о том, что предполагаемые балы и рауты, на которых Онегин встречает Татьяну, должны происходить осенью 1824-го, в правление Александра I (1801–1825). Естественно, никто бы никогда не позволил опубликовать эту строфу, раз Онегин предпочитает Татьяну N императорской чете.

Лалла-Рук — это юная Императрица России Александра (1798–1860), ранее прусская принцесса Шарлотта (дочь короля Фридриха Вильгельма III и королевы Луизы), после того как в 1817 г. на ней женился Николай. Она получила это *nom de société* (светское прозвище. — В. Е.), появившись в "живой картине" на великосветском празднике в костюме героини очень длинной поэмы Томаса Мура "Лалла-Рук, восточная поэма" (1817). Под этим именем она была воспета своим учителем русского языка Жуковским, который посвятил три стихотворения светской теме Лаллы-Рук, когда находился в Берлине, где в январе 1821 г. при дворе устраивались разнообразные праздники (описанные в специальном альбоме с иллюстрациями "Лалла-Рук, танцевально-вокальный дивертисмент" — "Lalla Roukh, divertissement mêlé de chant et de danses", Berlin, 1822), на которых принцесса Александра вы-

ступала в роли восточной принцессы, а Великий князь Николай — Алариса»¹.

Таким образом, и последняя из приведенных записей представляет для пушкинистов несомненный интерес, при этом строка о Лалле-Рук не могла быть почерпнута составительницей «Записок» ни в одном из известных ей собраний сочинений Пушкина.

2

Мы выбрали из текста «Записок» примеры, достоверность которых представляется несомненной. Кто-то выберет другие. Так, Семен Франк в статье «Пушкин как политический мыслитель» остановился на совсем иных записях, продемонстрировав их полное смысловое созвучие с соответствующими пушкинскими размышлениями, извлеченными из его публицистических произведений: «А. О. Смирнова приводит в своих "Воспоминаниях" ("Записках". — В. Е.) слова Пушкина, достоверность которых совершенно очевидна по внутренним основаниям, как бы недостоверны ни были многие свидетельства этих сомнительных мемуаров: "Разумная воля единиц или меньшинства управляла человечеством... (С. 299 "Записок". — В. Е.) В сущности, неравенство есть закон природы... (С. 306 "Записок". — В. Е.) Единицы совершали все великие дела в истории..." (С. 308 "Записок". — В. Е.) Отсюда ненависть Пушкина к демократии в смысле "господства народа" или "массы" в государственной жизни. В применении к Франции он говорит о "народе" (*der Herr Omnis*)², который властвует "отвратительной властью демократии" ("Об истории Шевырева", 1835). Так же об Америке (со ссылкой на "славную книгу Токевиля" "De la démocratie en

¹ Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 1998. С. 572.

² Господин Всякий (*нем., лат.*).

Amérique“)¹: ”С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую, подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству; большинство, нагло притесняющее общество...“ и пр. (Джон Теннер, 1836)»².

В другой статье Франк вновь обратился к «Запискам» и привел оттуда следующее пушкинское суждение: «Я утверждаю, что Петр был архирусским человеком, несмотря на то что сбрил себе бороду и надел голландское платье. Хомяков заблуждается, говоря, что Петр думал, как немец. Я спросил его на днях, из чего он заключает, что византийские идеи Московского царства более народны, чем идеи Петра?» (с. 218).

Франк сопроводил эту цитату следующим примечанием, которое фактически повторяет его характеристику «Записок», приведенную нами выше:

«Подлинность ”Воспоминаний“ (”Записок“. — В. Е.) Смирновой оспорена, и нет сомнения, что ее дочь, издавшая их, сильно ретушировала их и многое внесла от себя. Но Мережковский в статье ”Пушкин“ (в книге ”Вечные спутники“) совершенно прав в своем указании, что приводимые в ”Воспоминаниях“ (”Записках“. — В. Е.) гениальные идеи Пушкина безусловно подлинны по внутренним основаниям»³.

Эта формула Франка не является ли наиболее объективной оценкой рассматриваемых нами «Записок»?

«Подлинными по внутренним основаниям» представляются нам следующие записи, хотя мы сейчас не располагаем реальными доказательствами их достоверности. Впрочем, в этом смысле (в смысле доказательности) они ничем не отличаются

¹ «О демократии в Америке».

² Франк С. Л. Пушкин как политический мыслитель // Пушкин в русской философской критике. С. 413.

³ Франк С. Л. Пушкин об отношениях между Россией и Европой // «Пушкин в русской философской критике». С. 465 (прим.).

от абсолютного большинства других свидетельств о Пушкине в литературе о нем.

Вот фрагмент записи об отношении Пушкина к ссыльным декабристам:

«Он (Пушкин. — В. Е.) долго говорил о деятелях 14-го числа; как он им верен! Он кончил тем, что сказал:

— Мне хотелось бы, чтобы Государь был обо мне хорошего мнения. Если бы он мне доверял, то, может быть, я мог бы добиться какой-нибудь милости для них...» (с. 115).

А вот запись об особом отношении Пушкина к Екатерине Андреевне Карамзиной, использованная Ю. Н. Тыняновым в статье об «утаенной любви»¹ в ряду других свидетельств того же рода: «Я также наблюдала за его обращением с г-жой Карамзиной: это не только простая почтительность по отношению к женщине уже старой, это нечто более ласковое. Он чрезвычайно дружески почтителен с княгиней Вяземской, с m-me Хитрово, но его обращение с Карамзиной совсем не то» (с. 331).

Не менее достоверным выглядит и следующее сообщение, характеризующее особые отношения между Пушкиным и Жуковским: «Что же касается Жуковского — он смотрит на него (Пушкина. — В. Е.) с нежностью, он наслаждается всем, что говорит его Феникс; есть что-то трогательное, отеческое и вместе с тем братское в его привязанности к Пушкину, а в чувстве Пушкина к Жуковскому — оттенок уважения даже в тоне его голоса, когда он ему отвечает. У него совсем другой тон с Тургеневым и Вяземским, хотя он их очень любит» (с. 331).

К записям того же свойства может быть отнесено сообщение о том, что Вяземский, споря с Пушкиным, называл стихотворение «Клеветникам России» «шинельной поэзией», а также следующее возражение Пушкина на утверждение Хомякова, будто

¹ Тынянов Ю. Н. Безыменная любовь. С. 216.

в России больше христианской любви, чем на Западе: «Может быть. Я не мерил количество братской любви ни в России, ни на Западе; но знаю, что там явились основатели братских общин, которых у нас нет. А они были бы нам полезны» (с. 180).

Или такое наблюдение Смирновой-Россет, касающееся Гоголя: «Я заметила, что достаточно Пушкину обратиться к Гоголю, чтобы тот просиял» (с. 53).

Психологически убедительно следующее сообщение дочери Смирновой-Россет, свидетельствующее о нерасположении Натальи Николаевны к жизни в деревне: «В Одессе отец рассказал мне, что как-то вечером, осенью, Пушкин, прислушиваясь к заыванию ветра, вздохнул и сказал: "Как хорошо бы теперь быть в Михайловском! Нигде мне так хорошо не пишется, как осенью, в деревне. Осень — мое любимое время года. Что бы нам поехать туда!" У моего отца было имение в Псковской губернии, и он собирался туда для охоты. Он стал звать Пушкина ехать с ним вместе. Услыхав этот разговор, Пушкина воскликнула: "Восхитительное местопребывание! Слушать заывание ветра, бой часов и вытье волков. Ты с ума сошел!" И она залилась слезами, к крайнему изумлению моих родителей. Пушкин успокоил ее, говоря, что он только пошутил, что он устоит и против искушения и против искуителя (моего отца). Тем не менее Пушкина еще некоторое время дулась на моего отца, упрекая его, что он внушает сумасбродные мысли ее супругу» (с. 220).

И наконец нельзя не остановиться на суждении Пушкина об извечных причинах неудач большинства политических реформ в России: «Ненавижу я придворное дворянство. С ним-то Государю всего труднее будет справиться в деле освобождения (крестьян. — В. Е.), оно всегда будет восставать против реформ. Пропасть наша заключается в том, что мы еще слишком завязли в привычках прошлого, побеждать приходится не идеи, а предрассудки, самый узкий из всех — это верить, что *единообразие есть порядок, безмолвие — согласие и что истина не выигрывает при обсуждении мнений*» (с. 343).

Это звучит настолько актуально, будто сказано кем-то из наших мыслящих современников сегодня, сейчас!

Особую статью представляют собой сообщения, содержащие явные анахронизмы и в то же время убедительные по существу. Приведем часть такой записи (наименее фантастичную) о «Распятии» Брюллова: «Часовые, которых поставили в зале, где выставлено "Распятие" Брюллова, произвели на нас тяжелое впечатление; эти солдаты так не отвечают сюжету картины» (с. 290). Этот факт якобы и побудил Пушкина к написанию стихотворения «Мирская власть». Однако, по имеющимся в литературе о Брюллове сообщениям, картина «Распятие» была написана в 1838 году. Налицо еще один явный анахронизм. Вместе с тем толкование стихотворения, предложенное в «Записках», могло бы явиться исчерпывающим комментарием к нему, полностью проясняющим его содержание. Ведь сейчас оно не имеет удовлетворительного объяснения. Возьмем, например, примечание Б. В. Томашевского: «Написано 5 июня 1836 г., вероятно, по поводу того, что в Казанском соборе в Страстную пятницу ставили у плащаницы часовых...»¹

Совершенно очевидно, что объяснение это никак не соотносится со стихами:

К чему скажите мне, хранительная стража? —
Или распятие казенная поклажа... —
ведь плащаница — не распятие.

Укажем также, что в начале XX века пушкинское стихотворение действительно связывали с картиной Брюллова во многих изданиях, в том числе в изданиях П. О. Морозова (1903) и С. А. Венгерова (1915). И восходила такая трактовка его не к «Запискам», а к указанию Н. В. Гербеля в берлинском издании запрещенных стихотворений Пушкина 1861 года (с. 162–163):

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 3. Л., 1977. С. 468.

«Стихи написаны по тому случаю, что на выставке около картины Брюллова, изображающей Распятие, были поставлены часовые для предупреждения тесноты от толпы...»¹

Таким образом, следует учесть, что свидетельство Смирновой-Россет не является единственным (если только оно не было сочинено Александрой Осиповной после ознакомления с комментарием Гербеля).

Что же касается фактической стороны вопроса, то, хотя «Распятие» и датируется 1838 годом, существует одно не до конца ясное свидетельство бывшего ученика Брюллова, позволяющее считать трактовку Гербеля — Смирновой не совсем уж беспочвенной. Это дневниковая запись будущего академика живописи А. Н. Мокрицкого от 31 января 1837 года (через два дня после кончины поэта): «Так нет, вот сегодня вечером он (Брюллов. — В. Е.) встретил меня весьма приветливо, велел подать чаю, потом играл со мною в экарте; соскучась игрою, велел мне читать стихи Пушкина и восхищался каждой строкой, каждой мыслью и жалел душевно о ранней кончине великого поэта. Он упрекал себя в том, что не отдал ему рисунка, о котором тот так просил его, вспоминал о том, как *Пушкин восхищался его картиной "Распятие"* и эскизом *"Гензерих грабит Рим"*»².

Известен также эскиз «Распятие» небольшого размера (29 × 19)³, выполненный акварелью и сепией, который никак не мог быть назван в воспоминаниях Мокрицкого картиной. Он датируется 1835 годом, кстати, к тому же времени относится эскиз «Гензерих грабит Рим».

На основании дневниковой записи Мокрицкого и эскиза (29 × 19) можно предположить (к сожалению, только предположить), что существовал и другой, более крупный, чем эскиз, вариант «Распятия», относящийся к 1835 или 1836 году (когда Пушкин был еще жив) и предшествовавший известному

¹ Библиотека великих писателей. Пушкин. Т. VI. СПб., 1915. С. 490.

² Мокрицкий А. Н. Воспоминания о К. П. Брюллове // «Отечественные записки». № 12. Отд. II. 1855. С. 167.

³ К. Брюллов / Сост. М. М. Ракова. М., 1988. С. 153.

полотну колоссальных размеров (510 × 315), которое Брюллов выполнил для лютеранской церкви в Петербурге.

Вот к таким довольно-таки актуальным исследованиям побуждает нас даже и не вполне достоверная запись Смирновой-Россет...

3

Каким же образом «Записки», содержащие столь важные для нас свидетельства о Пушкине, были провозглашены подложными?

Эту весьма актуальную для советского времени задачу решила, как мы уже упоминали, Крестова в статье 1929 года «К вопросу о достоверности так называемых "Записок" А. О. Смирновой», в которой утверждалось, что «Записки» якобы были сочинены дочерью Смирновой-Россет, О. Н. Смирновой.

Поскольку абсолютное большинство рукописных заметок, из которых составлены «Записки», не сохранилось, Крестова, конечно, не могла привести никаких фактических доказательств авторства О. Н. Смирновой. Она попыталась решить эту задачу путем анализа их текста и сопоставлением его фрагментов с другими известными к тому времени мемуарными материалами Смирновой-Россет, подлинность которых не вызывала у нее сомнений. При этом следует отметить, что сопоставлению «Записок», объемом более 25 печатных листов, с другими текстами Смирновой-Россет в статье Крестовой уделено чуть более двух страниц¹.

Покончив с сопоставлением текстов, она перешла к обстоятельному и как будто бы даже сочувственному изложению биографических сведений о дочери Смирновой-Россет, представляя ее «высокообразованным человеком в областях искусства и литературы»². С особым пристрастием, как установила Крестова, относилась Ольга Николаевна к русской литературе:

¹ См.: Записки А. О. Смирновой, урожденной Россет. С. 342–344.

² Там же. С. 353.

«Истинным предметом любви Смирновой являлась русская литература. Очень вероятно, что любовь эта вызывалась, прежде всего, традициями семьи — общением матери с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем. Последний был своим человеком в доме Смирновых. Кроме того, сама Ольга Николаевна видала Жуковского, слыхала Тургенева и обоих Толстых, Аксакова. Хорошо знала Полонского, Тютчева, Маркевича»¹.

Соответствующим образом подготовив читателя, Крестова попыталась показать, как Ольга Николаевна, будучи человеком весьма осведомленным и обладающим безусловными литературными способностями (было признано за нею и это!), использовала несколько (буквально 2–3!) имевшихся у нее записей матери при написании собственного сочинения о Пушкине.

Не вдаваясь в подробности, отметим: представленные Крестовой 2–3 примера на весь немалый объем книги не могут нас убедить, потому что при построении своих целенаправленных умозаключений она исходила из не подтвержденного никакими фактическими данными (или достоверными свидетельствами) утверждения об отсутствии у Ольги Николаевны достаточного количества записок матери.

Сама же Ольга Николаевна рассказала об истинных источниках «Записок» в своем предисловии к ним: «Да никто и не мог бы разобраться в ее (матери. — В. Е.) записках, не нашел бы нити в ее тетрадках, где рядом с засушенными цветами (мать очень любила ботанику), с переписанными стихами и выписками из книг разбросаны эти заметки. Они написаны по-французски; иногда попадает русская фраза, иногда какое-нибудь изречение по-немецки, по-английски, по-итальянски. Моя мать могла бы из подобных заметок составить целую книгу, прибавив сюда и свои воспоминания» (с. 7–8).

Известно также, что «образчики оригинала, разные клочки, написанные частью карандашом, иногда на обрывках бумаги, даже на счетах»², она показывала Л. Я. Гуревич (редакто-

¹ См.: Записки А. О. Смирновой, урожденной Россет. С. 353.

² *Житомирская С. В.* А. О. Смирнова-Россет и ее мемуарное наследие // А. О. Смирнова-Россет. «Дневник. Воспоминания». М., 1989. С. 609.

ру журнала «Северный вестник», публиковавшему «Записки» в 1893 году), посетившей ее в Париже в том же году.

Но возвратимся к статье Крестовой, которая, продолжая свое пристрастное расследование, писала: «Однако Ольга Николаевна не могла бы создать, конечно, своего произведения о Пушкине (только так можно назвать "Записки" Смирновой), если бы в ее руках не оказалось разнообразного печатного материала»¹.

К таковому отнесены «все публикации покойной матери», а также находившееся «под рукой у Ольги Николаевны» собрание сочинений Пушкина под редакцией П. А. Ефремова издания 1882 года. По мнению Крестовой, Смирнова внимательно изучила также «всю имевшуюся в ее эпоху Пушкиниану». Но этого мало, она уверенно заявляет о «знакомстве Ольги Николаевны с трудами Полевого, Белинского, Аполлона Григорьева, со статьями по Пушкину в "Русском Архиве" и в использовании Остафьевского архива», с работой Стоюнина и трудом Анненкова «Материалы для биографии Пушкина»². То есть, по убеждению Крестовой, Ольга Николаевна представляла собой эталонный прообраз сегодняшнего Пушкинского Дома.

Внимательно изучив все эти материалы, Ольга Николаевна, как утверждала Крестова, использовала их при написании «Записок».

Провозгласив свои предположения и догадки «изучением источников», которыми якобы пользовалась составительница, Крестова завершила этот важнейший раздел своей статьи следующим безапелляционным выводом: «Так, следовательно, изучение источников "Записок" Смирновой привело нас к убеждению в бесспорном авторстве Ольги Николаевны»³.

Так и кажется, что фразу эту до ее окончательного блеска довел М. А. Цявловский, под редакцией которого осуществлялось издание книги.

¹ Записки А. О. Смирновой, урожденной Россет. С. 360.

² Там же. С. 361–362.

³ Там же. С. 363.

А в конце статьи, на долгие годы предопределившей судьбу «Записок», в заключительной ее части, интонация Крестовой приобрела откровенно обличительный характер, сбившись с лексики и тона литературоведческого исследования на совсем иной стиль: «Каковы же были мотивы, возникает последний вопрос, по которым О. Н. Смирнова решилась на совершенный ею подлог?»¹.

Можно только порадоваться за Ольгу Николаевну, что ей уже не нужно было отвечать на подобные вопросы советских пушкиноведов...

Что же касается статьи Крестовой, то ее лишённые какой-либо доказательной базы умозаключения, на наш взгляд, содержат в себе одно непреодолимое противоречие.

С одной стороны, обилие анахронизмов в тексте «Записок» дало ей основание поставить под сомнение авторство А. О. Смирновой-Россет и предположить, что они написаны ее дочерью.

С другой стороны, это весьма логичное на вид построение опровергается одним вопросом, по-видимому не предусмотренным Крестовой и ее единомышленниками: как при такой версии происхождения «Записок» объяснить «десятки прямо диких анахронизмов, физически невысказанных, потому что они связаны с событиями, случившимися уже после смерти Пушкина»? Как могли они выйти из-под пера столь эрудированного и осведомленного человека?

Совершенно очевидно, что у критиков «Записок» концы здесь не сходятся с концами. И мы вправе поставить другой вопрос: не является ли наличие «десятков прямо диких анахронизмов» неопровержимым свидетельством подлинности «Записок», потому что таким недостатком отличаются как раз все «подлинные» мемуарные материалы самой Смирновой-Россет?

¹ Записки А. О. Смирновой, урожденной Россет. С. 366.

² Венгеров С. А. Собр. соч. В. Г. Белинского. Т. 1. СПб., 1900. С. 145 (прим.).

Вопрос об ее анахронизмах весьма не прост.

В уже упоминавшейся статье Житомирской эта проблема достаточно четко обозначена. Житомирская, как будет видно из приводимого ниже текста, подразделяла анахронизмы Александры Осиповны на два вида: «При этом анахроничность изложения не только не скрывается мемуаристкой, но сознательно ею демонстрируется и как бы забавляет ее. Так, Смирнова в 1836 году рассказывает будто бы Киселеву о гибели Пушкина и стихах Лермонтова "На смерть поэта". Мало того: она вкладывает в его уста изумленный вопрос: "Но Пушкин не умер?", а за ним следует ее ответ: "Нет, но я рассказываю тебе последующие факты, я забежала вперед. Ах, какая я дворянка!" В другом месте она заявляет своему собеседнику: "Берегитесь, чтобы не было реприманду или бульверсману, как говорил Иннокентий после революции 48 года", и прибавляет: "Дарю вам анахронизм". Примеры эти можно продолжить, их множество.

Но есть в мемуарах Смирновой и иные анахронизмы, ничем не отличающиеся от тех, которые были сразу замечены в публикации "Северного вестника". Если там Пушкин высказывался будто бы о романе "Три мушкетера", вышедшем в свет в 1844 г., или о "Пармской обители" Стендаля, опубликованной в 1839 г., то здесь он, оказывается, "в восторге" от стихотворения Н. М. Языкова "Землетрясение", датированного 18 апреля 1844 г. и впервые напечатанного в том же году» (курсив наш. — В. Е.)¹.

Вероятнее, однако, что все отмеченные Житомирской анахронизмы имеют одно происхождение: Александра Осиповна предложила своим будущим читателям такого рода интеллектуальную забаву, когда можно представить себе, как Пушкин предрекает великое поэтическое будущее юному Лермонтову, слушает чтение Гоголем только что написанной «Шинели», обсуждает мушкетеров Дюма, «Пармскую обитель» Стендаля и еще многое другое, чего не могло быть при его жизни.

¹ Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. С. 629.

Подтверждение нашему предположению о намеренном характере смировских анахронизмов находим в том же предисловии к «Запискам», написанном составительницей: «Моя мать могла бы из подобных заметок составить целую книгу, прибавив сюда и свои воспоминания. Но она не решалась на это. Она раза два начинала и рвала написанное. ”Это будет слишком долго и утомительно, — сказала она мне. — Я не в силах хорошо написать книгу. Ты записала все, что ты слышала с детства, и можешь когда-нибудь *позабавиться* и издать все это, воспользовавшись моими записками“» (с. 8).

Ключевое слово здесь «позабавиться».

Вот она (Александра Осиповна) и «позабавилась» над нами, и до сих пор продолжается эта забава, пока мы разгадываем ее загадки. Не зря, наверное, В. А. Жуковский называл ее порой «небесным дьяволенком».

Кроме того, при обращении к известным нам сегодня «подлинным» мемуарным материалам Смирновой-Россет в них обнаруживается большое количество неточных и даже совершенно недостоверных сообщений (в частности, Пушкину приписываются тексты, ему не принадлежащие), и это постоянно поясняется в комментариях¹.

А Ольга Николаевна, доверяя матери, по-видимому, просто не считала нужным проверять хронологическую достоверность сообщаемых ею фактов (возможно и другое предположение: зная об этих особенностях мемуаров своей матери, решила не нарушать затеянной ею со своими будущими читателями игры). В результате она оказалась в весьма незавидном положении, когда во время журнальной публикации «Записок» начали поступать сообщения о замеченных анахронизмах. Составительница вынуждена была спешно вносить изменения в подготовленный к печати текст, следы такой правки сохранились в корректурах².

¹ Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. С. 632–710.

² Рейнбот П. Е. Пушкин по запискам А. О. Смирновой. С. 217.

Но все же, в первую очередь, мы должны быть благодарны О. Н. Смирновой за кропотливую, потребовавшую много времени и сил работу по составлению связных «Записок» из разрозненных и зачастую обрывочных, написанных не всегда разборчиво заметок, затерянных, пока ими не занялась Ольга Николаевна, среди бесчисленных бумаг ее матери.

Вполне вероятно, что в каких-то местах «Записок» собственноручные заметки Александры Осиповны перемежаются с записями ее устных («только что выслушанных», с. 23) рассказов, сделанных дочерью. Вряд ли уместно говорить здесь о какой-то фальсификации.

Нужно также учитывать, что заметки Александры Осиповны не были подготовлены к публикации и, следовательно, их редактирование было необходимо. Помимо редактирования, дочь мемуаристки определяла состав и композицию книги. При этом нельзя, конечно, исключать возможности того, что в процессе работы над «Записками» Ольга Николаевна, хорошо владея материалом и ощущая издание книги как общее с матерью дело, порой не могла преодолеть искушения добавить что-либо от себя, подправляя мать, сохраняя связность рассказа или в развитие излагаемой матерью мысли. При всем том нельзя не признать, что главным достоинством «Записок» является совершенно новый образ Пушкина, образ Пушкина в общении с людьми своего круга. И трудно не согласиться с их давней оценкой, прозвучавшей в 1896 году в статье будущего участника «Вех» Д. С. Мережковского: «Впечатление ума, дивного по ясности и простоте, более того — впечатление истинной мудрости производит образ Пушкина, нарисованный в "Записках" Смирновой. Современное русское общество не оценило книги, которая во всякой другой литературе составила бы эпоху. Это непонимание объясняется и общими причинами: первородным грехом русской критики — ее культурной неотзывчивостью, и частными — тем упадком художественного вкуса, эстетического и философского образования, который, начиная с 60-х годов, продолжается донине и вызван проповедью утилитарного

и тенденциозного искусства, проповедью таких критиков, как Добролюбов, Чернышевский, Писарев. Одичание вкуса и мысли, продолжающееся полвека, не могло пройти даром для русской литературы»¹.

Приведем также четко и ясно сформулированное мнение нашего современника, исключаяющего в отношении «Записок» возможность литературной фальсификации: «Возможно ли полностью от "себя" сочинить воспоминания о Пушкине и Гоголе, сочинить их мысли, высказывания, мнения, чтобы они были на соответствующем уровне? А такие мысли и высказывания в этой книге ЕСТЬ!»²

Что такие «мысли и высказывания» в «Записках» Смирновой-Россет действительно есть, читатель мог убедиться, ознакомившись с нашей статьей. Нельзя также не отметить, что вопреки возмущенным сетованиям Щеголева, Крестовой и некоторых современных авторов³ на то, что «кое-кто из исследователей все еще считается с сообщениями этих "Записок"», вышло так, что этими «кое-кто» оказывались в разное время Веселовский, Мережковский, Лернер, Франк, Бицилли, Тынянов, Набоков и еще многие другие исследователи пушкинского наследия.

Этот факт в совокупности с немалым количеством рассмотренных нами примеров из текста «Записок» свидетельствует о том, что значительная часть сообщений Смирновой-Россет, несмотря на многочисленные анахронизмы и недостоверные сведения, осложняющие наше отношение к ее книге, не может

¹ Мережковский Д. С. Пушкин // «Пушкин в русской философской критике». С. 93.

² Ковальджи К. От составителя // «Записки А. О. Смирновой, урожденной Россет». С. 5.

³ См., например, вышедшую почти одновременно с «Записками» тенденциозную книгу Н. П. Колосовой «Россети Черноокая». М., 2003, слепо повторяющей в специальном разделе, им посвященном, основные обвинения Крестовой и Рейнбота.

быть исключена из научного обихода без ощутимого ущерба для пушкинистики.

Завершим наши заметки известной сентенцией из «Арапа Петра Великого»: «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная» (VIII, 13).

Эту возможность (с теми оговорками, которые сделаны выше) предоставляют нам сегодня извлеченные наконец из забвения «Записки» выдающейся современницы Пушкина.

2004

САНОВНИК И ПОЭТ

(К истории конфликта Пушкина
с графом М. С. Воронцовым)

1

Конфликт Пушкина с графом М. С. Воронцовым в Одессе, окончившийся для поэта исключением из службы и новой ссылкой в село Михайловское Псковской губернии, неоднократно и, казалось бы, всесторонне рассматривался. И все же суть конфликта до сих пор остается невыясненной в полной мере. Об этом свидетельствует, в частности, немалое количество современных публикаций, авторы которых ставят себе целью в той или иной степени оправдать поведение и способ действий Воронцова.

В периодике, например, можно встретить утверждения такого рода: «Историк Владимир Алексеев убедительно опроверг обвинение, звучавшее почти весь двадцатый век в адрес графа Михаила Семеновича Воронцова, якобы притеснявшего Пушкина»¹. Чуть более сдержанно суждение филолога Н. В. Забауровой (электронная газета), пытающейся оправдать действия Воронцова его ревностью и неподобающим поведением поэта. По ее представлению, Воронцов искренне рассчитывал обрести в Пушкине «послушного и дельного чиновника, готового исправить былые прегрешения достойной службой царю и отечеству»².

Таких публикаций в периодике сегодня немало, нет никакого смысла останавливаться на них подробно. Можно было

¹ «Клеймили графа почем зря. А зря» // Парламентская газета. № 137 (1266). 25 июля 2003.

² Забаурова Н. В. Могучей страстью очарован... // Культура (РЭГ). № 4 (34). 24 февраля 2000.

бы вообще не обращать на них внимания, но подобного рода утверждения встречаются теперь и в солидных филологических исследованиях на историко-литературные темы. Вот автор одного из них отчитывает Пушкина за гражданскую безответственность и дурное поведение: «В жизни поэта было по меньшей мере два эпизода, которые так просто не объяснишь; причем если первый из них биографы трактуют до изумления легкомысленно, то второй предпочитают вовсе замалчивать.

Первый — знаменитая саранча, так забавлявшая всегда биографов, о которой все помнят дурацкие стишки неизвестного происхождения (конечно, приписанные Пушкину)¹ и будто бы посрамление чванного вельможи Воронцова. А между тем все было совсем не так. В недавно освоенную Новороссию пришла беда, грозившая голодом. При всей своей ласковой надменности, подстрекаемый честолюбием генерал-губернатор был, однако, рачительным хозяином края и мобилизовал все тогда возможное для противостояния нашествию стихии, а в своем "аппарате" призвал и *чиновников-тунеядцев*. В посылке в область бедствия молодого, здорового, скорого на слова и поступки коллежского секретаря для описания происходящего не было ничего оскорбительного и, скажем прямо, даже обременительного. Кроме того, хотя *пушкинское самомнение* уже тогда было весьма высоким (общеизвестные слова: Воронцов "видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое" (XIII; 103)), все же Пушкин еще не почитал себя гениальнейшим поэтом России. Не осмелившись прямо послушаться, он поехал, с полдороги вернулся, как обычно, понадеявшись на обаяние ведомой им на дамской половине светской болтовни; на сей раз, впрочем, самонадеянность подвела, — желанная благородность отставки обернулась исключением из службы за *дурное поведение*. Главное в этом эпизоде — острое нежелание хоть что-нибудь сделать *для пользы лично ему чуждой* —

¹ Интересно было бы спросить уважаемого автора, кем «приписанные»? Ни в одном из собраний сочинений Пушкина «стишков» про саранчу нет.

пользы около живущих людей, крестьян, общества, народа, наконец...»¹

Несколько иную, казалось бы, оценку конфликта находим в одной из последних книг известного и весьма уважаемого нами литературоведа и критика. Он принимает как будто бы сторону Пушкина, но ситуация увидена им с позиции Воронцова. Впрочем, судите сами: «...но вот вам судьба графа Михаила Семеновича Воронцова. Человек, во всех отношениях незаурядный; храбрец, заслуживший первый из трех своих Георгиевских крестов еще за несколько лет до Бородина, когда на Кавказе вынес из-под огня раненого товарища; талантливый администратор, благоустроивший Новороссию; да мало ли что еще, включая и то, что раздавал чиновникам свое генерал-губернаторское жалованье <...> Достойный, достойнейший господин, — а чем он прежде всего вспоминается нам? ”Полу-герой, полу-невежда, к тому ж еще полу-подлец!..“ Даже в алупкинском знаменитом дворце Воронцова рядом с парадным его портретом значатся злосчастные строки, — все потому, что (опять нечистый попутал!) в цветущий его край занесло ссыльного поэта, мальчишку, который, изволите видеть, решил, будто стихи его поважней государственной службы, да еще приударил за нестрогой графиней... И вот несомненный героизм Воронцова своевольно уполовинен, а европейская образованность, приобретенная в Англии, нахально поставлена под сомнение: ”полу-невежда“!

¹ Сквозников В. Д. Пушкин. Историческая мысль поэта. М.: Наследие, 1999. С. 29. «Второй эпизод», обративший на себя внимание уважаемого автора, с Воронцовым никак не связан. Он относится к болдинской осени 1830 года, во время которой, к возмущению Сквозникова, Пушкин не принял участия в «укреплении и упорядочении карантинных (холерных. — В. Е.)». Заметим на это, что прими Пушкин «благотворительное предложение уездного предводителя дворянства», — и мы не досчитались бы в его наследии нескольких шедевров, написанных им в ту благословенную осень, а то и вся она могла оказаться столь же бесплодной в творческом отношении, как болдинская осень 1834 года! Зато мы имели бы отличный поступок Пушкина-дворянина. Видимо, В. Д. Сквозников представляет себе творческий процесс в духе наивной утопии Маяковского из поэмы «Хорошо»: «Землю попашет / попишет стихи...»!

Несправедливо? Несправедливо. Но что поделаешь?»¹

То есть Воронцов по человечески был прав и был «достойным господином», но беда его в том, что «ссылный поэт, мальчишка», которого «занесло» под его начало (как «занесло», поясним в дальнейшем), оказался гением. И «что поделаешь», гению все принято прощать. А не окажись «мальчишка» гением, — права Воронцова не подлежала бы сомнению, обсуждать было бы нечего!..

И становится ясно, что в литературе о Пушкине обозначилась сегодня новая тенденция — уничижительная по отношению к поэту и, по меньшей мере, оправдательная по отношению к Воронцову. При этом дело не обходится, конечно, без критики той трактовки интересующего нас конфликта, которая была принята в советском пушкиноведении.

Что ж, нельзя не согласиться, что на выводах советских исследователей этого вопроса в той или иной мере сказывались идеологические установки времени, не так явно, правда, как при разработке проблемы «Пушкин и декабристы». В то же время нельзя не признать и то, что советскими пушкиноведами был накоплен большой фактический материал (найжены новые документы и письма), проливающий дополнительный свет на историю отношений Пушкина и Воронцова, которым мы никак не вправе пренебречь. Ведь факты остаются фактами при любых идеологических установках!

Приверженцы нового идеологического перекося, судя по всему, исходят из того, что граф Воронцов М. С. (1782–1856) среди именитых сановников своего времени выглядел фигурой незаурядной. Вот, например, его характеристика, содержащаяся в комментариях В. Ф. Саводника и М. Н. Сперанского к известному изданию Дневника Пушкина 1923 года: «...с 1845 года князь, с 1852 — светлейший, генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант, один из наиболее выдающихся и заслуженных русских государственных деятелей первой половины XIX века. Сын известного дипломата графа Семена

¹ Рассадин С. Б. Русские, или Из дворян в интеллигенты. М., 1995. С. 24.

Романовича Воронцова, бывшего в течение многих лет русским послом в Англии <...> в битве под Бородином его дивизия находилась в центре боя и почти целиком была уничтожена при отражении французских атак, а сам он был ранен; оправившись от ран, он вернулся к армии и принял деятельное участие в заграничном походе 1813–14 гг., причем в битве при Краоне 23 февраля 1814 года успешно действовал против самого Наполеона <...> В 1820 г. он был назначен командиром 3-го пехотного корпуса, а в 1823-м — Новороссийским генерал-губернатором и полномочным наместником Бессарабии <...> во всех начинаниях Воронцов проявлял широкий государственный ум, трезвость взгляда, энергию и настойчивость, благодаря чему эпоха его управления Новороссией и Кавказом отмечена несомненным подъемом благосостояния этих окраин империи, а население сохранило о нем добрую память, как о просвещенном и благожелательном начальнике»¹.

Есть, конечно, в этой характеристике и определенное преувеличение заслуг Воронцова, в частности, его успешных действий в битве при Краоне во Франции — на самом деле исход боя был предрешен действиями графа П. А. Строганова, который командовал дивизией и лишь в последний момент передал командование Воронцову в связи с гибелью в бою сына². Эпизод этот нашел отражение в черновой строфе главы шестой «Евгения Онегина», не вошедшей в окончательную редакцию романа:

Но плакать и без раны можно
О друге, если был он мил
Нас не дразнил неосторожно
И нашим прихотям служил.

¹ Саводник В. Ф., Сперанский М. Н. Комментарий к Дневнику Пушкина // Дневник А. С. Пушкина. М.: Три века, 1997. С. 487.

² См. об этом: Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб.: Искусство-СПб, 1998. С. 470.

(Но если Жница роковая,
Окравленная, слепая,
В огне, в дыму — в глазах отца
Сразит залетного птенца!)
О страх! о горькое мгновенье
О Ст<роганов> когда твой сын
Упал сражен, и ты один.
[Забыл ты] [Славу] <и> сраженье
И предал славе ты чужой
Успех ободренный тобой.

(VI, 411–412)

Есть и другие преувеличения в этом панегирике Воронцову, которые откроются нам чуть позже. Но, несмотря на все преувеличения, Воронцов, по-видимому, действительно был незаурядным сановником. И не только сановником, но и военачальником. Приверженцы новой тенденции могли бы привести и строки Жуковского из известной патриотической баллады «Певец во стане русских воинов» (быть может, они кем-то и приводятся, но далеко не всеми!), посвященные Воронцову как герою Бородинского сражения:

Наш твердый Воронцов, хвала!
О други, сколь смутилась
Вся рать славян, когда стрела
В бесстрашного вонзилась;
Когда полмертв, окравлен,
С потухшими очами,
Он на щите был изнесен
За ратный строй друзьями...

«Одним из энергичнейших и культурнейших администраторов» XIX века назвал графа В. В. Вересаев в своей известной книге «Спутники Пушкина»¹.

¹ Вересаев В. В. Спутники Пушкина: В 2 т. М., 1993. Т. 2. С. 365.

А вот к вопросу о том, был ли Воронцов при этом еще и «достойным господином», мы еще вернемся. Ведь в отечественной и мировой истории известно немало примеров, когда человеческие качества выдающихся государственных деятелей оставляли, как говорилось когда-то, желать лучшего.

Пока же напомним вкратце этапы и обстоятельства конфликта.

2

Встреча с Воронцовым, во время которой новый генерал-губернатор Новороссийского края и Бессарабии объявил о переходе Пушкина под его начало, состоялась 22–23 июля 1823 года, когда поэт уже находился в Одессе. Решение Воронцова, определившее судьбу Пушкина на ближайшие годы, явилось результатом стараний П. А. Вяземского и А. И. Тургенева, которые в тот момент считали графа просвещенным и достаточно либеральным сановником. Так, примерно за месяц до этого Тургенев сообщал Вяземскому о предпринятых для улучшения положения Пушкина мерах в письме от 15 июня 1823 года: «О Пушкине вот как было. Зная политику и опасения сильных сего мира, следовательно и Воронцова, я не хотел говорить ему, а сказал Нессельроде в виде сомнения, у кого он должен быть: у Воронцова или Инзова. Граф Нессельроде утвердил первого, а я присоветовал ему сказать о сем Воронцову. Сказано — сделано. Я после и сам два раза говорил Воронцову, истолковал ему Пушкина и что нужно для его спасения. Кажется, это пойдет на лад. Меценат, климат, море, исторические воспоминания — все есть; за талантом дело не станет, лишь бы не захлебнулся. Впрочем, я одного боюсь: тебя послали в Варшаву, откуда тебя выслали; Батюшкова — в Италию — с ума сошел; что-то будет с Пушкиным?»¹

¹ Остафьевский архив князей Вяземских. Переписка П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым 1820–1823. СПб.: «Изд. графа С. Д. Шереметьева». Т. 2. С. 333–334.

Очень значимое слово здесь «меценат», понимаемое Тургеневым в том смысле, что Воронцов, один из «сильных сего мира», возьмет под защиту опального Пушкина, обеспечит ему возможность творить на благо, если выразиться несколько выскопарно, отечественной поэзии.

Но Воронцов, соглашаясь взять Пушкина к себе, как оказалось впоследствии, понимал свою роль совершенно иначе, — дурные предчувствия не обманули Тургенева. Хотя по началу все складывалось как будто бы благополучно. Так, Пушкин общал брату в письме от 25 августа 1823: «...я насилу уломал Инзова, чтоб он отпустил меня в Одессу, — я оставил мою Молдавию и явился в Европу, — ресторация и италийская опера напомнили мне старину и ей-богу обновили мне душу. Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляет мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе...» (XIII, 66–67).

Однако уже в письме Тургеневу от 1 декабря 1823 года появляются настораживающие нотки: «Надобно подобно мне провести 3 года в душном азиатском заточении, чтобы почувствовать цену и не вольного европейского воздуха» (XIII, 78; курсив наш. — В. Е.). «Не вольный европейский воздух» (если сравнить с приподнятым тоном письма от 25 августа: «я оставил мою Молдавию и явился в Европу») — это, по-видимому, первый вздох, первое ощущение неудовлетворенности своим положением под надзором Воронцова.

Концом декабря 1823 — 24 января 1824 года датировал М. А. Цявловский в «Летописи...» самое раннее свидетельство Ф. Ф. Вигеля о неприязненном отношении Воронцова к Пушкину: «Раз сказал он мне: вы, кажется, любите Пушкина; не можете ли вы склонить заняться его чем-нибудь путным, под руководством вашим? — Помилуйте, такие люди умеют быть только великими поэтами, — отвечал я. Так на что же они годятся? — сказал он»¹.

¹ Вигель Ф. Ф. Записки. Ч. 6., М.: Изд. «Русского архива», 1892. С. 172.

В феврале 1824 года И. П. Липранди, встречавшийся с Пушкиным в Одессе (С. Л. Абрамович датировала эту встречу 12–19 февраля) «начал замечать какой-то abandon (отчужденность. — В. Е.) в Пушкине» и, как отметила Абрамович, «впервые почувствовал значительную перемену в настроении поэта и его недовольство своим положением»¹.

А уже 6 марта 1824 года Воронцов в письме своему близкому другу генералу П. Д. Киселеву не скрывает неприязни к поэту и сожалеет о том, что взял его к себе: «Что же касается Пушкина, то я говорю с ним не более 4 слов в две недели; он боится меня, так как знает прекрасно, что при первых дурных слухах о нем я отправлю его отсюда и что тогда уже никто не пожелает себе такой обузы <...> По всему, что я узнаю на его счет и через Гурьева, и через Казначеева, и через полицию, он теперь очень благоразумен и сдержан; если бы было иначе, я отослал бы его и лично был бы в восторге от этого, так как я не люблю его манер и не такой уж поклонник его таланта — нельзя быть истинным поэтом, не работая постоянно для расширения своих познаний, а их у него недостаточно» (франц.)².

Не будем здесь подробно комментировать этот в высшей степени интересный для нас документ, отметим лишь, что просвещенный сановник не брезговал и полицейским надзором за поэтом, лично интересовался, какие сведения о нем накоплены полицией! И уж конечно, ни в малейшей степени не собирался брать на себя роль мецената, в том смысле этого слова, какой вкладывали в него Тургенев и Вяземский. Ведь Воронцов видел свои отношения со ссыльным поэтом в совершенно ином ракурсе. Позднее (в конце мая — начале июня 1825 года), уже находясь в Михайловском, Пушкин напишет А. А. Бестужеву: «У нас писатели взяты из высшего класса общества — аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего

¹ Абрамович С. К истории конфликта Пушкина и Воронцова // «Звезда». Л., 1974. № 6. С. 194.

² Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: В 4 т. Т. I. С. 376.

подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою, а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин, — дьявольская разница!» (XIII, 179).

Столь же неприязненным отношением к поэту проникнуто и письмо к М. Н. Лонгинову от 8 апреля 1824 года: «На теперешнее поведение его (Пушкина. — В. Е.) я жаловаться не могу, и, сколько слышу, он в разговорах гораздо скромнее, нежели был прежде, но, первое, ничего не хочет делать и проводит время в совершенной лени, другое — таскается с молодыми людьми, которые умножают самолюбие его, коего и без того он имеет много; он думает, что он уже великий стихотворец, и не воображает, что надо бы еще ему долго почитать и поучиться, прежде нежели точно будет человек отличный»¹.

Таким образом, видимой причиной неудовольствия Воронцова является нежелание Пушкина прилежно исполнять обязанности чиновника, хотя предыдущие начальники (и в Петербурге, и в Кишиневе) не требовали этого от Пушкина, поэта и дворянина, что было для того времени в порядке вещей. И для Пушкина это был вопрос принципиальный. Позднее, когда конфликт вступил в открытую фазу, он откровенно объяснил свою позицию в письме к А. И. Казначееву. Вот, как сформулирована она в сохранившейся черновой редакции письма: «Семь лет я службою не занимался, не писал ни одной бумаги, не был в сношении ни с одним начальником. Эти семь лет, как вам известно, вовсе для меня потеряны. Жалобы с моей стороны были бы не у места. Я сам заградил себе путь и выбрал другую цель. Ради Бога, не думайте, чтобы я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека: оно просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость. Думаю, что граф Воронцов не захочет лишить меня ни того, ни другого. Мне скажут, что я, получая 700 рублей, обязан

¹ Модзалевский Б. Л. Пушкин и его современники. СПб.: Искусство-СПб, 1999. С. 143.

служить. Вы знаете, что только в Москве и в Петербурге можно вести книжный торг, ибо только там находятся журналисты, цензоры и книгопродавцы; я поминутно должен отказываться от самых выгодных предложений единственно по той причине, что нахожусь за 2000 верст от столицы. Правительству угодно вознаграждать некоторым образом мои утраты, я *принимаю эти 700 рублей не так, как жалованье чиновника, но как паек ссыльного невольника*. Я готов от них отказаться, если не могу быть властен в моем времени и занятиях...». Как видно из приведенного фрагмента письма, Пушкин не считал себя обязанным служить и приводил для обоснования этого весьма веские, на наш взгляд, доводы.

Тем не менее 6 марта Воронцов еще не был готов к решительным действиям против Пушкина. Но уже к концу марта ситуация изменилась (то ли Пушкин сумел чем-то особенно досадить графу, то ли у того кончилось терпение): 28 марта он пишет письмо графу К. В. Нессельроде, управляющему Коллегией иностранных дел, чиновником которой продолжал оставаться Пушкин во время своей южной ссылки. В письме «в самых осторожных и сдержанных выражениях и вытекающих как будто из самых чистых побуждений, направленных на пользу самого Пушкина»¹, он просил удалить поэта из Одессы. Мотивировочная часть письма (с намеком на общественное возмущение, вызываемое присутствием Пушкина в городе) вполне могла быть признана в Петербурге убедительной, несомненный интерес представляет она и для нас: «Основной недостаток г. Пушкина — это его самолюбие. Он находится здесь и за купальный сезон *приобретает еще более людей, восторженных поклонников его поэзии*, которые полагают, что выражают ему дружбу, восхваляя его и тем самым оказывая ему злую услугу, кружат ему голову и поддерживают в нем убеждение, что он замечательный писатель, между тем, как он только слабый подражатель малопочтенного образца (лорда Байрона)...» (*франц.*)².

¹ Саводник М. Н., Сперанский М. Н. Указ соч. С. 492.

² Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 1. С. 383.

Однако «осторожность и сдержанность» тона Воронцова обманчивы. Фраза о том, что Пушкин «за купальный сезон приобретает еще более людей, восторженных поклонников его поэзии», далеко не безобидна, если учесть, как воспринималась ситуация в Одессе верховной властью. Весьма интересный для нас в этом смысле документ (письмо Александра I новороссийскому генерал-губернатору от 2 мая 1824 года) опубликован в 1982 году Л. М. Аринштейном в статье, посвященной истории высылки Пушкина из Одессы:

«Граф Михайло Семенович!

Я имею сведение, что в Одессу стекаются из разных мест и в особенности из Польских губерний и даже из военнотружущих без позволения своего начальства многие такие лица, кои с намерением или по своему легкомыслию занимаются лишь одними неосновательными и противными толками, могущими иметь на слабые умы вредное влияние <...> Будучи уверен в усердии и попечительности Вашей о благе общем, я не сомневаюсь, что Вы обратите на сей предмет особенное свое внимание и примете строгие меры, дабы подобные беспорядки <...> не могли иметь места в столь важном торговом городе, какова Одесса...»¹

Хотя письмо царя написано через месяц с небольшим после обращения Воронцова к Нессельроде, мнение о ситуации во вверенном ему городе сложилось в Зимнем дворце, конечно, значительно раньше, и граф не мог не догадываться, что это его обращение придется к стати и послужит доказательством его лояльности царю. Мы не разделяем при этом основного вывода статьи Аринштейна: Воронцов будто бы добивался удаления Пушкина по соображениям исключительно политическим и карьерным. По нашему мнению, Воронцов руководствовался в своих закулисных действиях прежде всего личной неприязнью к поэту, но, конечно, он отдавал себе отчет в том, что эти

¹ Аринштейн Л. М. К истории высылки Пушкина из Одессы // Пушкин. Исследования и материалы. Т. X. Л.: Наука, 1982. С. 293.

его действия являлись политически целесообразными и должны были быть восприняты верховной властью благосклонно. В том и заключалась потаенная суть интриги, потому и не требовалось каких-либо резких слов и обличений в адрес Пушкина. Кроме того, нужно было соблюсти видимость благопристойности: мало ли кому могло стать известным содержание письма. Нет, до уровня примитивного доноса граф еще не опустился — это произойдет с ним позже, в 1828 году, в связи с вызывающей выходкой Александра Раевского...

А в 1824 году Воронцов просил удалить Пушкина, причем куда-нибудь подальше от Одессы — не в Кишинев, где находился поэт до того, потому что и туда смогут ездить к нему «восторженные поклонники», да и «в самом Кишиневе он найдет в боярах и в молодых греках достаточно скверное общество»¹. А кроме того, из Кишинева, пользуясь добротой и расположением своего бывшего начальника генерала И. Н. Инзова, Пушкин смог бы беспрепятственно посещать Одессу: «...он будет тогда в Одессе, но без надзора»². А вот этого, по мнению Воронцова, никак нельзя было допустить! Столь веский довод наверняка с пониманием был воспринят его адресатом.

Относительно Инзова Воронцов был прав. Генерал (по некоторым сведениям, побочный сын Павла I) ценил талант Пушкина и относился к поэту по-отечески. Пушкин также питал к своему бывшему начальнику теплые чувства и с большой симпатией охарактеризовал его в «Воображаемом разговоре с Александром I». Как вспоминал впоследствии Вигель, старый генерал был очень огорчен переводом поэта из Кишинева в Одессу и предчувствовал его неблагоприятные последствия для Пушкина: «Зачем он меня оставил? <...> Конечно, в Кишиневе иногда бывало ему скучно; но разве я мешал его отлучкам, его путешествиям на Кавказ, в Крым, в Киев, продолжавшимся несколько месяцев, иногда более полугода? Разве отсюда не мог

¹ Аринштейн Л. М. К истории высылки Пушкина из Одессы // Пушкин. Исследования и материалы. Т. X. Л.: Наука, 1982. С. 384.

² Там же.

он ездить в Одессу, когда бы захотел, и жить в ней сколько угодно? А с Воронцовым, право, несдобровать ему...»¹

Но возвратимся к письму Воронцова.

Что послужило непосредственной причиной его первого (потом их будет еще несколько) письма к Нессельроде, нам не известно. Нет никаких сведений о том, чтобы Пушкин до 28 марта 1824 года подал своему могущественному недоброжелателю какие-либо поводы для ревности в отношении графини, хотя увлечение поэта ею могло возникнуть еще в декабре 1823 года. Известно, однако, что все это время у него продолжался довольно бурный роман с Амалией Ризнич².

Скорее всего, причина была в другом, и Воронцов, по-видимому невольно, сам назвал ее в письме: «Основной недостаток г. Пушкина — это его самолюбие!» Или, иначе говоря, независимая манера поведения поэта. Вспомним пушкинское признание Бестужеву (письмо конца мая — начала июня 1825 года) в том, что авторское самолюбие «сливается» у него с «аристократической гордостью шестисотлетнего дворянина». Вот что не могло не раздражать властного сановника, давно привыкшего к лести и заискиванию подчиненных.

Не самолюбие, а чувство собственного достоинства, по убеждению близко сошедшего с поэтом в годы его южной ссылки В. П. Горчакова, «с первого дня представления Пушкина гр. Воронцову уже поселило в Пушкине нерасположение к графу»³.

В этом же видели истинную причину конфликта пушкинисты начала XX века: «Гордая независимость Пушкина, его свободная манера держаться в обществе могли не нравиться Воронцову, вызывать в нем чувство недоброжелательства по отношению к Пушкину, в котором он видел прежде всего мелкого и притом опального чиновника, а не гениального поэта»⁴.

¹ Вигель Ф. Ф. Записки: В 2 кн. Кн. 2. М.: Захаров. С. 1103.

² Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 1. С. 336.

³ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 1. С. 342.

⁴ Саводник М. Н., Сперанский М. Н. Указ соч. С. 490.

Укажем в качестве одного из примеров независимого поведения поэта на его нежелание, несмотря на стесненное материальное положение, обедать у Воронцова, который «для всех своих несемейных чиновников держал "открытый стол"»¹. Брату (в том же, уже цитированном нами, письме от 25 августа 1823 года, где сообщалось о любезном и ласковом приеме Воронцова) Пушкин писал по этому поводу: «Изъясни отцу моему, что я без его денег жить не могу. Жить пером мне невозможно при нынешней цензуре; ремеслу же столярному я не обучался; в учителя не могу идти; хоть я знаю Закон Божий и 4 первые правила — но служу и не по своей воле — и в отставку идти невозможно <...> На хлебах у Воронцова я не стану жить — не хочу и полно...» (XIII, 67).

Воронцов же, будучи достаточно богатым, наоборот, всячески стремился выступать по отношению к своим подчиненным в качестве благодетеля, чтобы расположить их к себе и стимулировать, таким образом, их личную преданность². Поэтому нежелание Пушкина одалживаться у начальника не могло ему понравиться.

Острое раздражение Воронцова вызывало, как мы уже отметили, нежелание поэта становиться прилежным чиновником.

Да и все поведение Пушкина было подчеркнуто, порою даже вызывающе, независимым. Об этом можно судить по отзыву о поэте Н. В. Басаргина, будущего декабриста, а в те годы адъютанта генерала Киселева: «В Одессе я встретил также нашего знаменитого поэта Пушкина. Он служил тогда в Бессарабии при генерале Инзове. Я еще прежде этого имел случай видеть его в Тульчине у Киселева. Знаком я с ним не был, но в обществе раза три встречал. Как человек он мне не понравился. Какое-то бретерство, *suffisance* (высокомерие — *(франц.)*), и желание осмеять, уколоть других. Тогда же многие из знавших его

¹ Абрамович С. К истории конфликта Пушкина и Воронцова // «Звезда». Л., 1974. № 6. С. 192.

² Соответствующее свидетельство Ф. Ф. Вигеля приводится в следующем разделе настоящей статьи.

говорили, что рано или поздно, а умереть ему на дуэли. В Кишиневе он имел несколько поединков»¹.

Не отказывал себе Пушкин и в удовольствии щегольнуть порой колкой эпиграммой, большая часть которых, как утверждал Липранди, не записывалась автором². Известен, например, фрагмент одной из них, касающейся «некоторых дам, бывших на бале у графа», стихи эти, по свидетельству Липранди, «своим содержанием раздражили всех»³:

Мадам Ризнич с римским носом,
С русской < - - - - > Рено (II, 419).

Известно, что бал этот имел место 12 декабря 1823 года, а стихи датируются 13–20 декабря...

В. Ф. Вяземская, правда, уже позднее, в июне, встретившись с Пушкиным по приезду в Одессу, писала мужу: «Ничего хорошего не могу сказать тебе о племяннике Василия Львовича, поэте Пушкине. Это совершенно сумасшедшая голова, с которой никто не может совладать... — и далее, — никогда не приходилось мне встречать столько легкомыслия и склонности к злословию, как в нем: вместе с тем, я думаю, у него доброе сердце и много мизантропии; не то чтобы он избегал общества, но он боится людей; это, может быть, следствие несчастий и вина его родителей, которые его таким сделали»⁴.

Все эти особенности характера поэта, резко выделявшие его из чиновничьей среды, только усиливали неприязнь властного и надменного Воронцова.

Кульминацией же конфликта стал известный эпизод с командированием Пушкина «на саранчу» 22–23 мая. Ситуация

¹ *Немировский И. В.* Творчество Пушкина и проблема публичного поведения поэта. СПб.: Гиперион, 2003. С. 195.

² *Липранди И. П.* Из дневника и воспоминаний // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 342.

³ Там же.

⁴ *Модзалевский Б. Л.* Пушкин и его современники. Избранные труды (1898–1928). СПб.: Искусство-СПб, 1999. С. 146.

тех дней довольно выразительно описана Вигелем: «Через несколько дней по приезде моем в Одессу встревоженный Пушкин вбежал ко мне сказать, что ему готовится величайшее неудовольствие. В это время несколько самых низших чиновников из канцелярии генерал-губернаторской, равно как из присутственных мест, отряжено было для возможного еще истребления ползающей по степи саранчи; в число их попал и Пушкин. Ничего не могло быть для него унижительнее... Для отвращения сего добрейший Казначеев медлил исполнением, а между тем тщетно ходатайствовал об отменении приговора. Я тоже заикнулся было на этот счет; куда тебе! Он (Воронцов. — В. Е.) побледнел, губы его задрожали, и он сказал мне: "Любезный Ф. Ф., если вы хотите, чтобы мы остались в прежних приятных отношениях, не упоминайте мне никогда об этом мерзавце..."»¹

Что же заставило графа, позабыв о своих утонченных манерах и выдержке англомана, унизиться в глазах подчиненного до откровенной грубости? Видимо, сильно досадил ему Пушкин каким-то поступком, он умел это сделать! Но, скорее всего, дело в том, что конфликт к этому времени перерос в открытое противостояние.

Причиной обострения конфликта могла стать и ревность Воронцова, если он заметил (или узнал от доброжелателей) что-то подозрительное в отношениях поэта с его женой, хотя никаких свидетельств тому мы не имеем (отметим все же, что в начале мая 1824 года Одессу навсегда покинула Амалия Ризнич). Но даже если это была ревность, достойный человек не избрал бы для наказания неправого, по его мнению, столь недостойные способы, к каким прибег Воронцов, не стал бы плести против него искусные интриги. Однако все эти предположения о ревности (и в мае 1824 года), как мы уже отметили выше, остаются лишь предположениями. Никаких внятных свидетельств на этот счет нет ни в воспоминаниях Липранди, ни в «Записках» Вигеля, ни в письмах Вяземской к мужу из Одессы. Последнее обстоятельство особо подчеркнул в свое время

¹ Вигель Ф. Ф. Указ. соч. С. 1121.

Б. Л. Модзалевский: «Никаких намеков ни на ревность Воронцова, ни на предательство Раевского, ни на политические выходы Пушкина в письмах Вяземской не находим, — а она, конечно, была в полном курсе всего, что происходило тогда в Одессе и что касалось Пушкина, к которому она относилась с живой и нежной симпатией...»¹

Возвратившись из командировки, Пушкин имел объяснение с Воронцовым, подробности которого нам не известны, и 2 июня 1824 года написал прошение об отставке на высочайшее имя, известив об этом генерал-губернатора, — 8 июня прошение это было получено в его канцелярии и незамедлительно отправлено в столицу.

В упоминавшейся уже статье Абрамович увидела в командировании Пушкина «на саранчу» тщательно спланированную интригу: «Со стороны Воронцова все это было точно рассчитанным ходом. Дело в том, что прошло уже почти два месяца с тех пор, как граф направил Нессельроде свое ходатайство о переводе Пушкина, а из Петербурга еще не было никакого ответа, несмотря на то что Воронцов в письмах снова и снова напоминал о своей просьбе. Воронцов был достаточно проницателен, чтобы предвидеть реакцию Пушкина. Даже в письмах Нессельроде и Киселеву он неоднократно проговаривался, что его больше всего раздражает "самолюбие" поэта. И расчет Воронцова оправдался... После возвращения из командировки Пушкин совершил отчаянный в его положении шаг: он подал на высочайшее имя прошение об отставке <...> Конечно, там (в Петербурге. — В. Е.) это прошение Пушкина было расценено как дерзкий вызов, что, несомненно, ухудшило участь поэта»².

Этими же днями датируется убийственная эпиграмма на Воронцова «Полу-милорд, полу-купец...» и начальные стихи другой эпиграммы «Сказали раз царю, что наконец...». Поэт защищается единственным доступным для него способом.

¹ Модзалевский Б. Л. Пушкин и его современники. С. 146–147.

² Абрамович С. Указ. соч. С. 195–196.

И тут неблагоприятную для него ситуацию усугубила новая неприятность. Содержание пушкинского письма (датируется апрелем — 15 мая) одному из друзей об «уроках чистого афеизма», которые он якобы берет у воронцовского доктора англичанина Уильяма Хатчинсона, стало известно властям. Теперь вопрос об исключении из службы и новой ссылке был окончательно решен самим императором.

Как сообщал Нессельроде Воронцову письмом от 11 июля 1824 года, Александр I принял его предложение об удалении Пушкина «после рассмотрения тех основательных доводов», на которых Воронцов основывал свои предложения, и «подкрепленных в это время другими сведениями, полученными Е. В. об этом молодом человеке...»¹. «Другие сведения» — это, в частности, перлюстрированное полицией пушкинское письмо об атеизме, выписка из которого прилагалась к письму Нессельроде.

Но поэт не догадывался о приближающейся развязке. Именно в летние месяцы роман с графиней Воронцовой получил, по видимому, наивысшее развитие и драматизм, особенно в последние дни июля. Подтверждением тому служит известное свидетельство Вяземской в письме к мужу из Одессы от 1 августа 1824 года: «Я была единственной поверенной его (Пушкина. — В. Е.) огорчений и свидетелем его слабости, так как он был в отчаянии от того, что покидает Одессу, *в особенности из-за некоего чувства, которое разрослось в нем за последние дни*, как это бывает. Не говори ничего об этом, при свидании мы потолкуем об этом менее туманно, есть основания прекратить этот разговор»².

Неожиданный финал наступил 29 июля 1824 года: одесский градоначальник А. Д. Гурьев по указанию Воронцова, находившегося в Симферополе, объявил Пушкину об увольнении и обязал его немедленно выехать в Михайловское, да в пути нигде не останавливаться до прибытия в Псков...

¹ Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. I. С. 416–417.

² Цявловская Т. Г. Храни меня, мой талисман... // Утаенная любовь Пушкина. СПб., 1997. С. 324.

Вяземский был потрясен жестокой расправой с Пушкиным, он всерьез опасался катастрофических последствий Михайловской ссылки для своего молодого друга и в письме от 13 августа 1824 года излагал свои опасения Тургеневу: «Как можно такими крутыми мерами поддразнивать и вызывать отчаяние человека! Кто творец этого бесчеловечного убийства? Или не убийство — заточить пылкого, кипучего юношу в деревне русской? Правительство верно было обольщено ложными сплетнями. Да и что такое за наказание за вины, которые не подходят ни под какое право? <...> Да и постигают ли те, которые вовлекли власть в эту меру, что есть ссылка в деревне на Руси? Должно точно быть богатырем духовным, чтобы устоять против этой пытки. Страшусь за Пушкина! <...> Тут поневоле примешься за твое геттингенское лекарство: не писать против Карамзина, а пить пунш. Признаюсь, я не иначе смотрю на ссылку Пушкина, как на *coup de grace*, что нанесли ему. Не предвижу для него исхода из этой бездны. Неужели не могли вы отвлечь этот удар? Да зачем не позволить ему ехать в чужие края?»¹

Столичное общественное мнение, как сообщал Пушкину в Михайловское А. А. Дельвиг в письме от 28 сентября, было на стороне поэта: «Общее мнение для тебя существует и хорошо мстит. Я не видал ни одного порядочного человека, который бы не бранил за тебя Воронцова...» (XIII, 110). Но от этого новая ссылка не становилась менее тяжелой.

Существует, правда, мнение, что без Михайловской ссылки поэтическое развитие Пушкина пошло бы по совершенно другому пути: не было бы «Бориса Годунова», совсем иными были бы центральные главы «Онегина» (IV, V и VI). Что ж, очень может быть. Но не стоит забывать, что все эти вершинные создания появились на свет лишь благодаря тому, что Пушкин действительно оказался, по выражению Вяземского, «богатырем духовным», выстоял, выжил, вопреки обстоятельствам.

¹ Остафьевский архив. Т. III. С. 73–74. *Coup de grace* — добывающий удар (франц.).

А сколько было критических, невыносимо трудных ситуаций: разрыв с отцом, едва не приведший к катастрофическим последствиям; обида на друзей в Петербурге и новые взывания к ним о помощи; мысли о побеге за границу; неосуществившееся, к счастью, спонтанное желание самовольно выехать в Петербург накануне декабрьского восстания; и самое страшное постоянно осознаваемая бессрочность ссылки. Нет, прав был наш современник, откликнувшийся на эту тему такими стихами:

...Ну что ж!
Пусть нам служит утешеньем
После выплывшая ложь,
Что его пленяла ширь,
Что изгнание не томило...
Здесь опала. Здесь могила.
Святогорский монастырь¹.

Нет, ссылка все-таки оставалась ссылкой, и рассуждать о том, как она была благодатна для 25-летнего поэта, могут только люди, никогда не испытывавшие ничего подобного.

3

Итак, личный конфликт мелкого чиновника канцелярии Александра Сергеевича Пушкина с генерал-губернатором графом Михаилом Семеновичем Воронцовым завершился, как того и следовало ожидать, полной победой последнего. То есть начальник, если прибегнуть к современной лексике, в полной мере использовал свое служебное положение. Сама эта победа многое говорит о человеческих качествах Воронцова. Он показал себя мелким и мстительным человеком — всю свою власть

¹ Самойлов Д. Святогорский монастырь // «Равноденствие». М.: Худ. лит., 1972. С. 148–149.

и все свое влияние при дворе он использовал для того, чтобы попытаться унижить, раздавить подчиненного, посмеявшегося демонстрировать ему чувство собственного достоинства.

Воронцов всегда вел себя так с неугодными ему людьми. О соединении в его характере «самых любезных свойств с ужасным, всякую меру превосходящем самолюбием»¹ свидетельствовал Вигель, вспоминая о том времени (1815–1816), когда Воронцов командовал русскими оккупационными войсками в Париже. Уже в то время, как считал Вигель, «привычка быть обожаемым обратилась у него в потребность; он стал веровать только в себя и в приближенных своих, а на всех прочих смотрел с жесточайшим презрением»². Там жертвою Воронцова оказался «безобидный» генерал Алексеев: «Внимая наговорам, разным родственным сплетням, без всякой настоящей причины, стал он вдруг сильно преследовать человека в равном с ним чине <...> Оскорбленный, раздраженный и от ран уже хворый воин до того был встревожен, что слег в постелю, и все думали, что он уже с нее не встанет. Неправосудие было так очевидно, что все дивизионные и бригадные генералы явно возроптали...»³

Особенности характера Воронцова Вигель объяснял, в частности, своеобразно воспринятым нашим героем английским воспитанием: «Сын богатого и знатного человека, он воспитан в Англии, где многие лорды богаче и сильнее немецких владельцев князей, и если подобно им не имеют подданных, зато множество благородных и просвещенных людей идут к ним в кабалу, вместе с ними вступают в службу и оставляют ее: это называется патронедж. Нечто подобное хотелось завести ему для себя в России, где царствует подчиненность начальству, а подданство только одному человеку. В первой молодости, под видом доброго товарищества, поселил он в отцовском доме несколько преображенских офицеров, содержал их, поил, кормил

¹ Вигель Ф. Ф. Указ. соч. С. 880.

² Там же. С. 907.

³ Там же. С. 880.

и, разумеется, надо всеми брал верх. Как главный начальник русского войска в Мобеже, щедротами на французские деньги призвал он к себе неимущих людей: Богдановского, Дунаева, Лонгинова, Казначеева, Франка, Арсеньева, Ягницкого <...> В них видел он свою собственность; в Новороссийском крае некоторых посадил на высшие места и начал делать новый набор, в который по неведению и я как-то попал. *Заметив, однако, что я не совсем охотно признаю над собою крепостное его право, начал он преследовать меня*¹.

Таким же преследованиям подвергся через несколько лет управитель генерал-губернаторской канцелярии Казначеев, отзывавшийся впоследствии о Воронцове как о человеке двуличном и неискреннем².

Для устранения нежелательных для него лиц, случалось, не брезговал Воронцов самыми недостойными способами, как, например, в скандальной истории 1828 года с Александром Раевским. Справедливости ради, отметим, что он имел моральное право добиваться удаления молодого Раевского из Одессы после его безрассудной выходки (это признавал и отец потерпевшего), но способ, который был избран генерал-губернатором, вызвал справедливое возмущение Н. Н. Раевского-старшего и получил должную оценку в его письме младшему сыну Николаю: «Гр. Воронцов, желая отдалить из Одессы твоего полусумасшедшего брата, нашел благоразумный способ сыскать на него доносчика, будто он вольно говорит о правительстве и военных действиях! Ты знаешь, мой друг Николушка, может ли быть; эти все дурачества влюбленного человека он действительно делал, но предосудительного, — с его чувствами не сходно. И, думая скрыть свое действие, извещает меня о том, что по повелению Государя велено ему ехать в Полтаву, впредь до рассмотрения, уверяя притом, что он сему не причиной, что он

¹ Вигель Ф. Ф. Указ. соч. С. 1187–1188.

² Модзалевский Б. Л. Объяснительные примечания к Дневнику Пушкина // Дневник А. С. Пушкина. С. 143.

сему не верил, но справлялся и действительно нашел, что донесение на него справедливо. Я писал Государю истину, что клеветник есть граф Воронцов...»¹.

Замечательно выразительную характеристику Воронцова оставил другой современник, знавший его по Одессе: «Чем ненавистнее был ему человек, тем приветливее обходился он с ним; чем глубже вырывалась им яма, в которую готовился пихнуть он своего недоброхота, тем дружелюбнее жал он его руку в своей. Тонко рассчитанный и издавлек заготавливаемый удар падал всегда на голову жертвы в ту минуту, когда она менее всего ожидала такового»².

Не чужд был надменный сановник и низкопоклонства перед теми, кто сильнее его. По воспоминанию Басаргина, Воронцов еще в 1823 году во время торжественного обеда в Тульчине «много потерял в общем мнении» недостойно подобострастной репликой на сообщение императора Александра I о пленении вождя испанской революции Риего³. Позднее этот эпизод нашел отражение в пушкинской эпиграмме «Сказали раз Царю, что наконец...». Другой пример, когда Воронцов ездил на дачу влиятельного чиновника Военного министерства Позена, чтобы подобострастно поздравить его с днем рождения, приводится в записках сенатора К. И. Фишера: «Воронцов — вельможа всеми приемами, — производил очень выгодное впечатление; впоследствии сарказмы Пушкина туманили его репутацию, но я продолжал верить в его аристократическую натуру и не верить Пушкину, тем более что князь Меншиков отзывался о нравственных качествах Пушкина очень неодобрительно... Но когда Воронцов поехал к Позену на дачу поздравить его с днем рождения, я поневоле должен был разделить мнение о Воронцове, господствовавшее в общественной молве. Под конец Воронцовские мелкие интриги, нахальное лицепрятание и даже

¹ Пушкин. Письма. Т. II. С. 309.

² Маркевич Б. М. Полн. собр. соч.: В 11 т. Т. XI. М., 1912. С. 397.

³ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. II. Л.: Наука, 1977. С. 377.

ложь — уронили его совершенно в моем мнении, и я остаюсь при том, что он был дрянной человек»¹.

Нужно признать, правда, что не все современники отзывались о Воронцове столь же нелицеприятно. Были и такие, что восхищались им. Так, например, А. Я. Булгаков 1 октября 1828 года писал брату в связи со скандальной историей с Александром Раевским: «Кажется, чего недостает нашему милому Воронцову? <...> Сколько у него есть завистников? Но ежели справедлива история, которую на ухо здесь рассказывают о поступке глупом молодого Раевского с графиней, то не должно ли это отравить спокойствие этого бесценного человека...»²

Да, отзыву Н. Н. Раевского (или Вигеля) можно противопоставить мнение А. Я. Булгакова, московского почтового директора с 1832 года (это он распечатал пушкинское письмо жене от 20–22 апреля 1834 года и отправил его Бенкендорфу!)...

Но само сопоставление имен уже говорит за себя!

Поэтому Толстой в главе IX «Хаджи Мурата» все же представил Воронцова самодовольным сановником, не представляющим жизни без обладания властью и без покорности окружающих. Толстой отметил, в частности, что, являясь одним из «русских высших чиновников», Воронцов уделял немалое внимание своему личному благоустройству: «Он владел большим богатством — и своим и своей жены, графини Браницкой — и огромным получаемым содержанием в качестве наместника и тратил большую часть своих средств на устройство дворца и сада на южном берегу Крыма»³. Что ж, радение о личном благе черта общая для большинства именитых сановников, и Воронцов не является здесь исключением. Более выразителен центральный эпизод упомянутой главы: «Разговорившийся генерал стал рассказывать про то, где он в другой раз столкнулся с Хаджи-Муратом.

¹ Записки сенатора К. И. Фишера // Исторический Вестник. 1908. № 2. С. 449.

² Пушкин. Письма. Т. II. С. 309.

³ Толстой Л. Н. Хаджи Мурат // Л. Н. Толстой. Собр. соч.: В 20 т. Т. XIV. М.: Худ. лит., 1983. С. 58.

— Ведь это он, — говорил генерал, — вы изволите помнить, ваше сиятельство, устроил в сухарную экспедицию засаду на выручке.

— Где? — переспросил Воронцов, щуря глаза.

Дело было в том, что храбрый генерал называл "выручкой" то дело в несчастном Даргинском походе, в котором действительно погиб бы весь отряд с князем Воронцовым, командовавшим им, если бы его не выручили вновь подошедшие войска. Всем было известно, что весь Даргинский поход, под начальством Воронцова, в котором русские потеряли много убитых и раненых и несколько пушек, был постыдным событием, и потому, если кто и говорил про этот поход при Воронцове, то говорил только в смысле, *в котором Воронцов написал донесение царю, то есть, что это был блестящий подвиг русских войск. Словом же "выручка" прямо указывалось на то, что это был не блестящий подвиг, а ошибка, погубившая многих людей.* Все поняли это, и одни делали вид, что не замечают значения слов генерала, другие испуганно ожидали, что будет дальше; некоторые улыбаясь переглянулись.

Один только рыжий генерал с щетинистыми усами ничего не замечал и, увлеченный своим рассказом, спокойно ответил:

— На выручке, ваше сиятельство.

И раз заведенный на любимую тему, генерал подробно рассказал, как "этот Хаджи Мурат так ловко разрубил отряд пополам, что, не приди нам на выручку, — он как будто с особенной любовью повторял слово «выручка», — тут бы все и остались потому..."

Генерал не успел досказать все, потому что Манана Орбелиани, поняв, в чем дело, перебила речь генерала, расспрашивая его об удобствах его помещения в Тифлисе. Генерал удивился, оглянулся на всех и на своего адъютанта в конце стола, упорным и значительным взглядом смотревшего на него, — и вдруг понял...»¹

¹ Толстой Л. Н. Хаджи Мурат. С. 59–60.

Не так уж блистательны были порой, по представлению Толстого, военные действия Воронцова на Кавказе. А донесение царю о «блестящем подвиге русских войск», призванное скрыть ошибку, «погубившую многих людей», так напоминает десятки, а может быть, и сотни донесений иных отечественных сановников в последующие полтора века истории России, вплоть до наших дней!

Таким образом, судя по многочисленным свидетельствам современников, Воронцов представлялся им, как принято сейчас говорить, фигурой далеко не однозначной. Могущественный сановник, опытный и заслуженный военачальник, граф, позднее князь, он совершал порой поступки (и не только в случае с Пушкиным), которые никак не вяжутся с образом «достойного, достойнейшего господина». Эти свидетельства современников стоило бы, наверное, объективности ради, учитывать авторам современных панегириков Воронцову.

4

А суть конфликта Пушкина с Воронцовым заключалась не в том, что они, вероятнее всего, с самого начала почувствовали острую взаимную неприязнь; и даже не в том, что один был начальником, а другой — подчиненным; и не в том также, что Воронцова один из современников (Фишер) прямо назвал «дрянным человеком», а о Пушкине тот же Вигель, человек, по мнению многих, язвительный и не весьма приятный, оставил такие прочувствованные слова: «Его хвалили, бранили, превозносили, ругали. Жестоко нападая на проказы его молодости, сами завистники не смели отказать ему в таланте; другие искренне дивились его чудесным стихам, но немногим открыто было то, что в нем было, если возможно, еще совершеннее, — его всепостигающий ум и высокие чувства прекрасной души его»¹.

¹ Вигель Ф. Ф. Указ. соч. С. 825.

Суть конфликта заключалась в том, что Пушкин был поэтом и не просто поэтом — гением. А сановник Воронцов, не то чтобы не захотел, а просто органически не в состоянии был это понять. Он, как говорится, был сделан из другого теста. Ну кто бы еще из просвещенных современников Пушкина, имевших возможность чуть ли ни ежедневного общения с ним, смог бы позволить себе столь самодовольное признание: «...я говорю с ним не более 4 слов в две недели» (письмо Киселеву от 6 марта 1824 года). И это признание сделано еще за два с лишним месяца до начала открытого противостояния с поэтом!

Пушкин (безотносительно к себе) хорошо понимал, что такое гений, например гений Байрона. Во второй половине ноября 1825 года в письме Вяземскому, призывая не сожалеть о «потере записок Байрона», он убеждал его всегда быть «заодно с Гением» (XIII, 243). Сам он рано, чуть ли ни в лицейские годы, осознал свое предназначение и масштаб своих творческих возможностей. Он поэтому имел все основания в письме Тургеневу от 14 июля 1824 года охарактеризовать конфликт с Воронцовым (оставим в стороне его весьма резкие выражения) следующим образом: «Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое» (XIII, 103).

Воронцов же, несмотря на свою европейскую просвещенность, не понимал, что творческий процесс происходит не только, когда перо поэта скользит по бумаге, что творческий процесс идет у поэта постоянно, не прерываясь ни на минуту (когда он, задумавшись, смотрит вдаль; когда отвечает, еле сдерживая смех, на ироничную реплику собеседника; когда подносит ложку ко рту во время званого обеда). И во сне его подсознание продолжает работу, и даже, наверное, на смертном одре, за мгновение до смерти...

Только за время пребывания в Одессе, с июля 1823 по июль 1824 года, Пушкиным написано около 30 лирических стихотворений, в том числе «Ночь», «Надеждой сладостной младенчески дыша...», «Демон», «Простишь ли мне ревнивые мечты...», «Свободы сеятель пустынный...», «Телега жизни», первые редакции столь крупных и значительных стихотворений, как «Недвижный

страж дремал на царственном пороге...» и «К морю», произведена окончательная отделка и подготовка к печати «Бахчисарайского фонтана», начаты «Цыганы» (черновая редакция первых 145 стихов), окончена глава первая (начата 9 мая 1823 года в Кишиневе), полностью написана глава вторая и значительная часть главы третьей «Евгения Онегина». Кроме того, он вел интенсивную литературную переписку с друзьями и знакомыми в Петербурге и Москве. Адресатами его писем были А. А. Бестужев, П. А. Вяземский, А. А. Дельвиг, А. И. Тургенев, А. А. Шишков, Н. И. Кривцов и др.

Забавно читать в связи с этим, что Воронцов в конце 1823 — начале 1824 года, как мы уже отмечали, предлагал Вигелю склонить поэта «заняться чем-нибудь путным», а в уже цитированном нами письме Лонгинову от 8 апреля 1824 года характеризовал Пушкина как человека, который «ничего не хочет делать и проводит время в совершенной лениности».

За это же время имя Пушкина не сходило со страниц литературных изданий. О нем писали в «Отечественных записках», «Соревнователе просвещения», «Полярной звезде», «Сыне отечества», «Литературных листках» и, наконец, в лондонском «Westminster Review», чего англоман Воронцов не мог не знать. В это же время в различных изданиях выходили стихи и поэмы Пушкина. М. П. Погодин 23 сентября 1823 года записал в дневнике: «Государь, прочтя Кавказского пленника, сказал: надо помириться с ним»¹. Тургенев 11 марта 1824 года пишет Вяземскому: «Что же "Фонтан" по сию пору на нас не брызжет? Не забудь прислать получше экземпляр для императрицы»².

А у Воронцова слава Пушкина вызывала откровенное раздражение, и он обращал внимание Нессельроде на «восторженных поклонников», которые напрасно кружат голову Пушкину, уверяя его, «что он замечательный писатель»!

Воронцов не только не понимал, что Пушкин — поэт, и не придавал этому никакого значения, он не воспринимал Пушкина и как личность, считая, что тот не работает «постоянно

¹ Вигель Ф. Ф. Указ. соч. С. 342.

² Остафьевский архив. Т. 3. С. 17.

для расширения своих познаний», которых у «него недостаточно». И такое суждение выносилось о Пушкине, которого через два с небольшим года новый император Николай I назовет умнейшим человеком России (что не сделает, впрочем, жизнь поэта безоблачной и не избавит его от коллизий с властью, но это уже другая тема: «Поэт и царь»). Такое суждение высказал Воронцов о Пушкине, колоссальная осведомленность которого в самых различных вопросах мировой истории и литературы поражает воображение многочисленных пушкинистов на протяжении почти 170 лет, прошедших со дня его гибели.

При этом все же следует признать, что высокомерное отношение Воронцова к поэту и к делу поэта не являлось каким-то невероятным, чудовищным недоразумением: нет, для сановников это было в порядке вещей. Российские сановники в подавляющем большинстве своем никогда не понимали (и не понимают сейчас) значения поэта и его деятельности. Так, после смерти Пушкина председатель Цензурного комитета и попечитель С.-Петербургского учебного округа князь М. А. Дондуков-Корсаков был возмущен некрологом, опубликованным в «Литературном прибавлении к Русскому Инвалиду» в связи со смертью Пушкина, и отчитал за него редактора А. А. Краевского: «Я должен вам передать, — сказал попечитель Краевскому, — что министр (Сергей Семенович Уваров) крайне, крайне недоволен вами! К чему эта публикация о Пушкине? Что это за черная рамка вокруг известия о кончине человека не чиновного, не занимавшего никогда никакого положения на государственной службе? Ну, да это еще куда ни шло! Но что за выражения! "Солнце поэзии!!" "Помилуйте, за что такая честь? "Пушкин скончался ... в середине своего великого поприща!" "Какое это такое поприще? Сергей Семенович именно заметил: разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж?! Наконец, он умер без малого сорока лет! Писать стишки не значит еще, как выразился Сергей Семенович, проходить великое поприще!»¹

¹ Вересаев В. Пушкин в жизни. Минск: «Мастацкая литература», 1986. С. 598.

Тирада Уварова по сути совпадает со сказанным Воронцовым Вигелю в конце 1823 — начале 1824 года (мы это уже цитировали): «Помилуйте, такие люди умеют быть только великими поэтами, — отвечал я (Вигель. — *В. Е.*). Так на что же они годятся? — сказал он».

Но со временем Воронцов, возможно, изменил свое мнение, во всяком случае, известен его довольно сочувственный отклик на известие о смерти поэта: «Мы все здесь удивлены и огорчены смертью Пушкина, сделавшего своими дарованиями так много чести нашей литературе»¹. Правда, следующая фраза его письма свидетельствует о том, что он и тогда столь же плохо понимал поэта, как 13 лет назад: «Еще более горестно думать, что несчастья этого не было бы, если бы не замешались в этом деле комеражи, которые, вместо того чтобы успокоить человека, раздражали его и довели до бешенства»². Все дело, по его представлению, было «в комеражах», которых поэт не сумел вынести и дошел до бешенства. Неясно к тому же, как эти «комеражи» могли бы «успокоить человека»? Нельзя также не привести здесь не лишенный определенных оснований саркастический комментарий И. С. Зильберштейна к сочувственному будто бы письму Воронцова: «Несомненно, что лицемерно-сочувственные строки Воронцова о гибели поэта вызваны были желанием хитрого царедворца отделить себя в глазах общества от врагов Пушкина. Это предположение подтверждает записка М. И. Лекса (адресата Воронцова. — *В. Е.*) к В. А. Жуковскому от 25 февраля 1837 г.: "Имею честь препроводить при сем выписку из письма графа М. С. Воронцова. Он достойно чтит память незабвенного Пушкина и чрез то усиливает свои права на общее уважение"³. Очень может быть, что сочувственные слова Воронцова не в последнюю очередь вызваны были желанием «усилить свои права на общее уважение». А вот Уваров и Дондуков-Корсаков такого желанья, судя по всему, не имели.

¹ Литературное наследство. Т. 58. М., 1952. С. 44.

² Там же.

³ Там же.

Однако у времени свои критерии. И вот почти через 125 лет после смерти Пушкина другой русский поэт, Анна Ахматова, как бы подвела итог полемике о статусе поэта, в частности о том, сопоставимо или не сопоставимо его поприще с поприщем министра или полководца: «Вся эпоха (не без скрипа, конечно) мало-помалу стала называться пушкинской. Все красавицы, фрейлины, хозяйки салонов, кавалерственные дамы, члены высочайшего двора, министры, аншефы и не-аншефы постепенно начали именоваться пушкинскими современниками, а затем просто опочили в картотеках и именных указателях (с перевернутыми датами рождения и смерти) пушкинских изданий»¹. Воронцову повезло больше. Его имя осталось в истории России и в литературе — не только в пушкинских эпиграммах и письмах, не только в толстовской повести, но и в весьма лестной для него строфе баллады Жуковского «Певец во стане русских воинов». Но тут уместно отметить, что сам Жуковский после удаления в 1824 году Пушкина из Одессы, судя по некоторым фактам, не расположен был лично общаться с Воронцовым: «Описывая случайную встречу Воронцова и Жуковского на почтовой станции близ Дерпта (Тарту) в октябре 1827 г., нечаянный ее свидетель, английский врач А. Грэнвил, замечает, что Воронцов с большим почтением обращался к Жуковскому, последний же, хотя он и Воронцов ехали в одном направлении, без особых церемоний умчался вперед — ”очевидно, очень топясь“, добавляет рассказчик»².

Да, эпоха, по справедливому замечанию Ахматовой, стала называться пушкинской. Совсем иное значение приобрел статус поэта в России. Свершилось то, о чем мечтательно рассуждал Жуковский в письме к Вяземскому из Дрездена (26 декабря 1826 года): «Нет ничего выше как быть писателем в настоящем смысле. Особенно для России. У нас писатель с гением сделался бы более Петра Великого. Вот для чего я желал бы обратиться на минуту в вдохновительного гения для Пушкина, чтобы

¹ Ахматова А. О Пушкине. С. 6.

² Аринштейн Л. М. Указ. соч. С. 297.

сказать ему: ”Твой век принадлежит тебе! Ты можешь сделать более твоих предшественников...“»¹.

Недаром наш современник, автор многих и разных поэтических деклараций, провозгласил, что «поэт в России больше, чем поэт». Кажется, тут он не ошибся. Этому новому статусу поэта Россия обязана Пушкину.

Есть в «Сказке о золотом петушке» такое признание:

Но с иным накладно вздорить, —

Пушкин, как известно, подразумевал под «иным» царя. И вот сегодня возникает соблазн воспринимать эту строчку в обратном смысле: напрасно новороссийский генерал-губернатор и полномочный наместник Бессарабии граф Михаил Семенович Воронцов так недостойно «вздорил» с поэтом, не прибавило это славы его имени...

2006

¹ Литературное наследство. Т. 58. М., 1952. С. 60.

ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТОЛОГИИ

«С ГОМЕРОМ ДОЛГО ТЫ БЕСЕДОВАЛ ОДИН...»

В настоящей главе мы не собираемся отрицать (или приуменьшать) значение того факта, что советская текстологическая наука имеет неоспоримые и даже выдающиеся заслуги в изучении пушкинского наследия. Однако немало было и сомнительных решений. Об одном таком частном, но весьма характерном случае и пойдет речь дальше.

1

В третьем томе Большого академического собрания сочинений Пушкина находится бывшее когда-то предметом острой полемики стихотворение «С Гомером долго ты беседовал один...», которому в советское время было присвоено редакционное название «Гнедичу»:

С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали,
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали.
И что ж? ты нас обрел в пустыне под шатром,
В безумстве суетного пира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира.
Смутились мы, твоих чуждаясь лучей.
В порыве гнева и печали
Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей,
Разбил ли ты свои скрижали?
О, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты
Скрываться в тень долины малой,

Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты
 Жужжанью пчел над розой алой.
 [Таков прямой поэт. Он сетует душой
 На пышных играх Мельпомены,
 И улыбается забаве площадной
 И вольности лубочной сцены,]
 То Рим его зовет, то гордый Илион,
 То скалы старца Оссиана,
 И с дивной легкостью меж тем летает он
 Во след Бовы или Еруслана.

При этом пятая строфа дается в квадратных скобках — знак того, что она была зачеркнута автором.

Однако еще в начале XX века стихотворение выглядело совершенно иначе — оно состояло лишь из 16 стихов и имело название «К Н**». Именно так оно было впервые опубликовано Жуковским (1841) в посмертном собрании сочинений Пушкина и с тех пор именно в таком виде воспроизводилось во всех дореволюционных изданиях (за исключением собрания сочинений под редакцией В. Я. Брюсова). Этот текст рассматривал Белинский («Сочинения Александра Пушкина. Статья 3-я»)¹, его же привел Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (письмо Жуковскому «О лиризме наших поэтов»)²:

С Гомером долго ты беседовал один,
 Тебя мы долго ожидали,
 И светел ты сошел с таинственных вершин
 И вынес нам свои скрижали.
 И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром,
 В безумстве суетного пира,
 Поющих буйну песнь и скачущих кругом
 От нас созданного кумира.

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. VII. М., 1955. С. 256.

² Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 1986. С. 209–210.

Смутились мы, твоих чуждаясь лучей,
 В порыве гнева и печали
 Ты проклял нас, бессмысленных детей,
 Разбив листы свои скрижали.
 Нет, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты
 Сходить под тень долины малой,
 Ты любишь гром небес, и также внемлешь ты
 Журчанью пчел над розой алой.

Откуда же появились дополнительные строфы? Это довольно непростая история, и мы сейчас, по мере наших возможностей, попытаемся в ней разобраться.

В материалах для биографии Пушкина П. В. Анненков в 1855 году сообщал о существовании не дошедшего до нас автографа стихотворения, где действительно были еще две (дополнительные по отношению к опубликованному тексту) строфы. Описывая этот автограф, Анненков отметил следующее:

«Но здесь еще пьеса не кончается у Пушкина. На другой странице он продолжает ее, но как будто уже для самого себя, как будто для того, чтобы не потерять случая дополнить свое воззрение на поэта новой чертой. Он продолжает:

Таков прямой поэт. Он сетует душой
 На пышных играх Мельпомены —
 И улыбается забаве площадной,
 И вольности лубочной сцены.

То Рим его зовет, то гордый Илион,
 То скалы старца Оссиана,
 И с детской легкостью меж тем летает он
 Вослед Бовы иль Еруслана.

Следует помнить, что эти строфы были зачеркнуты самим автором как портящие стихотворение, но они принадлежат

к его любимому представлению о той свободе вдохновения, какая прилична поэту»¹.

Таким образом, в автографе, которым располагал Анненков, Пушкин оставил лишь 4 строфы. Так публиковал стихотворение и Жуковский в 1841 году. Возможно, он печатал его по тому же автографу, во всяком случае, эти тексты идентичны.

Но автограф, описанный Анненковым, до нас не дошел. Основным источником текста, опубликованного в Большом академическом издании, явился другой автограф, который назван там «перебеленным» (III, 1237).

Этот автограф в 1924 году был воспроизведен и подробно исследован Н. Ф. Бельчиковым, который назвал его «автографом полной редакции Г. А. (Государственного Архива. — В. Е.)»².

В опубликованном Бельчиковым автографе жирной чертой зачеркнута лишь 5-я строфа. Но без нее невозможно было публиковать и 6-ю, потому что ее текст с текстом строфы 4-й не стыкуется. Однако (по всей вероятности, по соображениям идеологическим) в Большом академическом издании было принято решение печатать все шесть строф, вопреки воле автора.

Что же касается автографа, описанного Анненковым, то вопрос о нем был снят таким путем: было предложено считать, что «автограф полной редакции Г. А.», исследованный в 1924 году Бельчиковым, и есть тот же самый автограф, который Анненков описал в 1855 году.

Бельчиков в указанной нами работе подготовил столь важный для себя вывод следующим образом. Сначала он отметил ряд отличий между автографами, которые нельзя было не отметить, затем высказал предположение о том, что отмеченные отличия — «результат недостаточно внимательного отношения Анненкова»³ к описанному им автографу. Далее, указав

¹ Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984. С. 175–176.

² Бельчиков Н. Ф. Пушкин и Гнедич в 1832 году // Пушкин. Сборник первый / Под ред. Н. К. Пиксанова. М., 1924. С. 180.

³ Там же. С. 182.

на «буквальное сходство» двух последних строф в обоих автографах, правда «за некоторыми исключениями» (!), Бельчиков сделал окончательный вывод, что Анненков пользовался тем же автографом:

«Этот вывод нам представляется вполне правильным, заслуживающим доверия, и в дальнейшем на нем мы базируем некоторые свои рассуждения (о заглавии стихотворения, о необходимости перерешения вопроса об окончательном тексте стихотворения)»¹, — подытоживал Бельчиков.

Таким образом, вопрос об автографе Анненкова (назовем его так для упрощения) сам Бельчиков совершенно справедливо признавал ключевым, с ним он связывал возможность изменения названия стихотворения, а также объем и редакцию текста.

Но беда в том, что окончательный вывод Бельчикова относительно автографа Анненкова по целому ряду причин никак не может быть признан правильным и заслуживающим доверия.

Во-первых, голословный упрек Анненкову в «недостаточно внимательном отношении» к пушкинскому автографу не поддерживает никакой критики.

Во-вторых, различия в автографах столь существенны, что их невозможно было не заметить. Остановимся на самых важных из них.

1. Две последние строфы (5-я и 6-я) в автографе Анненкова расположены, согласно его описанию, на отдельном листе. В автографе же «полной редакции Г. А.», как сообщал Бельчиков, на 1-й странице «помещены только три строфы, а не четыре, как говорит Анненков, и на обороте — тоже три, последние строфы»².

2. Перед 6-й строфой в автографе Анненкова стоят три звездочки, в автографе «полной редакции Г. А.» отсутствующие.

3. В автографе Анненкова зачеркнуты обе последние строфы, а не одна из них.

¹ Бельчиков Н. Ф. Пушкин и Гнедич в 1832 году. С. 180.

² Там же. С. 181.

4. Наконец, быть может, самое выразительное различие находим в окончании строфы 4-й: «Журчанью (а не жужжанью. — В. Е.) пчел над розой алой». В такой редакции последний стих 4-й строфы печатался во всех дореволюционных изданиях (в том числе и в Брюсовском).

Отметим также, что «буквальное» («за некоторыми исключениями») сходство отдельных фрагментов текста, чрезмерно подчеркнутое Бельчиковым, возможно и в разных автографах и поэтому не может служить здесь аргументом.

Все отмеченные нами отличия указывают на то, что Анненков, конечно, располагал другим автографом, до нас, к сожалению, не дошедшим. Следовательно, принятая в Большом академическом издании редакция стихотворения не имеет необходимого обоснования и не соответствует авторской воле Пушкина.

На неорганичность двух последних строф по отношению к остальному тексту обращали внимание, помимо Анненкова, В. Ф. Саводник и Н. О. Лернер, считавшие, что в них развивается новая мысль, в предыдущих строфах отсутствующая:

«Почему Пушкин отвергает это окончание? — Пушкин решил пожертвовать второю частью своего стихотворения потому, что оно вносило некоторую двойственность в идею всего целого. Ведь в последних строфах речь идет о свободе поэта... в первой же части Пушкин изображает благожелательность, черту, в высокой степени присущую личности самого Пушкина»¹.

2

Чем же вызвана была категоричность и поспешность решения, принятого ведущими советскими пушкиноведами?

Дело в том, что в названии стихотворения «К Н**», которое, по-видимому, дал ему при публикации Жуковский, содержался

¹ Пушкин А. С. Собр. соч.: В 6 т. / Под ред. С. А. Венгерова. Т. VI. С. 464.

намек на императора Николая I. В таком духе прокомментировал его в 1847 году Гоголь.

Однако еще в 1843 году Белинский столь же уверенно отнес его к Гнедичу. Полемика по поводу содержания стихотворения продолжалась и в XX веке. Так, уже упоминавшиеся нами Саводник и Лернер полностью поддерживали трактовку Белинского (тем ценнее их замечания, касающиеся зачеркнутых строк!). В советское же время всякая дискуссионность в столь важном идеологическом вопросе становилась неприемлемой: в Большом академическом издании стихотворению было дано новое название «Гнедичу», в состав его включены еще две строфы, зачеркнутые Пушкиным, которые действительно весьма трудно связать с императором; а вопрос о нарушении авторской воли Пушкина советской академической наукой, по-видимому, был признан не очень-то существенным.

Потребовалось изменить и дату написания стихотворения. В дореволюционных изданиях начала XX века оно относилось к 1834 году. Теперь же дата его создания была перенесена в 1832 год, так как Гнедич умер в 1833-м. Основанием для новой датировки послужил тот факт, что 23 апреля 1832 года датируется послание Гнедича «А. С. Пушкину по прочтении сказки его о царе Салтане и проч.». Поэтому и ответ Пушкина представлялось логичным отнести к тому же году.

Однако впоследствии новая датировка была подвергнута сомнению В. Э. Вацуру. При этом он, в частности, сослался на разыскания О. С. Соловьевой, определившей, что карандашная помета «1834» на черновом автографе стихотворения¹ принадлежит Пушкину.

Приведем возражения Вацуру:

«В академическом собрании сочинений Пушкина так оно (стихотворение. — В. Е.) и датируется: "23 апреля — начало мая 1832 г.". Это означает, что Пушкин начал работать над ним не ранее 23 апреля и прервал свою работу не позднее начала мая.

¹ Автограф этот также исследовал Бельчиков в 1924 году в упомянутой работе.

Начальная дата не вызывает сомнений, но конечная вовсе не очевидна.

На черновом автографе стихотворения есть цифровые записи карандашом. Ранее считалось, что их сделал П. В. Анненков, готовивший в 1850-х годах собрание сочинений Пушкина под своей редакцией. В 1960-е годы О. С. Соловьева, составляя описание рукописей Пушкина, определила в них пушкинский почерк. Среди записей была дата: "1834". Исследовательница с основанием предположила, что Пушкин вернулся к этому автографу в 1834 году и что тогда же он переписал стихи набело: белой автограф их также записан карандашом.

Конечная дата работы, таким образом, сдвигается к 1834 году, и это вероятно. Дело в том, что при датировке "апрель — начало мая 1832 г." остается совершенно неясным, почему Пушкин не окончил послания и не ответил Гнедичу на приветствие, как предполагал первоначально»¹.

Таким образом, не имеет необходимого обоснования и датировка стихотворения, принятая ныне.

3

Теперь обратимся к содержанию стихотворения — мы подразумеваем при этом текст из 4 строф, опубликованный Жуковским и подтвержденный впоследствии Анненковым имевшимся у него автографом.

Не может быть никаких сомнений в том, что стихотворение связано с Гнедичем. Это совершенно очевидно уже при прочтении двух первых стихов:

С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали... —

и еще следующих:

¹ Вацуро В. Э. Поэтический манифест Пушкина // «Записки комментатора». СПб., 1994. С. 19–20. Беловой автограф, о котором упоминает Вацуро, содержит лишь 8 стихов.

И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром,
В безумстве суетного пира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира.

Примерно такую же картину (только в прозе) нарисовал Пушкин в январе 1830 года, приветствуя «подвиг» Гнедича в «Литературной газете»:

«Наконец вышел в свет так давно и так нетерпеливо ожидаемый перевод Илиады! Когда писатели, избалованные минутными успехами, большею частию устремились на блестящие безделки; когда талант чуждается труда, а мода пренебрегает образцами величавой древности; когда поэзия не есть благоговейное служение, но токмо легкомысленное занятие: с чувством глубоким уважения и благодарности взираем на поэта, посвятившего гордо лучшие годы жизни исключительному труду, бескорыстным вдохновениям и совершению единого, высокого подвига» (XI, 88).

Однако этим прямые связи с Гнедичем едва ли не исчерпываются. «Скрижали», гнев» спустившегося с «таинственных вершин» лирического героя стихотворения, как и его снисхождение к согражданам, «скачущим» вместе с автором («Ты нас обрел...») вокруг ложного кумира, трудно все-таки с полным основанием отнести именно к Гнедичу. «Скрижали», которые выносит лирический герой, вызывают ассоциации с библейским текстом, со скрижалями, полученными от Бога и разбитыми в гневе на соплеменников Моисеем: «Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою» («Исход», XXXII, 19). Эти ассоциации, как верно отметил Вацууро, образовали «иносказательный план стихотворения» и задали ему «высокий стилевой регистр, исключаяющий слишком конкретное толкование реалий»¹.

¹ Вацууро В. Э. Поэтический манифест Пушкина. С. 24.

Можно предположить, что в процессе работы произошло своего рода переосмысление сюжета, как то нередко случалось у Пушкина.

На это изменение первоначального замысла в свое время указывал уже упоминавшийся нами Саводник:

«Приступая к созданию своего стихотворения, Пушкин имел в виду именно Гнедича, как об этом свидетельствует обращение, с которого начинается стихотворение. Но затем нечувствительным образом содержание стихотворения расширилось и углубилось: в лице Гнедича Пушкин чувствует те качества, которыми должен обладать всякий "прямой поэт": широту понимания, терпимость, благоволение к людям»¹.

Таким же фактически видится и Вацуро лирический герой стихотворения, «в мудрой терпимости своей снисшедший к человеческим слабостям, чего не сумел сделать библейский Моисей». «Пушкин, конечно, идеализировал Гнедича, — продолжал Вацуро, — но Гнедич был для него здесь знаком, символом»².

Таким образом, у нас есть основания сделать вывод, что во второй части стихотворения Гнедич как бы отступает на второй план и в стихотворении «в высоком стилевом регистре» (если воспользоваться формулой Вацуро) начинает звучать совсем иная тема, сквозная можно сказать, для всего пушкинского творчества конца 20–30-х годов: терпимости, «благоволения к людям» (Саводник), милосердия.

4

Само собой разумеется, что и Саводник, и Вацуро относили отмеченное ими человеколюбие героя стихотворения к поэту, как таковому, к «прямому поэту», как выразился Пушкин в зачеркнутых строфах.

¹ Саводник В. Ф. Заметки о Пушкине // «Русский Архив». М., 1904. № 5. С. 145.

² Вацуро В. Э. Указ. соч. С. 27.

Но в том-то и дело, что в четырех строфах опубликованного Жуковским стихотворения пушкинской формулы «прямой поэт» нет. Она находится в 5-й строфе. И вот на что следует обратить внимание. Если в автографе Анненкова были зачеркнуты, по его словам, две строфы — 5-я и 6-я, то в автографе, который исследовал Бельчиков и который фактически послужил для советских пушкиноведов неким обоснованием новой редакции стихотворения, отчетливо зачеркнута именно 5-я строфа, то есть Пушкин зачеркнул свое упоминание о «прямом поэте» или, если выразиться точнее, исключил из текста прямое отождествление героя стихотворения с «прямым поэтом».

В уже неоднократно упоминавшейся нами статье Вацуро есть еще одно очень важное его наблюдение: «"Прямой поэт" (отсутствующий, правда, в тексте, опубликованном Жуковским. — В. Е.) не просто сопоставлен с ветхозаветным пророком — он ему противопоставлен»¹. Мы знаем, какое важное (быть может, даже центральное) место занимал в поэтическом космосе Пушкина образ поэта-пророка, и все же тема снисхождения к человеческим слабостям, тема милосердия, зазвучавшая в 3-й строфе стихотворения, неизмеримо шире антитезы, предложенной Вацуро. Хотя Вацуро совершенно справедливо называет эти стихи поэтическим манифестом Пушкина, в котором преодолена романтическая отчужденность поэта из стихотворения «Поэт и толпа». Но при этом мотив «благоволения» и терпимости к людям, в силу своей универсальности и общечеловеческой значимости, может подразумевать и другое, более объективное, противопоставление: просвещенный правитель — ветхозаветный пророк.

И такое прочтение пушкинского стихотворения, оказывается, возможно. Что-то подобное, с определенными оговорками, находим в известном письме Гоголя к Жуковскому в «Выбранных местах из переписки с друзьями»:

«Оставим личность императора Николая и разберем, что такое монарх вообще, как Божий помазанник, обязанный стремиться

¹ Вацуро В. Э. Указ. соч. С. 25.

вверенный ему народ к тому свету, в котором обитает Бог, и вправе ли был Пушкин уподобить его древнему Боговидцу Моисею? Тот из людей, на рамена которого обрушилась судьба миллионов его собратьев, кто страшною ответственностью за них пред Богом освобожден уже от всякой ответственности пред людьми, кто болеет ужасом этой ответственности и льет, может быть, незримо такие слезы и страждет такими страданиями, о которых и помыслить не умеет стоящий внизу человек, кто среди самих развлечений слышит вечный, неумолкаемо раздающийся в ушах клик Божий, неумолкаемо к нему вопиющий, — тот может быть уподоблен древнему Боговидцу, может, подобно ему, разбить листы своей скрижали, проклявши ветрено-кружащееся племя, которое, наместо того чтобы стремиться к тому, к чему все должно стремиться на земле, суетно скачет около своих же, от себя самих созданных кумиров. Но Пушкина остановило еще высшее значение той же власти, которую вымолило у небес немощное бессилие человечества, вымолило ее криком не о правосудии небесном, перед которым не устоял бы ни один человек на земле, но криком о небесной любви Божией, которая бы все умела простить нам — и забвенью долга нашего, и самый ропот наш, — все, что не прощает на земле человек, чтобы один затем только собрал свою власть в себя самого и отделился бы от всех нас и стал выше всего на земле, чтобы чрез то стать ближе равно ко всем, снисходить с вышины ко всему и внимать всему, начиная от грома небес и лиры поэта до незаметных увеселений наших»¹.

Конечно, нас не может не смущать здесь слишком патетическая интонация Гоголя (впрочем, это было в порядке вещей, ведь и перевод Гнедича предварялся посвящением императору Николаю I²). Но мы не можем не задуматься о том, что в пушкинском стихотворении, возможно, все-таки содержится отмеченный Гоголем мотив: монарх должен уметь «простить нам —

¹ Гоголь Н. В. О лиризме наших поэтов // Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 1986. С. 209–210.

² Езунов А. Н. Гомер в русских переводах. М.; Л., 1964. С. 259.

и забвение долга нашего, и самый ропот наш». Этот нравственный призыв — благоволить к подданным, быть снисходительным к ним, уметь прощать их — едва уловимо проступает сквозь библейские ассоциации стихотворения, призыв не столь явный, конечно, как в других известных нам случаях: вспомним «Стансы» (1826), «К друзьям» (1828), «Пир Петра I» (1835).

В этой недосказанности и состоит одно из неотъемлемых качеств пушкинской поэзии¹. Возможно, мы и не расслышали бы этого скрытого мотива, если бы не одно обстоятельство. Рассказ Гоголя об интересующем нас стихотворении предварялся фразой: «Тайну его теперь открою»². И далее он сообщал Жуковскому о том, что предшествовало написанию стихов: «Был вечер в Аничковом дворце, один из тех вечеров, к которым, как известно, приглашались одни избранные из нашего общества. Между ними был тогда и Пушкин. Все в залах уже собралось; но Государь долго не выходил. Отдалившись от всех в другую половину дворца и воспользовавшись первой досужей от дел минутой, он развернул "Илиаду" и увлекся нечувствительно ее чтением во все то время, когда в залах давно уже гремела музыка и кипели танцы. Сошел он на бал уже несколько поздно, принеся на лице своем следы иных впечатлений. Сближение этих двух противоположностей скользнуло незамеченным для всех, но в душе Пушкина оно оставило сильное впечатление, и плодом его была следующая величественная ода...»³

Признаемся, что мы не разделяем мнения Гоголя о внешнем поводе для написания стихотворения «С Гомером долго ты беседовал один...». Оно, конечно, задумывалось как обращение к Гнедичу, и лишь в процессе работы, как мы уже отметили раньше, первоначальный замысел претерпел изменения,

¹ Поэтому мы отказываемся принять интерпретацию стихотворения, предложенную Л. М. Аринштейном, столь же однозначную и прямолинейную, хотя и с противоположным выводом, как и трактовка советских пушкиноведов («Пушкин. Непричесанная биография». М., 1998. С. 142–147).

² Гоголь Н. В. Указ. соч. С. 209.

³ Там же.

толчком к чему мог послужить бал в Аничковом дворце. А может быть, были и другие причины, и этот бал здесь ни при чем. Но все же отметим, на всякий случай, что чета Пушкиных регулярно посещает великосветские балы с января 1834 года, когда Пушкину пожаловано было, столь оскорбившее его самолюбие, звание камер-юнкера. Тем самым датировка стихотворения 1834 годом может получить косвенное подтверждение...

Но кто же рассказал Гоголю об этом?

Слова Гоголя о тайне позволяют предположить, что он мог узнать ее от самого Пушкина или от их общей приятельницы, фрейлины императорского двора А. О. Смирновой-Россет. В ее «Записках» утверждается, что о бале в Аничковом дворце Гоголь узнал от самого Пушкина¹. Если так было в действительности, то это поразительно напоминает ситуацию со стихотворением 1830 года «Герой», где суть стихотворения, повествующего о могущественном властителе человеческих судеб Наполеоне, сконцентрирована в известной сентенции поэта:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...
Оставь герою сердце... что же
Он будет без него? Тиран...

И затем следует неожиданный финал со знаменательной датой под стихами:

Друг
Утешься...
29 сентября 1830
Москва

Как известно, сам Пушкин находился в это время в Болдине, а 29 сентября 1830 года холерную Москву посетил Николай I.

¹ Смирнова-Россет А. О. Записки. М., 2003. С. 382. См. выше главу «Подлинны по внутренним основаниям...».

Автограф стихотворения был послан М. П. Погодину в начале ноября того же года со строжайшим наказом печатать стихи анонимно. Так они и были опубликованы в «Телескопе» в 1831 году. Историю эту Погодин сообщил в письме к Вяземскому от 29 марта 1837 года:

«Вот вам еще стихотворение ("Герой". — В. Е.), которое Пушкин прислал мне в 1830 году из нижегородской деревни, во время холеры. Кажется, никто не знает, что оно принадлежит ему <...> В этом стихотворении самая тонкая и великая похвала нашему славному Царю. Клеветники увидят, какие чувства питал к нему Пушкин, не хотевший, однако ж, продираться со льстецами»¹.

Со стихотворением «С Гомером долго ты беседовал один...» Пушкин мог поступить подобным образом. В узком кругу лиц, из которых мы можем назвать Гоголя и Смирнову-Россет, он мог связать стихи с определенным великосветским событием — балом в Аничковом дворце. Весьма вероятно, что в этот узкий круг лиц входил и Жуковский — он, безусловно, знал о стихотворении что-то такое, что позволило дать ему название «К Н**» с намеком на Николая I. Ведь прописной буквой с двумя звездочками Пушкин, как правило, обозначал имя (с тремя звездочками — фамилию).

Значит, в «тайну», по выражению Гоголя, могли быть посвящены Пушкиным по крайней мере три человека.

Если же никакой тайны не существовало и Пушкин ничего подобного никому из названных нами лиц не рассказывал, остается предположить существование некоего сговора этих трех лиц из его ближайшего окружения, которые в соответствии с их монархическими убеждениями нашли в стихотворении то, что им хотелось увидеть. И все же текст стихотворения, опубликованный Жуковским, не позволяет признать их устремления совсем уж беспочвенными. Он тоже заставляет вдумчивого читателя задуматься над содержащейся в нем неопределенностью.

¹ Пушкин А. С. Сочинения и письма / Под ред. П. О. Морозова. Т. II. С. 497–498.

Даже такой советский пушкинист, как Б. С. Мейлах, чьи суждения как будто бы всегда безукоризненно соответствовали идеологическим установкам времени, ощущал эту неопределенность. И потому завершил свою статью об этом стихотворении следующим неутешительным для себя пассажем: «Предпринятые нами попытки найти реальные поводы возникновения замысла стихотворения направлены к тому, чтобы в какой-то степени прояснить некоторые загадочные стороны его истории, которая в целом, однако, еще не может быть объяснена из-за недостаточности фактических данных»¹.

Хочется надеяться, что нам, пусть в малой степени, удалось прояснить «загадочные стороны» этого пушкинского произведения. Ведь отмеченная нами (вслед за Вацуро) иносказательность двух последних строф (3-й и 4-й) предоставляет такую возможность.

При этом в самом поэтическом тексте (как и в случае с «Героем») прямых намеков на императора будто бы нет. Правда в черновых вариантах имеются некоторые «подозрительные» в этом смысле места:

... могучий властелин

С Гомером долго ты беседовал один (III, 885);

Страшась они твоих чуждалися лучей (III, 886);

Приветствуешь меня с улыбкой *благосклонной* (III, 888).

Но на последующей стадии работы они были изменены, что отвечало установке на исключение «слишком конкретных реалий»...

В соответствии с этой же установкой Пушкин решил не включать в окончательный текст стихотворения строфы 5 и 6, в которых вновь совершенно недвусмысленно угадывался Гнедич, обращавшийся в своем творчестве то к Риму («Подражание Горацию»), то к Илиону (перевод «Илиады»), то к Оссиану («Последняя песнь Оссиана»).

¹ Мейлах Б. С. С Гомером долго ты беседовал один... // Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов. Л., 1974. С. 221.

И наоборот, именно по этой причине советские пушкиноведы, дабы отместить самую возможность толкования стихотворения в духе Гоголя, пренебрегли сведениями Анненкова об имевшемся у него автографе и увеличили его текст за счет строф 5 и 6, непосредственная связь которых с Гнедичем очевидна.

5

Такие текстологические решения принимались иногда советской академической наукой.

По нашему глубокому убеждению, стихотворение должно печататься в том виде, в каком оно всегда публиковалось в России, начиная с 1841 года, с посмертного издания собрания сочинений Пушкина, но без названия, что также, по-видимому, соответствовало бы авторской воле. Название, данное ему, скорее всего, Жуковским, столь же не отвечает содержанию, как и принятое ныне «Гнедичу». При этом строфы 5 и 6 обязательно должны приводиться в комментариях к стихотворению, что впервые было сделано Анненковым.

А вообще вся полемика по затронутой текстологической проблеме может быть сведена к одному частному вопросу: как был обозначен Пушкиным в последней строке стихотворения звук, издаваемый пчелами во время их кружения «над розой алой»: «журчанье» или «жужжанье»?

В автографе, исследованном Бельчиковым, ясно читается «жужжанье». Жуковский и Анненков, оба державшие в руках подлинный пушкинский текст, прочли «журчанье», так же цитировал Гоголь, возможно узнавший стихотворение от самого Пушкина.

Что же касается характеристики звука, издаваемого пчелами, то заметим следующее: «жужжание» — определение очень привычное и обыденное, в то время как «журчанье» указывает на мелодичность звука, его долговременность и отрешенность от мирской суеты. Все это так соответствует завершающему стиху пушкинского текста!

«КРИВ БЫЛ ГНЕДИЧ ПОЭТ...»

В 1829 году в переводе Н. И. Гнедича вышел полный текст «Илиады» Гомера на русском языке. Это событие в начале 1830 года вызвало восторженный отклик Пушкина в «Литературной газете» (1830, № 2):

«Наконец вышел в свет так давно и так нетерпеливо ожидаемый перевод Илиады! Когда писатели, избалованные минутными успехами, большею частию устремились на блестящие безделки; когда талант чуждается труда, а мода пренебрегает образцами величавой древности; когда поэзия не есть благоговейное служение, но токмо легкомысленное занятие: с чувством глубоким уважения и благодарности взираем на поэта, посвятившего гордо лучшие годы жизни исключительному труду, бескорыстным вдохновениям, и совершению единого, высокого подвига. Русская Илиада перед нами. Приступаем к ее изучению, дабы со временем отдать отчет нашим читателям о книге, долженствующей иметь столь важное влияние на отечественную словесность» (XI, 88).

К 8 ноября 1830 года относится столь же восторженный стихотворный отклик Пушкина на перевод Гнедича:

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;
Старца великого тень чую смущенной душой.

Однако в промежутке между заметкой и этими стихотворными строками, в которых Гнедичу должным образом воздается за его «высокий подвиг», из-под пера Пушкина вышел еще один стихотворный отклик (датируется 1–10 октября 1830) эпиграмматического свойства:

Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера,
Боком одним с образцом схож и его перевод.

Существует мнение, что в процессе «изучения» труда Гнедича (см. заметку в «Литературной газете») Пушкин якобы ощутил «однообразную высокоость»¹ его перевода.

Думается, это не так. Ближе к истине, как нам представляется, был В. В. Вересаев, заметивший, что Пушкин выступил здесь «с присущей ему озорной насмешливостью» — соблазнившись случаем «противопоставить кривого Гнедича слепому Гомеру»².

Эпиграмма действительно остроумная и смешная, но несправедливая.

По-видимому, это как раз тот случай, про который говорится: ради красного словца не пожалеешь и родного отца. Именно поэтому она и была тщательно зачеркнута самим Пушкиным. Как замечает тот же Вересаев, «Пушкин устыдился своей эпиграммы и тщательно замазал ее чернилами»³. Не только «замазал чернилами», добавим мы, но никогда и никому не показывал и не читал — во всяком случае, мы не знаем, чтобы кто-то из его современников упоминал эту эпиграмму или записал в своей тетради среди других пушкинских текстов, каковых (тетрадей) от того времени осталось множество.

Иное дело потомки, а главное, исследователи творчества поэта, пушкинисты! От их вездесущего взгляда ничто не может укрыться. И вот, в 1910 году текст, 80 лет назад тщательно зачеркнутый самим автором, был ими прочитан:

«Совместными усилиями моими и Б. Л. Модзалевского, с помощью значительного увеличения фотографического снимка, удалось восстановить текст этого двустихия, представляющего, как и известная надпись на перевод Илиады, совершенно правильный пентаметр», — так сообщал об этом П. О. Морозов⁴.

¹ Кибальник С. А. Гнедич Н. И. // Русские писатели 1800–1917. Биографический словарь. М.: Большая советская энциклопедия, 1992. С. 587.

² Вересаев В. В. Спутники Пушкина: В 2 т. Т. 2. С. 318.

³ Там же.

⁴ Морозов П. Эпиграмма Пушкина на перевод Илиады // Пушкин и его современники. Вып. XIII. СПб., 1910. С. 14.

То есть только технические средства начала XX века позволили пушкинистам прочесть зачеркнутые автором строки. Пушкин, как следует из этого сообщения, зачеркнул не понравившийся ему в конечном счете текст весьма добросовестно и вполне мог надеяться, что его никто и никогда не прочтет.

Трудно согласиться с П. О. Морозовым в объяснении мотивов этого поступка Пушкина: «...опасаясь, что эта вспышка юмора может как-нибудь дойти до крайне самолюбивого Гнедича и испортить существовавшие между обоими поэтами добрые отношения, поторопился ее зачеркнуть с особенной тщательностью...»¹ Трудно согласиться, потому что эпиграмма была записана среди других черновых записей, сделанных в Болдине с 1 по 10 октября 1830 года, и, конечно, никаким образом дойти до Гнедича не могла. Зачеркнул ее Пушкин, «устыдившись» (как верно заметил Вересаев) своей «озорной насмешливости», а вовсе не потому, что чего-то опасался.

Тем не менее зачеркнутая автором эпиграмма была прочтена, и с тех пор в собраниях сочинений Пушкина оба стихотворных отклика на перевод Гнедича печатаются почти рядом: сначала (в соответствии с датой написания) «Крив был Гнедич поэт...», а чуть дальше «Слышу умолкнувший звук...». Противоречивость этих откликов, как и авторская воля Пушкина, издателей, похоже, нисколько не волнует. Между тем воля эта выражена предельно четко. Так, значит, и печатать эпиграмму наравне с другим стихотворным откликом на перевод «Илиады» совершенно неправомерно. Она, по логике вещей, могла бы печататься в примечаниях к двустистию «Слышу умолкнувший звук...» или в разделе «Другие редакции и варианты».

Как не вспомнить при этом возникающие порой бурные дискуссии пушкиноведов по поводу текстологии «Евгения Онегина» или «Бориса Годунова», обстоятельные доводы спорящих сторон, где наиважнейшим признается соблюдение авторской воли Пушкина.

¹ Морозов П. Эпиграмма Пушкина на перевод Илиады // Пушкин и его современники. Вып. XIII. СПб., 1910. С. 14.

Например, можно ли в хронологическом собрании сочинений Пушкина¹ помещать «Бориса Годунова» в 1825 год с ремаркой 1830 года («Народ безмолвствует»), как это сделал профессор С. А. Венгеров в самом авторитетном дореволюционном собрании сочинений поэта².

А вот при публикации эпиграммы «Крив был Гнедич поэт...» этот действительно наиважнейший довод почему-то во внимание не принимается.

Более того, появляются издания, где уже и не сообщается о том, что эпиграмма была тщательно зачеркнута Пушкиным и печатается, вообще-то говоря, без его ведома и разрешения. В примечаниях лишь поясняется, что оба двустишия связаны с выходом в свет перевода «Илиады», выполненного Гнедичем³.

Такое отношение к пушкинским текстам, конечно, недопустимо. Эпиграмма не должна печататься в основном корпусе произведений Пушкина. Ее место, как уже указано выше, в примечаниях к двустишию «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи...» или в разделе «Другие редакции и варианты».

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ШЕСТОЙ ГЛАВЫ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»

При всем многообразии исследований, посвященных пушкинскому роману в стихах, существует еще множество проблем, связанных с ним, пушкинистами не рассмотренных. Одной из них, безусловно, является творческая история создания шестой главы романа.

¹ В ИМЛИ РАН им. Горького издается Собрание сочинений А. С. Пушкина, расположенных в хронологическом порядке.

² Пушкин А. С. Собр. соч.: В 6 т. / Под ред. С. А. Венгерова.

³ Пушкин А. С. Поэзия. М.: АСТ, 2008. С. 782–783.

Хронология работы над ее текстом нам практически неизвестна. Принято считать, что глава писалась в 1826 году в Михайловском параллельно с главой пятой, но дату начала работы, как и дату ее окончания, мы не знаем. Есть пушкинская помета под черновиком строфы XLV: 10 августа. Но и здесь обращает на себя внимание любопытный казус.

Так, в большом академическом издании сочинений поэта указанная дата отнесена к 1826 году: «Ш е с т а я г л а в а п и с а н а в Михайловском в 1826 году, по-видимому, до окончания главы пятой. Под строфой XLV помета — 10 августа» (VI, 661).

Те же сведения привел Ю. М. Лотман в известном комментарии к роману¹.

Однако Б. В. Томашевский в малом академическом издании, вышедшем под его редакцией, отнес эту дату к 1827 году:

«Глава написана в 1826 г., как и предыдущая; она была окончена уже к 1 декабря, и, следовательно, Пушкин начал ее писать еще до окончательной отделки пятой главы. Так как рукописи этой главы до нас не дошли, то мы не знаем точно время работы над этой главой. *Пушкин продолжал отделявать и дополнять главу и в 1827 г. В этом году, 10 августа, были написаны строфы XLIII–XLV*»².

В вышедших сравнительно недавно летописи и хронике жизни и творчества поэта дата «10 августа» отнесена к 1827 году. При этом в «Летописи...» эта дата почему-то отмечена также и в 1826 году, и мы, к немалому удивлению, обнаруживаем под нею следующую запись: «Помета "10 авг." под черновиком главы пятой строфы XLV "Евгения Онегина"»³. В «Хронике...» же утверждается, что дата «10 авг.» якобы стоит под строфами XLIII–XLIV (шестой главы)⁴, хотя на самом деле она стоит под строфой XLV,

¹ Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1983. С. 17.

² Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. V. Л., 1978. С. 499.

³ Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: В 4 т. Т. 2. М., 1999. С. 290.

⁴ Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина: В 3 т. Т. 1. Кн. 1. М., 2000. С. 204.

в чем легко убедиться, открыв шестой том Большого академического издания на странице 410 или описание рабочей тетради Пушкина ПД, N 836, выполненное Р. В. Иезуитовой, на странице 127¹.

Столь противоречивые указания специалистов наглядно иллюстрируют уровень нашей осведомленности об истории создания шестой главы, что предопределено отсутствием ее рукописей: до нас дошли лишь черновые автографы строф XLIII–XLV и наброски еще двух строф, не нашедших своего места в окончательной редакции главы, а также беловые автографы строф XV, XVI и XXXVIII, оказавшихся в окончательной редакции пропущенными.

Вот и все, что осталось от рукописей главы шестой. Такая ситуация с автографами ставит ее в совершенно особое положение по сравнению с другими главами романа, сохранившимися в достаточной полноте².

Вряд ли можно здесь говорить о случайном исчезновении столь объемного текста. Скорее всего, он был уничтожен самим автором. Но для этого должны были существовать какие-то веские причины.

В летописях и хронике жизни и творчества Пушкина, уже упомянутых нами, сообщается, что поэт жег свои бумаги в ночь с 3 на 4 сентября 1826 года: «Приезд в Михайловское из Пскова офицера с письмом Адеркаса. Арина Родионовна плачет. Пушкин успокаивает ее. Посылает за своими пистолетами садовника Архипа в Тригорское. Уничтожает черновую "Михайловскую" тетрадь, содержащую часть автобиографических

¹ Иезуитова Р. В. Рабочая тетрадь Пушкина ПД. N 836 (История заполнения) // Пушкин. Исследования и материалы. Т. X. Л., 1991. С. 127.

² Глава десятая, ввиду сложности вопроса, а также в связи с тем, что в окончательную редакцию романа она никогда не входила, в данном случае не рассматривается.

записок, черновики "Бориса Годунова" и "некоторые стихотворные пьесы"...»¹ (курсив наш. — В. Е.).

Вряд ли черновые рукописи шестой главы могли быть сожжены в то же время, до завершения работы над нею. Скорее они были уничтожены в другое время, отдельно от рукописей, упомянутых в «Летописи...». В таком случае необходимость их уничтожения диктовалась не внешними обстоятельствами, а внутренними побуждениями, что также предполагает существование особых причин для такого решения. Но никакой определенной информацией о времени и обстоятельствах уничтожения черновых рукописей шестой главы мы не располагаем.

Возможно, уничтоженные рукописи содержали слишком откровенные подробности личной жизни автора (его интимных переживаний) или выпады политического характера.

Но и беловая рукопись до нас не дошла. Известно, правда, что она могла быть отправлена Пушкиным в Тригорское П. А. Осиповой, что явствует из его письма к ней, написанного не позднее 10 марта 1828 года:

«Беру на себя смелость послать вам три последние песни Онегина <гл. IV, V и VI; последняя, видимо, в рукописи, ибо выйдет из печати 23 марта>; надеюсь, что они заслужат ваше одобрение»².

Какие же интимные подробности личной жизни или политические выпады в адрес власти могли таить в себе рукописи шестой главы?

Чтобы попытаться ответить на эти вопросы, следует внимательно рассмотреть печатную редакцию главы и те несколько автографов, что дошли до нас.

Интерес в этом смысле представляет строфа III печатной редакции, в которой находим известную нам по стихотворению «Простишь ли мне ревнивые мечты...» (1823) тему ревности:

¹ Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 2. С. 167.

² Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 1. Кн. 1. С. 306.

Его неожиданным появлением,
 Мгновенной нежностью очей
 И странным с Ольгой поведением
 До глубины души своей
 Она проникнута; не может
 Никак понять его; тревожит
Ее ревнивая тоска,
Как будто холодная рука
Ей сердце жмет...

Последние три стиха Ю. М. Лотман сопоставил со следующими тремя стихами пушкинского перевода «Из Ариостова "Orlando furioso"», сделанного, как принято считать, в те же месяцы (январь — июль), когда писалась глава:

И нестерпимая тоска,
 Как бы холодная рука,
 Сжимает сердце в нем ужасно...

«Возможно, что именно интерес к психологии ревности определил выбор этого текста для перевода», — предположил Лотман¹.

Иное соображение относительно причин возникновения перевода предлагает В. С. Непомнящий, сопоставивший перевод с элегией «Под небом голубым страны своей родной...», написанной, как явствует из даты, начертанной на рукописи рукой Пушкина, 29 июля 1826 года.

Непомнящий делает весьма убедительное предположение, что перевод и элегия являются откликом на одно и то же событие — известие о смерти Амалии Ризнич, полученное Пушкиным 25 июля 1826 года:

«Сходство перевода, — сделанного, в общем, с замечательной точностью, — с элегией разительно, оно не могло не остаться незамеченным, но почти не осмыслено...

¹ Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 287.

В сущности, элегия и перевод образуют единый контекст.

Необходимо подчеркнуть то, что, собственно, разумеется само собой, но при разборе стихов Пушкина часто забывается. Элегия, конечно, не могла быть написана сразу в момент известия о смерти; она не есть первая непосредственная реакция, она — *рефлексия над реакцией*, отделенная каким-то временем: не "отражение" испытанных чувств, а постижение их. Вероятно, для этого и оказался нужен перевод, где описывается чужой — Орланда, — но сходный опыт...»¹

Касаясь вопроса о датировке перевода, Непомнящий отмечает:

«Академическое собр. соч. (Н. В. Измайлов) датирует перевод "январем — июлем (?) 1826 г." (см. III, 1126). Конечно, следует оставить только июль, даже конец июля, и избавиться от знака вопроса — то есть признать, что перевод мог быть сделан только после получения вести о смерти Амалии Ризнич»².

Признавая справедливость предложения Непомнящего датировать перевод концом июля, мы отдаем себе отчет в том, что такое признание влечет за собой далеко идущие последствия, ведь строфа III главы, как это отметил Лотман, также связана с переводом: она написана в одно время с ним или после него. Это должно означать, что работа над шестой главой романа (во всяком случае, со строфы III) началась также в конце июля, после получения известия о смерти Ризнич.

И значит, испытываемые Татьяной муки ревности являются отражением авторских чувств, обуревавших Пушкина в связи с получением известия о смерти бывшей возлюбленной, отражением нахлынувших на него с новой силой воспоминаний о ней, о приступах ревности, охватывавших его самого летом 1823 года в Одессе.

Подтверждение нашим рассуждениям находим в пропущенных строфах XV и XVI, дошедших до нас по копии В. Ф. Одоевского и опубликованных в 1887 году Я. К. Гротом. Строфы эти

¹ *Непомнящий В.* Пушкин. Русская картина мира. М., 1999. С. 208–211.

² Там же. С. 210.

сопровождает описание мук ревности уже не Татьяны, а Ленского, но от того их биографический подтекст не становится менее явным:

XV

Да, да, ведь ревности припадки —
Болезнь, так точно как чума,
Как черный сплин, как лихорадка,
Как повреждение ума.
Она горячкой пламенеет,
Она свой жар, свой бред имеет,
Сны злые, призраки свои.
Помилуй Бог, друзья мои!
Мучительней нет в мире казни
Ее терзаний роковых.
Поверьте мне: кто вынес их,
Тот, уж конечно, без боязни
Взойдет на пламенный костер
Иль шею склонит под топор.

XVI

Я не хочу пустой укорой
Могилы возмущать покой;
Тебя уж нет, о ты, которой
Я в бурях жизни молодой
Обязан опытом ужасным
И рая мигом сладострастным
Как учат слабое дитя,
Ты душу нежную, мутя,
Учила горести глубокой.
Ты негой волновала кровь,
Ты воспаляла в ней любовь
И пламя ревности жестокой;
Но он прошел, сей тяжкий день:
Почий, мучительная тень!

Выделенные нами стихи свидетельствуют о том, что приведенные строфы написаны после 25 июля 1826 года, после получения скорбной вести о смерти Ризнич. Если воспользоваться выражением Непомнящего, строфы эти вместе с переводом из Ариосто и элегией «Под небом голубым страны своей родной...», в сущности, «образуют единый контекст».

Вполне вероятно, что именно первая половина главы (до строфы XXIV: «Но ошибался он: Евгений...»), связанная с темой ревности и написанная, как это теперь становится ясно, после 25 июля 1826 года, содержала, как и приведенные нами пропущенные строфы, немало личного. Возможно, кроме этих строф, существовали и другие лирические отступления, обращенные к Амалии Ризнич, или это, случайно ставшее известным нам, лирическое отступление было более развернутым.

Такие лирические откровения, воспоминания о любви и ревности, пережитых в Одессе подле молодой итальянско-сербской красавицы, вполне могли послужить причиной уничтожения рукописей главы.

Другой темой, послужившей впоследствии причиной уничтожения черновых рукописей, могла быть тема казни декабристов. Так, в сохранившемся не полностью беловом автографе пропущенной в печатной редакции строфы XXXVIII (бегло рисуемой возможные итоги жизненной судьбы Ленского, если бы он не погиб на дуэли) находим стих политического содержания, который, по меньшей мере, не прошел бы через цензуру:

Иль быть повешен, как Рылеев...¹

¹ Любопытный комментарий дал Набоков к следующим стихам той же строфы:

Исполня жизнь свою отравой,
Не сделав многого добра,
Увы, он мог бессмертной славой
Газет наполнить нумера.
Уча людей, мороча братьий
При громе плесков и проклятий...

Стих о Рылееве указывает, что строфа XXXVIII была написана после получения Пушкиным 24 июля 1826 года известия о казни декабристов.

Это важнейшее в 1826 году событие политической жизни России также могло найти развернутое отражение в черновиках шестой главы. Определенный биографический подтекст угадывается и в строфах IV–VII печатной редакции, где в образе Зарецкого некоторые исследователи склонны были видеть отдельные черты Ф. И. Толстого-Американца, известного бретёра и картежника, к дуэли с которым Пушкин готовился все годы ссылки. Возможно, в черновой рукописи содержались более откровенные выпады в адрес Толстого-Американца.

В подтверждение актуальности для Пушкина этой темы приведем фрагмент из публикации М. Н. Лонгинова в «Русском Архиве» в 1865 году, касающийся встречи Пушкина с С. А. Соболевским вечером 8 сентября 1826 года по приезде Пушкина в Москву:

«Тут же, еще в дорожном платье, Пушкин поручил ему (Соболевскому. — В. Е.) на завтрашнее утро съездить к известному "американцу" графу Толстому с вызовом на поединок»¹.

Явный биографический подтекст улавливается и в одной из сохранившихся черновых строф, не вошедших в окончательную редакцию главы (мы уже цитировали ее выше в главе «Самовник и поэт»):

Но плакать и без раны можно
О друге, если был он мил

Комментарий Набокова:

«Этот образ свидетельствует о пушкинском предвидении, ибо подобные качества были свойственны превозносимым или ненавидимым журналистам 1850–1870-х гг., таким как радикалы Чернышевский, Писарев и другие политико-литературные критики гражданской направленности — тип резкий и жесткий, еще не существовавший в 1826 г., когда писалась эта восхитительная строфа» (*Набоков В. В.* Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 1998. С. 471).

¹ Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 1. Кн. 1. С. 20.

Нас не дразнил неосторожно
 И нашим прихотям служил.
 (Но если Жница роковая
 Окровавленная, слепая,
 В огне, в дыму — в глазах отца
 Сразит залетного птенца!)
 О страх! о горькое мгновенье!
 О Ст<роганов> когда твой сын
 Упал сражен, и ты один.
 [Забыл ты] [Славу] <и> сраженье
И предал славе ты чужой
 Успех, ободренный тобой.
 (VI, 411–412)

В. В. Набоков со ссылкой на Ю. Н. Тынянова справедливо указал, что под носителем внезапно обрушившейся на него «чужой славы» подразумевался здесь одесский недруг Пушкина («пушкинский *bête noire*») граф М. С. Воронцов. Воронцов принял командование дивизией в сражении при Кране во Франции 7 марта 1814 года, когда граф Павел Строганов «покинул поле битвы, узнав, что его девятнадцатилетний сын Александр обезглавлен пушечным ядром»¹.

Возможно, в соседних строфах, не дошедших до нас (или на полях черновики), тема неприязни к Воронцову имела слишком откровенное продолжение.

Отметим также, что тема, намеченная стихом «И предал славе ты чужой», в дальнейшем была развита и существенно укрупнена в стихотворении «Полководец».

Таким образом, черновики шестой главы могли содержать немало личных мотивов, но наиболее важной для нас является несомненная связь ее первой части с воспоминаниями об Амалии Ризнич. Возможно также, что черновики главы прерывались набросками иных поэтических замыслов, не относящихся

¹ Набоков В. В. Указ. соч. С. 470; *bête noire* — предмет ненависти.

к роману, но связанных с теми же роковыми известиями, которые были получены Пушкиным в двадцатых числах июля.

Теперь постараемся уточнить сроки работы над шестой главой, создававшейся одновременно с главой пятой в 1826 году. К работе над пятой главой Пушкин приступил 4 января 1826 года, поставив эту дату над первой строфой чернового текста.

До 1 февраля были написаны первые 24 строфы¹. Правда, в «Хронике...» утверждается, что строфы XXI–XXIV написаны «9...15 (?) ноября» 1826 года². Однако вряд ли перерыв в работе между строфами XX и XXI–XXIV, представляющими собой завершение единого эпизода («сна Татьяны»), мог составить 8 с лишним месяцев. Вероятнее, что «сон Татьяны» был дописан до конца (строфа XXIV), а затем наступил перерыв в работе.

Известно, что глава была завершена к 22 ноября 1826 года³ после возвращения Пушкина из Москвы и перед новым отъездом в старую столицу.

Что же касается главы шестой, то, как мы уже отмечали, все исследователи сходятся в том, что она «писана в Михайловском в 1826 году». В «Летописи...» этот срок несколько сужен:

«Январь (?) ... ноябрь, 25 (?)». Шестая глава (кроме строф XLIII–XLV) *«Евгения Онегина»*⁴.

Такое обозначение, конечно, слишком расплывчато во времени. Постараемся его, по возможности, конкретизировать.

При этом мы будем исходить из предположения, что сначала писалась вторая часть главы, собственно «поединок», начинающаяся со строфы XXIV («Но ошибался он: Евгений...»). Наше предположение основывается на том, что работа над главой пятой, как мы уже отметили, прервалась на строфах XXI–XXIV,

¹ *Иезутова Р. В.* Указ. соч. С. 138.

² *Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина.* Т. 1. Кн. 1. С. 73.

³ *Иезутова Р. В.* Указ. соч. С. 142.

⁴ *Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина.* Т. 2. С. 121.

где поединок Онегина с Ленским уже предрешен сновидением Татьяны:

XXI

Спор громче, громче; вдруг Евгений
Хватает длинный нож, и вмиг
Повержен Ленский; страшно тени
Сгустились; нестерпимый крик
Раздался... Хижина шатнулась...
И Таня в ужасе проснулась...

Последующие три строфы посвящены раздумьям Татьяны над страшным сном и поисками его толкования с помощью гадательной книги Мартына Задеки.

Именно здесь, как мы знаем, была прервана работа над пятой главой. Далее в главе идет (строфы XXV–XLV) описание именин Татьяны — следуют строфы в основном описательного характера, развитие сюжета существенно замедлено. Сюжет в этой части главы двигают вперед лишь несколько строф: конец XXIX, XXX, XXXI, XLI, XLIV, XLV.

По этой причине Пушкин, которому вторая часть главы, по-видимому, была уже мысленно ясна, мог сразу перейти к поединку Онегина с Ленским.

Собственно, так он поступал и ранее. Например, при работе над «сном Татьяны» строфы XV–XVII (описание шалаша-хижины, в которую приносит Татьяну медведь) были пропущены и написаны только после строф XVIII–XX. Причина та же: в пропущенных первоначально строфах развитие сюжета замедлено, и Пушкин, оставив их «на потом», перешел к окончанию эпизода, вплоть до фрагмента строфы XXI, который мы уже приводили («Спор громче, громче; вдруг Евгений...»)¹.

Таким образом, вторая часть шестой главы была написана, по нашему предположению, раньше первой ее части и раньше, чем вторая часть главы пятой (описание именин Татьяны).

¹ *Иезуитова Р. В.* Указ. соч. С. 137–138.

По-видимому, к концу июля 1826 года, когда до Михайловского дошла весть о смерти Амалии Ризнич, вторая часть главы шестой (поединок Онегина с Ленским) была вчерне завершена. Воспоминания о безвременно ушедшей возлюбленной, о муках ревности, пережитых Пушкиным когда-то подле нее, послужили творческим импульсом для работы над первой частью главы, ведущая тема которой оказалась созвучной охватившим его воспоминаниям.

«Интерес к психологии ревности», отмеченный Лотманом в связи с приведенными нами выше стихами строфы III главы шестой, сопряжен был с воспоминаниями о Ризнич.

Эта часть главы (до строфы XXIV) была написана до внезапного отъезда в Москву в ночь с 3 на 4 сентября 1826 года¹.

Затем в ноябре того же года (после возвращения из Москвы и перед новым отъездом туда) с 9 по 22 число была дописана глава пятая, ее вторая часть — описание именин Татьяны.

Вот почему уже 1 декабря, находясь во Пскове в связи с дорожной аварией и полученными в результате нее травмами, Пушкин пишет Вяземскому: «Во Пскове вместо того, чтобы писать 7-ю главу Онегина, проигрываю в штос четвертую...»

Это означает, что пятая и шестая главы романа уже написаны.

Более того, в период с 19 декабря 1826 года (дата приезда Пушкина в Москву) по 5 января 1827 года Пушкин читает шестую главу в кругу друзей, о чем сообщает Вяземский в письме А. И. Тургеневу от 6 января 1827 года:

«Есть прелести образцовые. Уездный деревенский бал уморительно хорош. Поединок двух друзей, Онегина и Ленского описан превосходно...» — и особенно отмечает строфу XXXII, где Пушкин сравнивает смерть Ленского «с домом опустевшим: окна забелены, ставни закрыты — хозяйки нет, а где она, никто не знает. Как все это сказано, как просто и сильно, с каким чувством»².

¹ Тот же срок окончания главы назван И. М. Дьяконовым в статье «Об истории замысла "Евгения Онегина"» // «Пушкин. Исследования и материалы». Т. X. Л., 1982. С. 90.

² Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 2. С. 225.

Такой представляется нам последовательность работы над пятой и шестой главами романа в 1826 году в Михайловском.

Подводя итоги нашим размышлениям, остановимся на том убеждении, что в сравнительно размеренную жизнь Пушкина в конце июля 1826 года вторглись два ошеломивших его известия:

4 июля — о казни декабристов,

25 июля — о смерти Амалии Ризнич (XVII, 248).

Эмоциональный всплеск, вызванный этими известиями в сознании Пушкина, не мог не отразиться в работе над первой частью главы шестой «Евгения Онегина», ведущей темой которой была тема ревности. Рукописи главы впоследствии были уничтожены автором. Гипотетические причины такого поступка изложены нами выше. Отчетливый след не полностью дошедшего до нас творческого порыва представляют собой те несколько черновых и беловых автографов шестой главы, на которых мы здесь останавливались.

В описании рабочей тетради Пушкина, в которой создавалась глава шестая, сообщается, что из нее (до появления в ней жандармской нумерации в феврале 1837 года) было вырвано 34 листа¹. Скорее всего, именно на этих листах и были записаны строфы шестой главы.

2000

¹ *Иезутова Р. В.* Указ. соч. С. 122.

РАЗНЫЕ СЮЖЕТЫ

МЕЖДУ «ОНЕГИНЫМ» И «ДМИТРИЕМ САМОЗВАНЦЕМ»

(Царь и Бенкендорф в противостоянии
Пушкина с Булгариным)

Борьбе А. С. Пушкина с Ф. В. Булгариным уделено в пушкиноведении достаточное внимание, в частности, Н. Я. Эйдельманом, Ю. М. Лотманом и другими известными пушкинистами. Мы остановимся лишь на двух ее эпизодах, в которых вовлеченными в эту борьбу оказались император Николай I и шеф III Отделения собственной его императорского величества канцелярии А. Х. Бенкендорф.

Первый эпизод связан с выходом из печати 18–19 марта 1830 года седьмой главы «Евгения Онегина» и появившейся в связи с этим 22 марта 1830 года в «Северной пчеле», № 35, статьи Булгарина, в которой эта глава подверглась уничтожительной критике:

«...очарование имени исчезло. И в самом деле, можно ли требовать внимание публики к таким произведениям, какова, например, глава VII-я *Евгения Онегина*. Ни одной мысли в этой водянистой VII главе, ни одного чувствования, ни одной картины, достойной воззрения! Совершенное падение. ...Итак, надежды наши исчезли! Мы думали, что автор *Руслана и Людмилы* устремился на Кавказ, чтобы напитаться высокими чувствами поэзии, обогатиться новыми впечатлениями и в сладких песнях передать потомству великие подвиги Русских современных героев. Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов — и мы ошиблись! Лиры знаменитые остались безмолвными, и в пустыне нашей поэзии

опять появился *Онегин*, бледный, слабый <...> сердцу больно, когда взглянешь на эту картину! Все содержание этой VII-й главы в том, что Таню везут в Москву из деревни... Все описания так ничтожны, что нам верить не хочется, чтоб можно было печатать такие мелочи!..»

Критика Булгарина не понравилась Николаю I, и он не замедлил сообщить об этом Бенкендорфу в записке, написанной в тот же день 22 марта: «Я забыл вам сказать, любезный друг, что в сегодняшнем номере "Пчелы" находится опять¹ несправедливейшая и пошлейшая статья, направленная против Пушкина. К этой статье, наверное, будет продолжение: поэтому предлагаю вам призвать Булгарина и запретить ему отныне печатать какие бы то ни было критики на литературные произведения; и если возможно, запретите его журнал»².

Бенкендорф ответил императору через несколько дней, предположительно 25 марта:

«Приказания Вашего Величества исполнены: Булгарин не будет продолжать свою критику на Онегина.

Я прочел ее, Государь, я должен сознаться, что ничего личного против Пушкина не нашел; эти два автора, кроме того, вот уже года два в довольно хороших отношениях между собой. Перо Булгарина, всегда преданное власти, сокрушается над тем, что путешествие за Кавказскими горами и великие события, обезсмертившие последние года, не придали лучшего полета гению Пушкина. Кроме того, московские журналисты ожесточенно критикуют³ Онегина...»⁴

¹ Царское «опять» свидетельствует о том, что и прежние выпады (быть может, булгаринский «Анекдот», опубликованный в «Северной пчеле» 11 марта 1830 г.) против Пушкина вызывали его неудовольствие и обсуждались с Бенкендорфом, но, к сожалению, эта переписка до нас не дошла.

² Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I // «Старина и новизна (исторические сборники)». СПб., 1903. Кн. 6. С. 7–8. Выписки не датированы. Пер. с франц.

³ Это признавал и сам Пушкин.

⁴ Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I. С. 8.

Здесь мы прерываем ответ Бенкендорфа, чтобы прокомментировать процитированное.

Как видно из его ответа, он защищает Булгарина и, в частности, обращает внимание своего венценосного корреспондента на сетования своего подопечного по поводу отсутствия у Пушкина патриотических чувств: не воспел победу над Турцией¹, свидетелем которой ему посчастливилось быть во время присутствия в действующей армии на Кавказе в 1829 году. Участие Пушкина в боевых действиях Бенкендорф подчеркнуто называет путешествием.

Особенно удивляет следующее утверждение Бенкендорфа: «...эти два автора, кроме того, вот уже года два в довольно хороших отношениях между собой».

На самом деле Пушкину еще в 1829 году стало известно о деятельности Булгарина как тайного осведомителя III отделения. К тому же в ноябре 1829 года в трех номерах журнала «Сын Отечества» началась публикация романа Булгарина «Дмитрий Самозванец», в котором Пушкин обнаружил прямые заимствования из своей трагедии «Борис Годунов».

Это и стало причиной открытого конфликта.

Дело в том, что три с лишним года назад (в 1826 году) трагедия была представлена царю для прочтения — Пушкин надеялся получить разрешение на ее публикацию. Тогда Бенкендорф передал пушкинский текст некоему рецензенту, который подготовил замечания, использованные царем в своем ответе Пушкину. Царь через Бенкендорфа предложил Пушкину переделать трагедию в «историческую повесть или роман наподобие Вальтер Скотта» (XIII, 313).

И вот обнаруженные заимствования из «Бориса Годунова» в булгаринском «Дмитрии Самозванце» подтвердили существовавшие у Пушкина подозрения: нанятым рецензентом трагедии

¹ На самом деле поездка на Кавказ в 1829 году вдохновила Пушкина на ряд замечательных стихотворений, среди которых есть и непосредственные отклики на военные события: «Из Гафиза», «Олегов щит», «Дон», «Делибаш», оставшиеся в черновиках наброски «Опять увенчаны мы славой...», «Был и я среди донцов», «Благословен твой подвиг новый...».

в 1826 году был Булгарин, что стало еще одним подтверждением его сотрудничества с Бенкендорфом.

7 марта в «Литературной газете», № 14, появилась без подписи статья А. А. Дельвига «"Дмитрий Самозванец". Исторический роман. Сочинение Фаддея Булгарина».

В статье, в частности, отмечалось: «Не поименованных кукол, одетых в мундиры и чинно расставленных между раскрашенными кулисами, желает видеть в картине любитель живописи; он ищет людей живых и мыслящих, и вследствие их жизни и мысли действующих; а место и одежда их должны только довершать очарование искусством обманутого воображения. То же самое желали бы мы найти и в романе г. Булгарина <...>

Мы еще более будем снисходительны к роману "Дмитрий Самозванец": мы извиним в нем повсюду выказывающееся пристрастное предпочтение народа польского перед русским. Нам ли, гордящимся веротерпимостью, открыть гонение противу не наших чувств и мыслей? Нам приятно видеть в г. Булгарине поляка, ставящего выше всего свою нацию; но чувство патриотизма заразительно, и мы бы еще с большим удовольствием прочли повесть о тех временах, сочиненную писателем русским.

Итак, мы не требуем невозможного, но просим должного. Мы желали бы, чтоб автор, не принимаясь еще за перо, обдумал хорошенько свой предмет, измерил свои силы»¹.

Булгарин, понимая, что заимствования из «Бориса Годунова» не могли остаться незамеченными, решил, что такую разгромную статью никто, кроме Пушкина, написать не мог.

Через 4 дня в «Северной пчеле» появился уже упомянутый «Анекдот», злобный пасквиль на Пушкина и его происхождение (хотя имя Пушкина, разумеется, не упоминалось), далеко выходящий за рамки приличия.

Тем самым Булгарин начал открытую войну против Пушкина. 14 марта Пушкин ответил Булгарину эпиграммой:

¹ «Литературная газета». 1830. № 14. С. 212–213.

Не то беда, что ты поляк:
Костюшко лях, Мицкевич лях!
Пожалуй, будь себе татарин, —
И тут не вижу я стыда;
Будь жид — и это не беда;
Беда, что ты Видок Фиглярин.

Эпиграмма распространилась по Москве, а затем дошла и до Петербурга, вызвав новый скандал, который выходит за пределы нашей темы.

Продолжением этой войны и стала болгаринская критика седьмой главы «Евгения Онегина», на которой мы уже останавливались, вызвавшая неудовольствие Николая I...

Но мы отвлеклись от переписки царя с Бенкендорфом. В процитированном фрагменте письма Бенкендорф защищал Булгарина, а в той части, что будет процитирована ниже, решил, можно сказать, перейти в наступление, представив в негативном свете критику болгаринского романа:

«Прилагаю при сем статью против Дмитрия Самозванца, — пишет Бенкендорф, — чтобы Ваше Величество видели, как нападают на Булгарина. Если бы Ваше Величество прочли это сочинение, то Вы нашли бы в нем очень много интересного и в особенности монархического, а также победу легитимизма. Я бы хотел, чтобы авторы, нападающие на это сочинение, писали в том же духе, так как сочинение — *это совесть писателя* (курсив Бенкендорфа. — В. Е.)»¹.

Николай I ответил Бенкендорфу на том же листе:

«Я внимательно прочел критику на Самозванца и должен вам признаться, что так как я не мог пока прочесть более двух томов и только сегодня начал третий, то *про себя или в себе* размышлял точно так же. История эта сама по себе достаточно омерзительна, чтобы не украшать ее легендами отвратительными

¹ Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I. С. 8–9.

и ненужными для интереса главного события. А потому, с этой стороны критика, мне кажется, справедлива.

Напротив того, в критике на Онегина только факты и очень мало смысла (курсив Николая I. — *В. Е.*)»¹.

Таким образом, царь уничижительно отзывается о романе Булгарина, признает критику его справедливой и, наоборот, признает критику седьмой главы «Евгения Онегина» несостоятельной.

Бенкендорф «разбит» по всем пунктам.

Правда, в конце императорского текста содержится некоторая уступка оппоненту, продиктованная чувством патриотизма, понимание которого у Николая I и Бенкендорфа, конечно, идентично:

«...хотя я совсем не извиняю автора, который сделал бы гораздо лучше, если бы не предавался исключительно этому весьма забавному роду литературы², но гораздо менее благородному, нежели его Полтава. Впрочем, если критика эта будет продолжаться, то я, ради взаимности, буду запрещать ее везде»³.

Однако Бенкендорф, видимо, не проявил достаточной прыти для исполнения царского указания или Булгарин не захотел подчиниться, и продолжение его статьи с критикой седьмой главы «Евгения Онегина», как и предполагал Николай I, появилось в «Северной пчеле», № 39, 1 апреля 1830 года.

В связи с этим имеются указания на то, что Булгарин за неповиновение якобы был отправлен на гауптвахту. О том упомянул без ссылки, к сожалению, на источник П. Н. Столпянский⁴ в статье «Пушкин и "Северная пчела" (1825–1837)»: «При появлении своем она (статья Булгарина. — *В. Е.*) вызвала даже

¹ Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I. С. 9.

² Имеется в виду седьмая глава «Евгения Онегина».

³ Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I. С. 9–10.

⁴ Указал Н. Л. Гуданец.

неудовольствие Императора Николая I, и за нее Булгаринъ сел на гауптвахту»¹.

Второй эпизод из литературной борьбы Пушкина с Булгариным, вовлеченными в который оказались царь и Бенкендорф, связан со стихотворением Пушкина «Моя родословная».

В письме Бенкендорфу от 24 ноября 1831 года Пушкин объяснил, что стихотворение «Моя родословная» написано в ответ на выходку Булгарина²:

«Около года тому назад в одной из наших газет была напечатана сатирическая статья, в которой говорилось о некоем литераторе, претендующем на благородное происхождение, в то время как он лишь мещанин в дворянстве. К этому было прибавлено, что мать его — мулатка, отец которой, бедный негр-итенок, был куплен матросом за бутылку рома. Хотя Петр Великий вовсе не похож на пьяного матроса, это достаточно ясно указывало на меня, ибо среди русских литераторов один я имею в числе своих предков негра. Ввиду того, что вышеупомянутая статья была напечатана в официальной газете и непристойность зашла так далеко, что о моей матери говорилось в фельетоне, который должен был бы носить чисто литературный характер, и так как журналисты наши не дерутся на дуэли, я счел своим долгом ответить анонимному сатирику, что и сделал в стихах, и притом очень круто» (XIV, 242) (франц.).

Дальше Пушкин сообщал Бенкендорфу, что собирался напечатать стихотворение в «Литературной газете», но издатель газеты Дельвиг отсоветовал это делать:

«Я послал свой ответ покойному Дельвигу с просьбой поместить в его газете. Дельвиг посоветовал мне не печатать его,

¹ Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Пг., 1914. Вып. XIX/XX. С. 146.

² Булгаринский «Анекдот», опубликованный в «Северной пчеле» 11 марта 1830 г.

указав на то, что было бы смешно защищаться пером против подобного нападения и выставлять напоказ аристократические чувства, будучи самому, в сущности говоря, если не мещанином в дворянстве, то дворянином в мещанстве. Я уступил, и тем дело и кончилось» (XIV, 242) (франц.).

10 декабря 1831 года Бенкендорф ответил Пушкину. В своем ответе он дословно воспроизвел мнение царя о происходящем конфликте:

«Вы можете сказать от моего имени Пушкину, что я всецело согласен с мнением его покойного друга Дельвига. Столь низкие и подлые оскорбления, как те, которыми его угостили, бесчестят того, кто их произносит, а не того, к кому они обращены. Единственное оружие против них — *презрение*. Вот как я поступил бы на его месте. — Что касается его стихов, то я нахожу, что в них много остроумия, но более всего желчи. Для чести его пера и особенно *его ума* будет лучше, если он не станет распространять их (курсив Бенкендорфа или Николая I. — В. Е.)» (XIV, 247) (франц.).

Из этой переписки мы видим, что царь вновь оказался на стороне Пушкина, охарактеризовав выходку Булгарина как «низкие и подлые оскорбления», заслуживающие лишь презрения. Но, конечно, счел стихотворение непригодным для печати совсем по другой причине. Пушкинские строки:

Не торговал мой дед блинами,
 Не ваксил царских сапогов,
 Не пел с придворными дьячками,
 В князя не прыгал из хохлов, —

совершенно ясно, не намекали даже, а указывали на известные всем знатные ныне фамилии.

Таким образом, в обоих рассмотренных случаях Николай I предстает перед нами в несколько ином облике, чем был принят в советском пушкиноведении. Это не означает, что он во всем и всегда понимал Пушкина и в их отношениях не возникало острых кризисных ситуаций. Нет, эти отношения были

сложными и неоднозначными, они требуют беспристрастного и объективного рассмотрения без крена в ту или другую сторону. А главное, нужно не забывать о том, что, прежде всего, это были отношения дворянина со своим сувереном.

Именно к такому подходу призывал пушкиноведа молодой Д. Д. Благой в своей ныне забытой книге «Социология творчества Пушкина»:

«...дворянское самочувствие Пушкина является... драгоценнейшим социологическим ключом, открывающим не одну дверь художественного творчества Пушкина, разрешающим, как нам представляется, немало загадок его творческой эволюции»¹.

«НЕ ДАЙ МНЕ БОГ СОЙТИ С УМА...»

Мы не будем рассматривать тему безумия в творчестве Пушкина конца 1820 — начала 1830-х годов в увязке с европейской литературой романтизма, которая, как известно, проявляла особый интерес к тайным движениям человеческой души, ко всему интуитивному и бессознательному и которая интерпретировала безумие как феномен исключительности, несовместимой с обыденностью повседневной жизни и с ходячим здравым смыслом. Лариса Вольперт писала, что такому рассмотрению нашей темы противоречит пушкинская точность в «социально-исторических характеристиках современности» и «неповторимость портретов людей восемнадцатого столетия»². Или, как

¹ Благой Д. Д. Социология творчества Пушкина. М.: Мир, 1931. С. 5.

² Вольперт Л. И. Тема безумия в прозе Пушкина и Стендаля («Пиковая дама» и «Красное и черное») // Пушкин и русская литература. Сборник научных трудов. Латвийский государственный университет. Рига, 1986. С. 49.

отмечено Евгенией Табориской: «Слишком густо социальное окружение героев, слишком прочны и многообразны их связи: безумие не несет героям петербургских повестей Пушкина полного высвобождения от социального амплуа (чиновник, офицер, влюбленный, игрок), оно лишь меняет их статус в обществе»¹.

В этой статье мы сосредоточим свое внимание на том обстоятельстве, что тема безумия в пушкинских произведениях указанного периода почти всегда отягощена политическими аллюзиями или, во всяком случае, дает основания рассматривать ее в этом ключе.

Первым в ряду таких примеров должна быть поставлена устная повесть Пушкина «Уединенный домик на Васильевском», записанная в 1828 году Владимиром Титовым и опубликованная им же в 1829 году с позволения Пушкина² в альманахе Дельвига «Северные цветы» под псевдонимом Тит Космократов. Там сумасшествие Павла, главного героя повести, удивительным образом совпадает с реальным безумием М. А. Дмитриева-Мамонова, который был объявлен сумасшедшим за отказ присягать взошедшему на престол Николаю I. Как пронизательно отметила (со ссылкой на Ю. М. Лотмана) Анна Ахматова, «сумасшествие Мамонова было вроде гамлетовского (во всяком случае, в начале) или чаадаевского <...> С ним обошлись как с душевнобольным, но держали как арестанта, Мамонов уехал в свою подмосковную, отрастил бороду, сделался человеком-невидимкой. Подписывал бумаги не своим именем, запрещал упоминать при нем о государе, государыне, вел. князьях, избил лакея (все это делал и Павел "Домика")»³. Ахматова высказала предположение о связи повести с личностью самого императора:

¹ Табориская Е. М. Своеобразие решения темы безумия в произведениях Пушкина 1933 года // Пушкинские чтения. Сборник статей / Сост. С. Г. Исаков. Таллинн, 1990. С. 71–87.

² Что само по себе не может не вызывать удивления.

³ Ахматова А. О Пушкине. С. 219.

«Кроме того, Павел приходил в иступление при виде (где он его брал в своей подмосковной?) высокого белокурого человека с серыми глазами.

Весьма таинственный блондин!

Но здесь нельзя не вспомнить, что Пушкину была предсказана гибель от белокурого человека, а что Николай I был совсем белокурый и у него были серые глаза...»¹

В повести «Пиковая дама»² главу I предваряет невинный как будто бы стихотворный эпиграф:

А в ненастные дни
Собирались они
Часто;
Гнули — Бог их прости! —
От пятидесяти
На сто,
И выигрывали,
И отписывали
Мелом.
Так, в ненастные дни,
Занимались они
Делом.

Эти стихи еще задолго до опубликования повести Пушкин сообщал в своем письме Вяземскому — шуточные строки о собственном времяпрепровождении летом 1828 года. А потом они пригодились для повести. Все как будто бы просто. Но простота эта кажущаяся. Ведь стихотворный размер эпиграфа в точности повторяет размер известной декабристской агитационной песни, написанной совместно Рылеевым и Бестужевым между 1822 и 1825 годами:

¹ Там же.

² Принято относить повесть к 1833 году, однако достоверных доказательств такой датировки не имеется.

Ты скажи, говори,
Как в России цари
Правят.
Ты скажи поскорей,
Как в России царей
Давят.
Как капралы Петра
Провожали с двора
Тихо.
А жена пред дворцом
Разъезжала верхом
Лихо.
Как курносый злодей
Воцарился по ней —
Горе!
Но Господь, русский Бог,
Бедным людям помог
Вскоре.

В середине XIX века оба текста часто воспринимались как одно целое, что, конечно, не случайно: эпиграф написан как продолжение песни. На это обратил внимание Натан Эйдельман:

«Для определенной, весьма просвещенной части читателей пушкинского и послепушкинского времени строчки ”Как в ненастные дни...” были частью сверхкрамольного агитационного декабристского сочинения о том, как ”давили“ цари друг друга... и, понятно, — о том, что эту традицию нужно продолжить. Действительно, размер, ритм, которым написаны разные куплеты этого сочинения, последовательно выдержан, он очень оригинален, его невозможно спутать с каким-либо другим, это настолько очевидно, что в конце прошлого и начале нашего века специалисты готовы были допустить:

1) что все опасные куплеты написал Пушкин; 2) что те же самые строки, включая и ”Ненастные дни“, сочинили Рылеев и А. Бестужев».

Далее он писал: «Пушкин, конечно, все это понимал, и если ”воспользовался легким размером Рылеева“, то совершенно сознательно. Зачем же? Простая пародия была бы невозможным кощунством»¹.

В одной из предыдущих глав² показано, что это не «простая пародия», а указание на то, что картежная игра в повести, помимо выполнения основной, сюжетной функции, является еще и развернутой метафорой, что за ней скрывается другая игра, по мнению Пушкина, еще более азартная — борьба за власть. Так две первые игры совпадают по времени с дворцовыми переворотами 1762 и 1801 годов, а третья игра, игра Германа, соответствует восстанию декабристов. И тем самым его безумие в финале повести может ассоциироваться с поражением восстания. При этом точное указание на 17-й «номер» в Обуховской больнице, где он сидит, невольно ассоциируется с номерами тюремных камер вождей декабризма: в номере 17 Алексеевского рavelина содержался Рылеев³.

Картежники, которые в «ненастные дни» гнут пароли «от пятидесяти на сто», в иные дни давили царей, а заговорщики, в иные, счастливые дни, совершавшие дворцовые перевороты, — тоже азартные игроки, только ставки в их игре неизмеримо крупнее...

При сопоставлении текстов под таким углом зрения затемненный пушкинский эпиграф прояснял содержание агитационной песни, а само содержание агитационной песни получало в пушкинском эпиграфе нравственную оценку.

В том же направлении воздействует на наше восприятие повести и фраза Германа в главе III, обращенная к потерявшей сознание графине:

«— *Перестаньте ребячиться*, — сказал Германн, взяв ее руку» (здесь и далее курсив наш. — В. Е.).

¹ Эйдельман Н. Я. А в ненастные дни... // «Звезда». 1974. № 6.

² См. выше: Исторический подтекст «Пиковой дамы».

³ Пругавин А. Петропавловская крепость. Ростов н/Дону, 1906. С. 13–15.

Выделенные курсивом слова принадлежат графу Палену: так он обратился к великому князю Александру Павловичу в ночь на 12 марта 1801 года¹, когда с его отцом императором Павлом I было уже покончено: «*Перестаньте ребячиться, идите царствовать...*».

Та же аллюзия в неявном виде присутствует и в незавершенном «Дубровском» (1832), где доведенный до отчаяния такой же обедневший дворянин, как Евгений, становится бунтовщиком и привлекает к участию в бунте своих крестьян. А противостоит ему, что специально подчеркнуто автором, выдвигенец 1762 года («восшествие Екатерины») богатый помещик Троекуров. Заметим, что сопряжение этого незаконченного произведения с нашей темой уместно, потому что в планах продолжения романа имеется вариант, в котором Владимир Дубровский сходит с ума:

«[разлука, объяснение, обручение. Капитан Исправник] Жених. Князь Ж. Свадьба. [похищение] [Хижина в лесу], команда, сражение [франс. (?) *Сумасшествие*] Распущенная шайка (курсив наш. — В. Е.)» (XII, 831–832). Подобным же образом можно взглянуть и на стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума...». Не случайно стихи эти родились в тот же период времени, когда написаны были «Пиковая дама», «Медный всадник» и «Дубровский». Мысль о собственном безумии стала вдруг беспокоить поэта. Но о каком безумии он задумывался? Возможно, его волновало безумие не физиологическое, а, по выражению Анны Ахматовой, «гамлетовско-чаадаевское».

Примером такого безумия, как свидетельствовали современники, могла стать, например, возмущенная реакция 34-летнего поэта на пожалование ему звания камер-юнкера в последние декабрьские дни 1833 года: «...но друзья, Вельегорский и Жуковский, должны были обливать холодной водою нового камер-юнкера: до того он был взволнован этим пожалованием! Если б не они, он, будучи вне себя, разгоревшись, с пыла-

¹ Отмечено впервые Александром Лацисом.

ющим лицом, хотел идти во дворец и наговорить грубостей самому царю»¹.

Вероятность оказаться в сумасшедшем доме за независимость поведения упоминается и в письме Жуковского от 6 июля 1834 года, вызванном историей с отставкой Пушкина: «Я, право, не понимаю, что с тобою сделалось; ты точно поглупел; надобно тебе или пожить в *желтом доме*, или велеть себя хорошенько высечь, чтобы привести кровь в движение» (XV, 185).

Ситуация действительно была очень серьезной: 25 июня Пушкин в письме Бенкендорфу, ссылаясь на семейные обстоятельства, просил разрешить ему оставить отягощавшую его службу при дворе, где он вынужден был находиться в качестве камер-юнкера. Просьба Пушкина вызвала неудовольствие Николая I, что могло быть чревато непредсказуемыми последствиями.

Нетрудно догадаться, что и в ноябре 1833 года, в пору создания стихотворения, у Пушкина возникали такие же поводы «сойти с ума», например, в связи с особым вниманием императора к Наталье Николаевне, что и стало причиной присвоения поэту месяцем спустя звания камер-юнкера. Так, те же П. В. и В. А. Нащокины рассказывали П. И. Бартеневу, имея в виду это время, что, по словам Пушкина, царь, «как офицеришка, ухаживает за его женою; нарочно по утрам по несколько раз проезжает мимо ее окон, а ввечеру на балах, спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены»².

Нельзя не отметить в стихотворении «Не дай мне Бог сойти с ума...» и определенного сгущения красок в том, что касается содержания сумасшедшего: цепь, решетка, «визг и звон оков». Пушкин знал достаточно примеров в своем кругу, когда пораженные этим недугом дворяне содержались дома, под присмотром близких: поэт Батюшков, Николай Афанасьевич Гончаров, отец Натальи Николаевны, тот же Дмитриев-Мамонов. Да и в доме родителей Пушкина некоторое время жила его

¹ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 192.

² Там же. С. 194.

сумасшедшая двоюродная или троюродная сестра, которая содержалась в отдельной комнате, но не была лишена общения с родственниками, в частности с самим Пушкиным.

Почему же для себя он нарисовал столь страшную картину, где заключительные строки ассоциируются скорее с тюремным казематом, нежели с лечебницей?

Кроме того, имеются сведения, что стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума...» имело продолжение, впоследствии отброшенное Пушкиным и не дошедшее до нас...

Первоначальное (после возвращения из Михайловской ссылки) обольщение Николаем I прошло, но оставалась в силе сформулированная Пушкиным для себя в письме Жуковскому от 7 марта 1826 года линия поведения: «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен *безумно* противоречить общепринятому порядку и необходимости» (XIII, 265–266).

Иногда, правда, с трудом удавалось выдерживать эту линию, и тогда случались кризисные моменты (как после присвоения звания камер-юнкера или как после заявления об отставке со службы), но Пушкин твердо помнил о том, что открыто противоречить общепринятому порядку в современной ему России равносильно безумию, как это было и в не столь отдаленные времена Екатерины II.

В статье 1836 года «Александр Радищев» именно так охарактеризовал Пушкин поведение Радищева: «Если мысленно перенесемся мы к 1791 году... если представим себе силу нашего правительства, наши законы, не изменившиеся со времен Петра I-го..., если подумаем, какие суровые люди окружали еще престол Екатерины, — то преступление Радищева покажется нам действием *сумасшедшего*» (XII, 32).

Под таким же углом зрения можно рассматривать и «Медный всадник», кстати, так он уже и рассматривался.

Евгений в поэме — представитель того обедневшего дворянства, к слою которого принадлежал сам автор и о судьбе которого так много писал и размышлял. Имя Евгения неизвестно, но:

...в минувши времена
Оно, быть может, и блистало
И под пером Карамзина
В родных преданиях звучало.

То же Пушкин мог сказать и о себе. Поэтому в «Медном всаднике» он осмысляет свою собственную судьбу в контексте судьбы русского дворянства, в контексте истории России.

То, что может быть отнесено нами сегодня к разряду проблем социологических или исторических, Пушкиным еще воспринималось как вопрос текущей политики.

В конспективных заметках «О дворянстве», писавшихся в 1830–1835 годы, Пушкин приходит к неутешительным выводам: «*Петр*. Уничтожение дворянства чинами. Майоратства — уничтоженные плутовством Анны Ивановны. Падение постепенное дворянства; что из этого следует? восшествие Екатерины II, 14 декабря и т. д.» (XII, 206).

Эти же утверждения находим в дневниковой записи разговора с великим князем Михаилом Павловичем от 22 декабря 1834 года: «...что же значит наше старинное дворянство с именьями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристокрации и со всеми притязаниями на власть и богатства? Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много» (XII, 335).

Весьма любопытную характеристику поэме с большевистской откровенностью дал в начале тридцатых годов XX века нарком советской культуры А. В. Луначарский:

«Он (Пушкин. — В. Е.) поднимается, в сущности, до гегелевской постановки вопроса, хотя он вряд ли имел о ней хоть какое-нибудь представление... Великий конфликт двух начал, который чувствовался во всей русской действительности, Пушкин брал для себя, для собственного своего успокоения, как конфликт организующей общественности и индивидуалистического анархизма.

Помимо изумительных красот этой поэмы с точки зрения живописной и музыкальной, она остается живой и потому, что стоит только подставить подлинные величины под пушкинские мнимые, — и вся его формула станет правильной».

И далее Луначарский применительно к условиям своего времени с беспощадной прямоотой подставляет эти «подлинные величины» на место «мнимых»:

«И когда теперь те или другие ”Евгении“ противопоставляют вопросы своей личной судьбы интересам текущего дня, оставляют свою свободу, как право толкать на другие пути и дезорганизовывать генеральную линию, то они точнехонько подпадают под характеристику безумцев, стремящихся остановить, говоря по-гегельски, ”Дух Времени“, который зашагал теперь так энергично, как никогда еще не шагал»¹.

Луначарский трактует безумие Евгения с политической точки зрения и поэтому не удивительно, что в Советском государстве любое сознательное отклонение от «генеральной линии» воспринималось в качестве отклонения психического. Этим и обосновывалось распространение карательной психиатрии в Советском Союзе в 60–80-е годы прошлого века, когда политические убийства и расстрелы, осуществлявшиеся Сталиным на предыдущем этапе, как метод борьбы с инакомыслием власть старалась не использовать.

Политический подтекст «Медного всадника» не утратил своей актуальности до нынешнего дня. Ведь поставленный Пушкиным вопрос о противостоянии личности и общества в сегодняшней России так и остается далеким от разрешения.

2014

¹ Луначарский А. В. Александр Сергеевич Пушкин // Полн. собр. соч.: в 6 т. М.; Л.: Госиздат, 1931. Т. 1. С. 39–41.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ КОЛОННА ИЛИ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ МАЯК? (Еще раз о пушкинском «Памятнике»)

О стихотворении Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»¹, в частности об «Александрийском столпе», написано немало количество литературоведческих исследований и критических статей. Вспомним хотя бы М. Ф. Мурьянова: «В пушкиноведении шли долгие споры о том, что же такое *Александрийский столп*, ведь ничего под таким названием нет во всех каталогах достопримечательностей. Он, в сущности, и задуман как тайна, которая должна быть унесена поэтом в могилу»². Правда в пушкиноведении советском никаких споров по этому поводу быть не могло: «Александрийский столп» интерпретировался совершенно однозначно как Александровская колонна в Петербурге, воздвигнутая в 1834 году в честь победы императора Александра I над Наполеоном в войне 1812 года. Столь же однозначно воспринималась «свобода», которую «восславил» поэт, — исключительно в политическом, а не в философско-нравственном смысле, то же и «милость к падшим» — не милосердие как таковое³, а «милость» исключительно по отношению к осужденным декабристам. При этом лингвистической стороне вопроса — прилагательное «александрийский» не может образовываться в русском языке от мужского имени Александр — не придавалось особого значения. Вопрос же этот со всей внятностью был поставлен еще в 1937 году бельгийским филологом Анри Грегуаром⁴, а затем на исходе советского времени

¹ В дальнейшем для краткости — «Памятник».

² Мурьянов М. Ф. Из символов и аллегорий Пушкина. М.: Наследие, 1996. С. 64.

³ См. выше: «Милость к падшим...» в главе «Пушкин и декабристы».

⁴ Grégoir H. Horace et Pouchkine // les Etudes classiques. Namur. 1937. Т. 6. Р. 525–535.

и в постсоветский период поддержан Н. М. Шанским (1989)¹, С. А. Фомичевым (1990)² и М. Ф. Мурьяновым (1996)³. Все они сошлись во мнении, что «Александрийским столпом» следует считать одно из высочайших сооружений Древнего мира знаменитый александрийский маяк Фарос, который наряду с египетскими пирамидами (ода Горация) входил во все известные списки семи чудес света. Пейзаж древней Александрии с Фаросом действительно есть в неоконченном пушкинском произведении «Мы проводили вечер на даче...» (1835), написанном примерно за год до «Памятника»: «Темная, знойная ночь объемлет Африканское небо; Александрия заснула; ее стогны утихли, дома померкли. Дальний Фарос горит уединенно в ее широкой пристани, как лампада в изголовьи спящей красавицы» (VIII, 422).

Однако позднее О. А. Проскурин (1999) и М. Б. Мейлах (2005) возвратились к старой трактовке пушкинской формулы, для чего предложили свои разрешения лингвистического несоответствия, отмеченного Анри Грегуаром, которых мы еще коснемся в свое время. Пока же рассмотрим более подробно последнее исследование, претендующее на подведение окончательного итога в затянувшейся полемике⁴. Оно посвящено противостоянию Пушкина императору Александру I, а затем и Николаю I, сменившему старшего брата на царском престоле. Именно этим определяется, по мнению М. Б. Мейлаха, содержание двух строк «Памятника», невольно оказавшихся сейчас в фокусе нашего внимания:

¹ Шанский Н. М. Eхegi monumentum // Русский язык в школе. 1989. № 1. С. 70–71.

² Фомичев С. А. Памятник нерукотворный // Русская литература. 1990. № 4. С. 214.

³ Мурьянов М. Ф. Указ. соч. С. 60–67. В первом выпуске «Вопросов литературы» за 2008 год в статье «Будет ли когда-нибудь прочитан Пушкин?» ту же позицию подтвердил Г. Г. Красухин, но статья его, по существу, не содержит нового по сравнению с работами названных авторов.

⁴ Мейлах М. Б. Еще раз об «Александрийском столпе» // Пушкин и его современники. Сб. науч. трудов. Вып. 4 (43). СПб.: ИРЛИ РАН, «Нестор-История»; «Гуманитарное агенство "Академический проект"», 2005. С. 340–363.

Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Автор приводит немало подтверждений указанному противостоянию, ссылаясь при этом и на Вяземского, который по поводу благоприятной для Пушкина аудиенции у Николая I (8 сентября 1826 года), положившей конец долголетней ссылке поэта, заметил: «Либералы, однако же, смотрели с неудовольствием на сближение двух potentатов»¹; и на Тютчева, который нарек убийцу Пушкина «цареубийцей»; и на современные литературоведческие исследования, в частности на работу М. Н. Виролайнен о культурном герое нового времени, подчеркнувшей, что «по отношению к царю поэт <...> оказывается и его "парой" и его "конкурентом"»².

Такой смысл можно как будто бы найти в первой из процитированных пушкинских строк (о «нерукотворном памятнике», воздвигнутом поэтом себе самому своим поэтическим служением):

Вознесся выше он главою непокорной...

Но вот что важно: никаких конкретных указаний и даже намеков в ней нет. Мысль о противостоянии Поэта и Властителя содержится в ней, как говорится, в общем виде. Выше чего он «вознесся» (вторая строка) мы рассмотрим позже. Но и без указания объекта, который был избран Пушкиным для сравнения и которого мы пока не касаемся, ясно, что речь идет о противостоянии Поэта любому земному властелину, кем бы тот ни был, ведь вознесся-то «нерукотворный» памятник «главою непокорной». Кому «непокорной» — конечно, любой земной власти. Кроме того, это только один из множества аспектов (быть

¹ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 141.

² Виролайнен М. Н. Культурный герой Нового времени // Легенды и мифы о Пушкине. СПб.: «Гуманитарное агенство "Академический проект"», 1994. С. 334–335.

может, один из важнейших, но не единственный), составляющих содержательную основу стихотворения. Ведь в нем явлены мысли и о поэтическом бессмертии («Нет, весь я не умру»), и о противостоянии «нерукотворного» рукотворному, и о милосердии («милость к падшим»), и о превышающем все и всяческие веления «веленье Божьем», и еще многое другое.

Поэтому трудно согласиться с утверждением автора о том, что мотив «конкуренции или соперничества» с царской властью «многообразно заложен»¹ в пушкинском стихотворении. Нам этого «многообразия» выявить не удастся, автор же не подкрепил свое сомнительное, на наш взгляд, утверждение пушкинским текстом. Спору нет, тема, разрабатываемая им в рассматриваемой статье², безусловно, актуальна, и статья его содержит немало интересных наблюдений, но они, по нашему глубокому убеждению, не имеют прямого отношения к пушкинскому «Памятнику». Гениальное пушкинское стихотворение, не побоимся сказать, не об этом или не только и не столько об этом. Оно о миссии или, как позднее замечательно выразился Блок, о назначении поэта: «"Памятник" — не только итог биографии, личной судьбы (как было у Горация и Державина). Судьба поэта Пушкина — для Пушкина лишь сюжет. Содержание же — миссия поэта. Излишние конкретные временные детали убраны, осталось движение истории»³.

Так формулировал свое отношение к «Памятнику» Валентин Непомнящий более сорока лет назад в статье, опубликованной в «Вопросах литературы» (1964). Значительно позднее он вновь подтвердил ту свою позицию: «Пушкинское стихотворение (в отличие от «Памятников» Горация и Державина, где авторы говорят в буквальном смысле о себе лично) вовсе не "личное", не о поэте А. С. Пушкине, его "заслугах", его судьбе, а о миссии

¹ Мейлах М. Б. Указ. соч. С. 346.

² Как и другой его работы на ту же тему — см.: Мейлах М. Б. Поэзия и власть // Лотмановский сборник. Т. 3. М., 2004. С. 717–744.

³ Непомнящий В. С. Поэзия и судьба. М.: Советский писатель, 1983. С. 24.

поэзии, как она понимается поэтом Пушкиным и как выполнена в его творчестве. Из лично-национального плана тема переводилась в план национально-общечеловеческий. "Я" было лишь точкой опоры, но не основным содержанием. Соответственно общепринятое узко историческое толкование "свободы" и "милости к падшим" (следование Радищеву, призыв помиловать декабристов) становилось частью широкого философского и нравственного понимания: свобода духа, милосердие к людям»¹.

Наиболее важно здесь для нас утверждение о том, что «излишние конкретные временные детали убраны» и что «общепринятое (в советское время. — В. Е.) узко историческое толкование» отдельных пушкинских мотивов в «Памятнике» неподотворно — их нужно рассматривать в «широком философском и нравственном» контексте.

Той же точки зрения придерживался М. Ф. Мурьянов в своих заметках о «Памятнике», где он цитировал бельгийского филолога Анри Грегуара: «Пушкин, по размышлению, очистил свой шедевр от слишком злободневных намеков, недостойных его и того, что дается навеки»².

Вопреки этому, М. Б. Мейлах вновь попытался доказать, что в пушкинском стихотворении содержится злободневное и политически актуальное для его времени утверждение о противостоянии поэта Пушкина власти российского царя: «Суммируя сказанное, можно видеть, что в стихотворении, написанном "почти" (? — В. Е.) *александрийским* стихом, поэт Александр Пушкин утверждает, что воздвигнутый им "нерукотворный" поэтический памятник (каковым данное стихотворение является *par excellence*) вознесся выше "рукотворного" *Александрийского* столпа — памятника неправомочно сакрализованной славе нелюбимого им тезоименитого императора *Александра I*»³.

¹ *Непомнящий В. С.* Указ. соч. С. 390.

² *Мурьянов М. Ф.* Указ. соч. С. 66.

³ *Мейлах М. Б.* Указ. соч. С. 361.

Курсив в словах «александрийский» (стих) — «Александр» (Пушкин) — «Александрийский» (столп) — «Александр» (император) демонстрирует желание подтвердить правомерность образования прилагательного «александрийский» от имени «Александр» (вместо «Александровский»), что на самом деле, как уже было отмечено, противоречит нормам русского языка.

Поборники узко исторической трактовки «Памятника» и раньше неоднократно пытались это противоречие снять. Современные авторы, как уже было упомянуто, предложили новые решения существующей для их интерпретации проблемы. Так, О. А. Проскурин исходил из того, что Петербург 30-х годов XIX века порой отождествлялся в петербургской высококультурной среде (П. Я. Чаадаев, П. А. Катенин)¹ с египетской Александрией, и потому, мол, Пушкин петербургскую Александровскую колонну и назвал Александрийским столпом. Заметим, что, оппонируя своему фактическому единомышленнику, М. Б. Мейлах совершенно резонно охарактеризовал проскуринскую интерпретацию, основанную на параллели Петербург — Александрия, как «натянутую» и «несомненно недостаточную»².

Сам же он предложил не менее остроумную, но столь же недостаточную, на наш взгляд, версию: «На самом деле мы имеем дело со скрытым галлицизмом, образованным по той же модели, что *александрийский*, а не *александровский стих* — от *vers alexandrine* (получившего имя по названию отнюдь не города, а средневекового «Романа об *Александре* <Македонском>») <... > галлицизм этот восходит к присутствующей в сознании людей пушкинского времени *colonne Alexandrine* — компактной форме, несомненно бывшей у всех на устах (начиная с ее проектировщика и строителя — Огюста Монферрана) в течение четырех лет строительства колонны, каждый момент которого освещался в печати не только русской, но и французской. Именно форма времени *colonne Alexandrine*, более удобная

¹ Проскурин А. О. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М.: НЛО, 1999. С. 278–282.

² Мейлах М. Б. Указ. соч. С. 348.

для произнесения, чем громоздкая именная притяжательная конструкция *colonne (d') Alexandre I*, и сама как бы составляющая полустихие воображаемого александрийского стиха, постоянно употребляется в газетных отчетах, издававшейся в столице официальной газеты "Journal de Saint-Petersbourg"¹.

Во-первых, маловероятно, чтобы в пушкинском стихотворении были сведены вместе в одном словосочетании галлицизм (по утверждению автора статьи) «Александрийский» и архаизм «столп». Такой, с позволения сказать, лингвистический эклектизм совершенно не характерен для Пушкина. Более органичным и близким к французскому наименованию выглядело бы в данном случае словосочетание «Александрийская колонна».

Во-вторых, не может, на наш взгляд, восприниматься всерьез утверждение о том, что словосочетание «Александровский столп» («Александров столп») отвергнуто Пушкиным по соображениям стихотворной техники: «...наконец, ограничения, налагаемые метрикой, преуменьшать значение которых вслед за О. А. Поскуриным нет никаких оснований. Ни *Александрийская колонна*, ни *Александровский столп* ни в именительном, ни в косвенных падежах в ямб не вписываются и вообще "неудобны" не только метрически, но и ритмически»², — таким вот доводом пытается обосновать свою концепцию автор! Кстати, упомянутый им О. А. Поскурин подобного рода предположения отклонил весьма, на наш взгляд, изящно: «...мысль же о том, что Пушкин совершил это насилие над языком (написав «Александрийский» в смысле Александровский. — В. Е.) для того, чтобы втиснуть слово в четырехстопный ямб, исполнена непреднамеренного комизма»³.

И в-третьих, не все так просто с именованнием стиха, которым был написан в XII веке роман об Александре Македонском: русское «александрийский» не произведено от русского имени «Александр», а является модификацией французского

¹ Там же. С. 350.

² Мейлах М. Б. Указ. соч. С. 352.

³ Проскурин А. О. Указ. соч. С. 277.

прилагательного «alexandrin», образованного в соответствии с нормами французского языка от имени «Alexandre». Название стиха перешло в русский язык из французского, обретя при этом русские суффикс и окончание и претерпев некоторую коррекцию («александрийский» вместо более точного по звучанию «александринский»).

Главное же наше возражение заключается не в этом. В пушкинском стихотворении, повторим это вслед за Валентином Непомнящим, «излишние конкретные временные детали убраны», или, как выразился Анри Грегуар, Пушкин «очистил» свой «Памятник» «от слишком злободневных намеков».

Поэтому более вероятной представляется интерпретация «Александрийского столпа», предложенная тем же Грегуаром и его последователями. Гораций избрал для сравнения по высоте со своим «нерукотворным» памятником египетские пирамиды (другое, нежели Фарос, из семи чудес света):

...и пирамид выше он царственных¹.

Пушкин заменил египетские пирамиды александрийским маяком (предположение о причине такой замены мы выскажем чуть позже). Отметим при этом, что М. Б. Мейлах придает чрезмерное, на наш взгляд, значение эпитету «царственных» у древнеримского поэта, относящемуся к усыпальницам египетских фараонов. Эпитет этот не имеет ни малейшего оттенка злободневности, какую приписывает он стихотворению Пушкина и каковая могла бы иметь место, сравни Гораций свой памятник с усыпальницами или какими-либо достопримечательными по своей высоте сооружениями империи или скульптурами римских властителей. Осмелимся предположить, что эпитет этот подчеркивает лишь царственность пирамид как сооружений, возвышающихся над безлюдным плоским пространством пустыни².

¹ Перевод А. П. Семенова-Тян-Шанского.

² Сравним с ахматовским: «И долговечней *царственное* слово».

Таким образом, и Гораций, и Пушкин сравнивали высоту своих «нерукотворных» памятников с высочайшими в мире «рукотворными» объектами. Иначе и не могло быть: высоте памятника издревле придавалось особое значение. Об этом свидетельствует хотя бы форма доисторических памятников на территории будущей России, каковыми являлись по существу древние курганы. По утверждению М. Ф. Мурьянова, «фактор высоты уже тогда имел решающее значение в иерархии курганов». Утверждение это он сопроводил примерами: «...убитые Олегом в Киеве в 882 г. Аскольд и Дир были погребены на вершине горы. Сам Олег был в 912 г. погребен на горе Щековице»¹.

И здесь обнаруживается еще одна уязвимость старой трактовки: Александровская колонна никак не может соперничать по высоте с теми древними сооружениями, на которых остановились Гораций и Пушкин, ее высота — 154 фута² или 46,94 м; высота пирамиды Хеопса — 138 м³; высота Фароса — 110 м⁴ (по некоторым источникам 135⁵ и даже 180 м⁶). Таким образом, если бы объектом для сравнения высоты своего памятника Пушкин действительно избрал Александровскую колонну, то пушкинский эталон высоты был бы ниже, чем у Горация, почти в три раза! Отметим при этом, что Александровская колонна вообще не является очень уж высоким сооружением (хотя, быть может, и стала самым высоким памятником своего времени), она не доминирует по высоте даже на месте своего установления — на Дворцовой площади Петербурга, где смотрится явно ниже арки здания Главного штаба. Таков на самом деле «здравый смысл», к которому будто бы апеллирует М. Б. Мейлах: «Здравый смысл требует все-таки видеть в пушкинском стихе сравнение прежде всего с петербургским памятником, установленным

¹ Мурьянов М. Ф. Указ. соч. С. 62.

² Проскурин О. А. Указ. соч. С. 284.

³ Атлас чудес света. М.: БММ АО, 1995. С. 128.

⁴ Словарь античности. М.: Прогресс, 1989. С. 599.

⁵ Мурьянов М. Ф. Указ. соч. С. 65.

⁶ Фомичев С. А. Памятник нерукотворный // «Русская литература». 1990. № 4. С. 214.

в честь побед императора Александра I»¹. Нам же представляется, что пушкинское «вознесся выше он...» предполагает (по аналогии с одой Горация) высоту, превосходящую все известные в его время «рукотворные» сооружения мира, только таким «нерукотворному» памятнику Поэту и подобает быть²! Именно в этом видится нам суть пушкинского сравнения.

Тот же довод в пользу александрийского маяка выдвинул С. А. Фомичевым: «Если принять во внимание, что в первой строфе имеется в виду самое дальнее будущее время, то масштаб сопоставления "памятника нерукотворного" с Александровской колонной окажется неизмеримо заниженным. Нет, речь здесь может идти только о самом грандиозном сооружении рук человеческих, о культурной реалии всемирного значения...»³

Вслушаемся еще раз в величественную архаику пушкинской лексики: «памятник нерукотворный», «вознесся главою», «столпа», «в заветной лире», «тленья убежит», «в подлунном мире», «пиит», «Руси великой», «сущий в ней язык», «ныне дикой», «любезен я народу», «милость к падшим», «Веленью Божию», «приемли», «оспоривай»...

Высокий торжественный слог «Памятника», роднящий его этим, а также и ритмически, с переложением великопостной молитвы Ефрема Сирина («Отцы пустынники и жены непорочны...»), написанной за месяц до него, исключает, как нам представляется, возможность сиюминутной злободневности и публицистичности в нем.

И все же остается вопрос: зачем понадобилось Пушкину заменить Фаросом египетские пирамиды, избранные для сравнения Горацием, а затем Державиным? Нам представляется, что, производя эту замену, Пушкин намеренно ввел в стих лукавую

¹ Мейлах М. Б. Указ. соч. С. 347.

² О. А. Проскурин подвергает сомнению версию об александрийском маяке на том основании, что он «давно исчез с лица земли» (с. 277), но и Гораций, и Пушкин сравнивают свои памятники с пирамидой (Гораций) и с Фаросом (Пушкин) лишь по высоте. Долговечность сравнивается у Горация с медью (в переложении Державина — с металлами), у Пушкина это сравнение вообще отсутствует.

³ Фомичев С. А. Указ. соч. С. 214.

двузначность, связанную с тем, что прилагательное «Александрийский» и имя «Александр» имеют общий корень, и тем самым как бы бросил ответ от высочайшего в Древнем мире сооружения на современную ему Александровскую колонну в Петербурге. Быть может, в том и суть произведенной Пушкиным замены. И тогда прочтение «Александрийского столпа» как Александровской колонны, поддержанное нашими оппонентами (как частный, прикладной случай), тоже возможно. Ведь пушкинское слово, как мы не устаем повторять, всегда многозначно. Вновь вспомним Ю. Н. Тынянова: «Семантика Пушкина — двупланна, ”свободна“ от одного предметного значения, и поэтому противоречивое осмысление его произведений происходит так интенсивно»¹. Поэтому-то уже в пушкинское время «Александрийский столп» мог восприниматься кем-то (особенно цензурой) как Александровская колонна, и здесь мы готовы присоединиться к пассажи М. Б. Мейлаха: «Недаром Жуковский, готовя стихотворение к публикации в 1841 г., заменил, из цензурных соображений, ”Александрийский столп“ на ”Наполеонов“»². Но ведь возможность «применений» не может служить доказательством того, что именно в этом и был истинный замысел Пушкина. Возможность разного рода «применений» очень часто сопровождала пушкинские стихи, но далеко не всегда эти «применения» были обоснованны.

Вообще узко историческая интерпретация «Александрийского столпа» слишком жестко связывает пушкинское стихотворение с 30-ми годами XIX века, замыкает его в них. Столь однозначное прочтение не будет полноценным, адекватным. Ведь это стихотворение (как и ода Горация) на века, на все времена — таким оно было задумано и осуществлено Пушкиным. При взгляде из той временной дали, к которой устремлялась мысль поэта, и Александровская колонна, и сам Александр I будут становиться все менее различимыми.

2007

¹ Тынянов Ю. Н. Пушкин // Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. С. 133.

² Мейлах М. Б. Указ. соч. С. 347.

РАФАЭЛЬ ИЛИ ПЕРУДЖИНО?

(О стихотворении Пушкина «Мадонна»)

Стихотворение Пушкина «Мадонна», имеющее сонетную форму, написано в Москве, обращено к невесте поэта Наталье Николаевне Гончаровой и датируется 8 июля 1830 года:

Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал мою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному суждению знатоков.

В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш Божественный Спаситель —

Она с величием, Он с разумом в очах —
Взирали кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов. Под пальмою Сиона.

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

Детали картины какого-то «старинного мастера», зримо воспроизведенные в сонете Пушкина, свидетельствуют о том, что эту картину он видел где-то воочию. По-видимому, та же картина упоминается чуть позже в письме к Наталье Николаевне от 30 июля того же года из Петербурга, куда поэт ненадолго выехал для устройства своих дел перед женитьбой: «Прекрасные дамы просят меня показать ваш портрет и не могут мне простить, что

его у меня нет. Я утешаюсь тем, что часами простаиваю перед белокурой мадонной, похожей на вас как две капли воды; я бы купил ее, если бы она не стоила 40 000 рублей» (пер. с франц.).

Еще в конце 20-х годов прошлого века письмо сопровождалось следующими примечаниями Б. Л. Модзалевского: «Белокурая мадонна, по объяснению А. В. Средина, — Мадонна Перуджино, принадлежавшая Николаю Михайловичу Смирнову. Не знаем, так ли это, но в недостоверных Записках А. О. Смирновой читаем: "Смирнов должен был быть шафером Пушкина, но ему пришлось уехать в Лондон курьером. Он говорил Искре [то есть Пушкину], что Натали напоминает ему мадонну Перуджино. Пушкин завтракал у Смирнова, смотрел его картины, коллекцию редкостей искусства..."»¹.

К вопросу «недостоверности Записок А. О. Смирновой» мы вернемся чуть позже, а пока отметим, что Модзалевский в конце 1920 годов с теми или иными оговорками называет имя Перуджино.

Однако в шестидесятые годы XX века появляется новая версия, которая без достаточных на то оснований (что мы далее постараемся показать) становится общепринятой и с тех пор приводится почти во всех комментированных изданиях стихотворений Пушкина².

Версия базируется на заметке в «Литературной газете» № 19 от 1 апреля 1830 года, извещавшей «любителей художеств» о том, что в книжном магазине Слёнина на Невском проспекте выставлена приписываемая Рафаэлю картина с изображением св. Девы Марии и младенца Иисуса. Заметка эта была целиком приведена М. А. Цявловским в статье «Стихотворение "Мадонна"». Со свойственной ему категоричностью Цявловский заключил: «Не может быть, конечно, никаких сомнений,

¹ Пушкин. Письма / Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского. М.; Л.: Гос. изд., 1928. Т. II. С. 454; Смирнова А. О. Записки. М.: Захаров, 2003. С. 206.

² Исключение составляет малое академическое собрание сочинений Пушкина под редакцией Б. В. Томашевского.

что в этой заметке речь идет о той же самой ”Мадонне“, о которой писал Пушкин. Проводил целые часы, смотря на ”Мадонну“, Пушкин, конечно, в книжном магазине Слёнина на Невском проспекте»¹. Столь категоричное заявление, как часто бывает с такого рода заявлениями, не имеет абсолютно никакой доказательной базы. Никаких доводов в подтверждение того, что стихотворение Пушкина связано не с «Мадонной» Перуджино, а именно с картиной, выставленной у Слёнина, в статье Цявловского нет. Дореволюционная точка зрения в пользу «Мадонны» Перуджино проигнорирована, лишь на том основании, что Записки» Смирновой вновь (как это постоянно делалось в советское время) объявлены псевдо-«Записками». Но и с рафаэлевской Мадонной у Цявловского вышла неувязка. В картине не было пейзажного фона, который подразумевает следующая пушкинская строка:

Одни, без ангелов. Под пальмою Сиона.

При этом сам же автор статьи вполне резонно заметил: «Пушкин был исключительно точен, и мы решительно отвергаем гипотезу, что ”пальма Сиона“ — поэтическое дополнение; стих так лаконичен и прост, что производит впечатление непосредственного делового описания»².

Отмеченную катастрофическую неувязку вскоре попытался снять Г. М. Кока в статье «Пушкин перед Мадонной Рафаэля»³, написанной как бы в развитие версии Цявловского. Кока установил, что в магазине Слёнина была выставлена копия с «Бриджутерской» Мадонны Рафаэля, названная так по имени ее владельца английского герцога Бриджутера (1758–1829). Что же касается отсутствия пейзажного фона, то он попытался решить

¹ Цявловский М. А. Стихотворение «Мадонна» // Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М.: Изд. АН СССР, 1962. С. 399.

² Там же. С. 402.

³ Кока Г. М. Пушкин перед Мадонной Рафаэля // Временник Пушкинской комиссии. 1964. Л.: «Наука», 1967. С. 38–43.

эту проблему с помощью подробных данных о картине и копий с неё, известных специалистам. Таких копий якобы было известно пять, и одна из них (собрание Штеделевского института искусств во Фракфурте-на-Майне), судя по сохранившемуся ее описанию, пейзажный фон имела¹. На основании этих данных Кока высказал ничем не подкрепленное предположение: «Очевидно, неизвестные нам владельцы "Бриджуотерской Мадонны с пейзажным фоном", прежде чем уступить ее немецкому музею как копию, сделали в 1830 г. попытку сбыть картину петербургским собирателям по цене подлинника Рафаэля, попытку, закончившуюся неудачей, несмотря на помещение полотна в таком заметном месте, как магазин Слёнина, и громкую рекламу в печати»². Вот эта фраза, начинающаяся со слова «очевидно», не подкрепленная никакими фактическими данными, по существу, и стала обоснованием версии Цявловского-Коки. Однако даже такое голословное предположение Коки вступило в явное противоречие с другим местом его же статьи, где со ссылкой на публикацию в «Русском инвалиде» (№ 104 от 24 апреля 1830) сообщалось, что с картины, выставленной в книжном магазине Слёнина, имелось два эстампа³.

А дальше сообщалось: «В альбоме гравюр с картин собрания герцога Орлеанского был обнаружен лист работы А. Л. Романе (Romanet, 1748–1807), изображающий Мадонну с младенцем, с надписью, текст которой точно воспроизведен в "Русском инвалиде". Здесь же приведены и все другие данные, известные из газеты: размер картины и имена ее прежних владельцев. С текстом этой длинной надписи совпадает решительно все, что было сказано в "Русском инвалиде", так что можно не сомневаться, что автор статьи (в «Русском инвалиде». — В. Е.) держал в руках именно этот эстамп. Теперь, чтобы установить живописный оригинал, достаточно сопоставить гравюру

¹ Нынешнее местонахождение ее неизвестно.

² Кока Г. М. Указ. соч. С. 42.

³ Там же. С. 40.

с фоторепродукциями картин Рафаэля. Искомая композиция, *во всем совпадающая с гравюрой*, — это «Бриджуотерская» Мадонна Рафаэля»¹.

Но, как может убедиться каждый желающий и как о том упоминает чуть ниже сам автор статьи, «Бриджуотерская» Мадонна Рафаэля не имеет пейзажного фона: «Но одной детали на этом холсте Рафаэля нет. У Пушкина фигуры изображены ”под пальмою Сиона“, т. е. на фоне южного пейзажа. Между тем на картине, что ясно видно и на фоторепродукции, и на гравюре, Мадонна помещена в интерьере, на фоне внутренней стены какого-то помещения»².

Следовательно, и картина, выставленная в магазине Слёни-на (полностью совпадающая, как утверждал Кока, по композиции с эстампом, который «держал в руках» автор статьи в «Русском инвалиде»), пейзажного фона не имела!

Таким образом, предположение Коки о том, что в Петербурге в 1830 году была выставлена именно копия «Бриджуотерской» Мадонны Рафаэля с пейзажным фоном (из собрания Штеделевского института) ни на чем не основано и вступает в неустрашимое противоречие с его же разысканиями. То есть никакого обоснования новой версии (в пользу Мадонны Рафаэля) в статьях Цявовского и Коки обнаружить не удастся. Тем удивительнее, что версия эта до сих пор никем не оспаривалась.

Кроме того, хронология событий была полностью оставлена обоими авторами без внимания. А она такова: Пушкин уехал из Петербурга 4 марта и пробыл в Москве до 16 июля, сообщения же в петербургских газетах о картине Рафаэля появились в конце марта — начале апреля. Мог ли видеть ее Пушкин до отъезда в Москву? Такой вопрос в рассматриваемых нами статьях даже не ставился, а он весьма важен, стихотворение «Мадонна», как мы уже отметили, было написано в Москве 8 июля.

¹ Кока Г. М. Указ. соч. С. 41.

² Там же.

С учетом всех этих соображений и фактов приходится обратиться к старой версии, по которой картиной, вдохновившей поэта на создание рассматриваемого стихотворения, явилась Мадонна Перуджино. Источником этой версии являются «Записки» А. О. Сминовой-Россет.

Вопрос достоверности «Записок», как мы уже отмечали, действительно очень сложен, — мы рассмотрели его в свое время в статье «Подлинны по внутренним основаниям»¹.

При всем том приведенное Б. Л. Модзалевским утверждение А. О. Смировой (см. выше), касающееся Мадонны Перуджино, не может быть просто так сброшено со счетов — ведь это свидетельство современницы и близкой знакомой Пушкина. Никаких других свидетельств современников по этому поводу нет.

На свидетельство А. О. Смирновой с доверием ссылались художник А. В. Средин в статье 1910 года об усадьбе Гончаровых², Д. С. Мережковский в своей известной работе о поэте³, М. Д. Беляев в книге «Наталья Николаевна Пушкина в портретах и отзывах современников». Тираж последней был уничтожен в тридцатые годы в связи с арестом автора. Как выразился Пушкин в заметке о «Графе Нулине» (а мы то и дело вспоминаем это его выражение!), «бывают странные сближения»: все названные авторы были не в чести в советское время, сочинения их в той или иной степени старались предать забвению. Может быть, поэтому и упоминания Мадонны Перуджино ушли со страниц пушкиноведческих изданий?..

Справедливости ради отметим, что Цявловский счел возможным привести в упомянутой статье одно весьма интересное

¹ Есипов В. М. Подлинны по внутренним основаниям // «Новый мир». 2005. № 6. С. 130–144.

² Средин А. В. Полотняный завод // «Старые годы». М., 1910. Июль — сентябрь. С. 103. А. В. Средин (1872–1934?), художник, в молодости был близок к Левитану и Чехову, автор серии работ, посвященных Пушкину, эмигрировал из СССР в 20-е годы прошлого века.

³ Мережковский Д. С. Пушкин // «Пушкин в русской философской критике». М.: Книга. С. 100.

для нас (но не заслуживающее внимания с его точки зрения) наблюдение Беляева: «М. Д. Беляев писал, что "существуют догадки, что Мадонна, о которой говорит здесь Пушкин, принадлежала кисти Перуджино и находилась либо в собрании Н. М. Смирнова, либо в собрании графа Г. А. Строганова, но точных данных для этого нет, если не считать того, что в собрании Строгановых действительно имеется *Мадонна Перуджино с чуть-чуть косым разрезом глаз*"»¹.

Отмеченная деталь представляется нам весьма важной. Дело в том, что и в лице Натальи Николаевны Гончаровой имелась та же особенность, и ее подчеркнул Беляев: «Акварель А. П. Брюллова <...> рисует нам молодую девушку, или даму, с правильным удлинненным овалом лица, с довольно высоким лбом, частью прикрытым светло-каштановыми волосами, разделенными у середины на две стороны, образующими завитки на висках и собранными наверху в пышную коронку из свернутых кос. Черты лица можно было бы назвать идеально правильными, если бы не небольшая косина в разрезе темно-карих глаз, которая придает всему лицу своеобразное очарование. И когда смотришь на него, становится понятным то насмешливо-восторженное прозвище, которое Пушкин, по свидетельству княгини В. Ф. Вяземской, дал Наталье Николаевне: "моя косоглазая мадонна"»².

Цявловский передал слова Пушкина более точно и дал точную ссылку на «Русский архив» (1888. № 7. С. 311): «"Жену свою Пушкин иногда звал: моя косая мадонна. У нее глаза были несколько вкось", — рассказывали Вяземские»³. Он привел еще один пример, когда Пушкин отметил эту особенность расположения глаз невесты, адресуясь к Е. М. Хитрово: «J'épouse une

¹ Цявловский М. А. Указ. соч. С. 397–398; Беляев М. Д. Наталья Николаевна Пушкина в портретах и отзывах современников. СПб.: Ассоциация «Новая литература» Библиополис, изд-во «Опыты», 1993. С. 18.

² Беляев М. Д. Указ. соч. С. 20.

³ Цявловский М. А. Указ. соч. С. 402.

madonne louche et rousse»¹. Но опять-таки не придал этому никакого значения.

А вот отзыв современника пушкинской эпохи (доктора Станислава Моравского), также приведенный Беляевым: «Госпожа Пушкина была одной из самых красивых женщин в Петербурге <...> Лицо было чрезвычайно красиво, но меня в нем, как кулаком, ударял всегда какой-то недостаток. В конце концов я понял, что не в пример большинству человеческих лиц, глаза ее, очень красивые и очень большие, были размещены так близко друг от друга, что противоречили рисовальному правилу: "Один глаз должен быть отделен от другого на меру целого глаза"»².

Таким образом, по мнению Беляева, Наталья Николаевна действительно была похожа на Мадонну Перуджино одной весьма характерной особенностью черт лица. Теперь мы можем понять, что имел в виду Н. М. Смирнов (если достоверно воспоминание А. О. Смирновой), говоря о том, что «Натали напоминает ему Мадонну Перуджино», и что имел в виду Пушкин, сообщая невесте в письме от 30 июля 1830 года о ее сходстве с неизвестным нам изображением «белокурой Мадонны», которое стоит 40 000 рублей.

Кстати заметим, что цена, указанная Пушкиным, очень велика и свидетельствует о том, что речь шла о безусловном подлиннике великого художника, а не о копии. Так, в статье В. Г. Качаловой о меценатстве и частном коллекционировании в России сообщается, что примерно в это же время Эрмитажем были приобретены из коллекции графа Милорадовича 9 картин за 21 800 руб. При этом автор отмечает: «Как сам факт приобретения Императорским Эрмитажем, так и столь высокая цена свидетельствуют о высоком качестве этих произведений»³.

¹ Там же: «Я женюсь на косой и рыжей мадонне» (франц.).

² Беляев М. Д. Указ. соч. С. 107–108.

³ Качалова В. Г. Меценатство и частное коллекционирование как форма сохранения культурных ценностей в XIX — начале XX в. // CREDO NEW (теоретический журнал). № 4. 2004.

Далее там же сообщается о приобретении в мае 1836 года Императорской академией художеств коллекции графа Мусина — Пушкина — Брюса, состоящей из «127 произведений всех основных школ западно-европейской живописи общей стоимостью в 122 тыс. 825 руб.», а также, что при оценке «имели в виду достоинство картин и настоящую их цену»¹.

И наконец, самым важным, с нашей точки зрения, доводом в пользу Мадонны Перуджино является тот факт, что это произведение великого итальянца находится в России, в московском Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, куда оно поступило из Эрмитажа, а в Эрмитаж, по сообщению сотрудника музея, известного специалиста по западно-европейской живописи В. Э. Марковой, попало из собрания графа А. Г. Строганова, о котором упоминали М. А. Цявловский и М. Д. Беляев.

Именно этой картиной мог любоваться в свое время Пушкин, именно в ней находить сходство со своей невестой.

2008

КТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ «ПОЭТ ТОЙ ЧУДНОЙ СТОРОНЫ?»

Начнем с пушкинского текста:

В прохладе сладостной фонтанов
И стен, обрызганных кругом,
Поэт, бывало, тешил ханов
Стихов гремучим жемчугом.

¹ Качалова В. Г. Меценатство и частное коллекционирование как форма сохранения культурных ценностей в XIX — начале XX в. // CREDO NEW (теоретический журнал). № 4. 2004.

На нити праздного веселья
Низал он хитрою рукой
Прозрачной лести ожерелья
И четки мудрости златой.

Любили Крым сыны Саади,
Порой восточный краснобай
Здесь развивал свои тетради
И удивлял Бахчисарай.

Его рассказы расстилались,
Как эриванские ковры,
И ими ярко украшались
Гиреев ханские пиры.

Но ни один волшебник милый,
Владелец умственных даров,
Не вымышлял с такою силой,
Так хитро сказок и стихов,

Как прозорливый и крылатый
Поэт той чудной стороны,
Где мужи грозны и косматы,
А жены гуриям равны.

Стихотворение содержит загадку, как нередко бывает с пушкинскими текстами.

Какого поэта имел в виду автор в последней строфе? Кто этот «прозорливый и крылатый», по пушкинской оценке, поэт?

Первым в 1911 году проблему обозначил П. Е. Щеголев, нашедший автограф стихотворения и расшифровавший его, но не сумевший его прокомментировать, в чем он честно признался.

В последующие годы было предпринято несколько попыток определить имя неназванного Пушкиным поэта.

В 1938 году М. К. Азадовский в статье «Руставели в стихах Пушкина»¹ предположил, что это классик грузинской литературы Шота Руставели.

В 1952 году Н. В. Измайлов² подверг версию М. К. Азадовского критике и предложил свою кандидатуру — современника и друга Пушкина Адама Мицкевича.

В 1965 году в статье «Пушкин и Саади» (к истолкованию стихотворения «В прохладе сладостной фонтанов») М. Л. Нольман назвал имя Саади³.

Академической наукой версия Н. В. Измайлова была признана наиболее убедительной, и именно его вывод приводится почти во всех комментированных изданиях Пушкина. И действительно для этого имеется ряд оснований.

Во-первых, именно благодаря версии Н. В. Измайлова мы можем с большой долей вероятности предполагать, что поводом для написания рассматриваемого стихотворения Пушкину послужили «Крымские сонеты» Адама Мицкевича. Они были созданы в 1825 году во время пребывания польского поэта в Крыму, вскоре изданы и получили большую известность и признание. В 1827 году в Петербурге уже публиковались прозаические переводы этих сонетов, сделанные П. А. Вяземским. То есть пушкинские стихи задумывались как своеобразный отклик на крымские творения Мицкевича, других откликов на это яркое поэтическое событие Пушкин не оставил.

В отличие от Н. В. Измайлова, ни М. К. Азадовский, ни М. Л. Нольман никак не объяснили неожиданный интерес Пушкина в конце 1820-х годов к Крыму и Бахчисараю. При том, что интерес его был в это время обращен как раз не к Крыму, а в сторону Кавказа.

¹ Русская литература. 1938. № 5. С. 228–231.

² Окончательную редакцию статьи см.: *Измайлов Н. В.* Мицкевич в стихах Пушкина (К интерпретации стихотворения «В прохладе сладостной фонтанов») // Н. В. Измайлов. Очерки творчества Пушкина. Л.: Наука, 1976. С. 125–173.

³ Русская литература. 1965. № 1. С. 123–134.

Во-вторых, совершенно справедливо утверждение Н. В. Измайлова о двухчастном строении стихотворения «В прохладе сладостной фонтанов...»: «...первая "крымская" часть посвящена изображению восточных пиров при ханском дворе в Бахчисарае; она состоит из четырех строф; вторая часть посвящена изображению другого, неизвестного поэта, противопоставляемого первым, "сынам Саади", и состоит из двух строф»¹.

Таким образом, тешившим крымскую знать своей искусностью придворным поэтам, чьи облики очерчены Пушкиным с нескрываемой иронией («нити праздного веселья», «восточный краснбай», рассказы, расстилающиеся, как «эриванские ковры»), противопоставляется поэт истинный, «прозорливый и крылатый».

Это противопоставление играет в стихотворении очень важную роль.

Но при всех своих достоинствах версия Н. В. Измайлова плохо согласуется с пушкинским текстом или не согласуется совсем в двух последних строфах, то есть со второй частью стихотворения, как он сам ее обозначил.

Так, странным выглядит определение Литвы как «чуждой стороны» (Мицкевич ведь — поэт Литвы), а также определение литовцев как «грозных и косматых» мужей и уподобление литовских жен гуриям. Сама этимология слова «гурия» противоречит этому: оно происходит от арабского «хур» или персидского «хури» — черноокая.

Эти несоответствия версии Н. В. Измайлова пушкинскому тексту обстоятельно рассмотрены М. Л. Нольманом:

«Главное же, однако, в том, что для Пушкина Мицкевич — поэт не исторически-легендарной, а современной Литвы, да и описание "чуждой стороны" выдержано в настоящем, а не в прошедшем времени, т. е. повествует о стране, где и сейчас "мужи грозны и косматы". Поэтому не приходится говорить о "грозных и косматых" предках Мицкевича; а к Литве времен

¹ Измайлов Н. В. Мицкевич в стихах у Пушкина. С. 139.

поэта подобная характеристика явно неприменима. К тому же примыкающее к России "Царство Польское" никогда не представлялось Пушкину "чуждой стороной"; "Литва и Русь" в его восприятии соседние и настолько родственные славянские племена, что даже "вражда" между ними — "семейная", а "спор" — "домашний". Сомнительно и сравнение польских красавиц с гуриями, так как подобное применение к миру католических представлений символов магометанской мифологии несовместимо с реалистической конкретностью пушкинского творчества»¹.

Да и характеристика Мицкевича именно как поэта «прозорливого и крылатого» вызывает сомнения. На этом также остановился М. Л. Нольман:

«Облик "прозорливого и крылатого поэта" не имел ничего общего с обликом Мицкевича, созданным Пушкиным в "Сонете", в отрывке из "Путешествия Онегина" и в позднейшем стихотворении "Он между нами жил"»².

Итак, несмотря на отмеченные нами несомненные научные достоинства, версия Н. В. Измайлова при отмеченных несоответствиях тексту пушкинского стихотворения не может быть принята нами.

Не может быть принята и версия М. Л. Нольмана.

Во-первых, как уже отмечено, она не объясняет, что послужило поводом для написания Пушкиным своего стихотворения. Почему его мысль вдруг обратилась к Крыму и ему вдруг потребовалось восславить Саади, хотя его отношение к восточной поэзии было неоднозначным. Сам же М. Л. Нольман цитировал (со своими целями) письмо Пушкина Вяземскому (конец марта — начало апреля 1825 года), содержащее весьма критические оценки поэзии Востока:

«Кстати еще — знаешь, почему я не люблю Мура? — потому что он слишком восточен. Он подражает ребячески и уродли-

¹ Нольман М. Л. Указ. соч. С. 124.

² Там же.

во — *ребячеству и уродливости Саади, Гафиза и Магомета*. — Европейец, и в упоении восточной роскоши, должен сохранять вкус и взор европейца» (XIII, 160).

А во-вторых, если принять эту версию, становится непонятным резкое противопоставление «сынов Саади» самому Саади, противопоставление, отмеченное в пушкинском стихотворении Н. В. Измайловым. По логике вещей, «сынам Саади» должен бы противопоставляться поэт другой школы.

И уж никак не работает на версию М. Л. Нольмана, а скорее опровергает ее, тот факт, что в одном из вариантов первого стиха предпоследней, пятой строфы присутствовал сам Саади¹:

Но ни поэт Ширази милый...

То есть если вставить этот вариант в известный нам окончательный текст, то получится, что даже Саади не мог сравниться с неназванным Пушкиным поэтом.

Поэтому наибольшего внимания, на наш взгляд, заслуживает версия М. К. Азадовского. Правда, по этой версии стихотворение датируется не 1828, а 1829 годом.

Датировке стихотворения М. К. Азадовский уделяет особое внимание:

«Это стихотворение находится в тетради в непосредственном соседстве с черновиком "Посвящения" к "Полтаве" и черновыми же набросками седьмой главы "Онегина". Основываясь на этом, П. Е. Щеголев датировал его 1828 годом, признавая, однако же, условность такого приурочения. Эту датировку принимают также и М. А. Цявловский, и Б. В. Томашевский. В. Брюсов датировал это стихотворение 1829 годом. На возможность такого приурочения указал позже П. Е. Щеголев: "Можно было бы высказать предположение, — писал он, — что оно написано не в 1828 году, как это кажется по положению его в тетради,

¹ М. Л. Нольман рассматривал этот вариант, но истолковывал в нужном для него смысле.

а в 1829 году, и имеет отношение к совершенному Пушкиным в этом году путешествию на Кавказ“»¹.

Действительно, «путешествие на Кавказ» 1829 года ознаменовалось для Пушкина «Путешествием в Арзрум», где имеется множество беглых зарисовок, «грозных и косматых» мужей, упоминаемых и в рассматриваемом нами стихотворении. М. К. Азадовский приводит достаточный ряд примеров из более ранней поэмы «Кавказский пленник», подтверждающих идентичность мужей из пушкинского стихотворения воинственным мужам Кавказа и, соответственно, их жен, гуриям подобных, кавказским женщинам.

«Птенцы Саади действовали в Крыму, — отмечал М. К. Азадовский, — страна другого певца не названа, но она легко угадывается. В таких образах Пушкин всегда представлял и изображал Кавказ. ”Грозные и косматые мужи“, ”жены-гурии“ — это образы, знакомые еще со времен ”Кавказского пленника“.

Вот несколько примеров из последней поэмы:

Смотрел по целым он часам,
Как иногда черкес проворный
Широкой степью, по горам
В *косматой* шапке, в бурке черной...

В черновиках:

В *косматых* шапках на порогах
Черкесы мирные сидят...

Эпитет ”грозный“:

Беспечной смелости его
Черкесы *грозные* дивились...

¹ Азадовский М. К. Указ. соч. С. 228–229.

Быть может, повторит она
Преданья грозного Кавказа.

В черновиках:

Преданья грозные Кавказа.
Все тот же он, все тот же вид
Непобедимый, непреклонный,
Гроза беспечных казаков»¹.

(Курсив автора статьи. — В. Е.)

Все это позволило М. К. Азадовскому предположить:

«...эта пьеса является обращением к какому-то кавказскому поэту. Невольно возникает догадка: не о Руставели ли говорит здесь Пушкин? О каком другом поэте Кавказа мог бы он говорить в таких выражениях?»²

Находит подтверждение в этой версии и «чудная сторона», воспетая неназванным поэтом.

Так, в «Путешествии в Арзрум» Пушкин называет Грузию «миловидной» и далее продолжает:

«С высоты Гут-Горы открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, изви- вающейся, как серебряная лента...» (VIII, 454).

Заметим при этом, что М. К. Азадовский³ сузил значение слова «косматый». Другой смысл этого слова находим в «Русалке», где дочь мельника вопрошает в ужасе, когда князь ее оставил:

Не может быть. Я так его любила.
Или он зверь? иль сердце у него
Косматое?

¹ Там же. С. 229.

² Там же.

³ Как и его оппоненты!

Поэтому и в рассматриваемом стихотворении Пушкина мужи «косматые» — это не только шапки, но и общая характеристика народа, дикого еще в своем развитии. И формула «мужи грозны и косматы» представляется нам монолитной по своему смыслу, характеризующей народ, в массе своей еще слабо затронутый цивилизацией.

Именно таким виделось общее состояние Грузии русскому взору: довольно отсталым и диким. В библиотеке Пушкина имелась книга Николая Александровича Нефедьева о поездке на Кавказ и в Грузию, автор которой как раз, проезжая Кайшарскую долину, «исполнил долг путешественника», доставивший ему «понятие о жалкой неопрятности Грузии».

«Сакли их, — сообщал автор, — складенные из диких камней, разделяются: или внутри на две половины, или на два этажа, и люди живут почти вместе со скотиною!»¹

Столь же неблагоприятное впечатление произвел на Нефедьева и главный город Грузии:

«Полагая Тифлис в числе первых губернских городов, кои, как, например: Казань, Ярославль, Нижний Новгород, Тверь и проч., издалека приветствуют своей красою, я не ощутил никакого удовольствия при взгляде на унылую его панораму»².

По-видимому, Пушкин испытал при посещении Грузии подобное чувство, свидетельством чему может служить один из вариантов одиннадцатого стиха «Памятника»: «Грузинец ныне дикой» (III, 1034).

Такое представление о Грузии полностью соответствует упоминанию «чуждой стороны», где мужи «грозны и косматы», а «жены гуриям равны», — в стихотворении Пушкина.

Теперь попытаемся рассмотреть вопрос, мог ли Пушкин знать Руставели и его знаменитую поэму?

Как установил М. К. Азадовский, «Историческое изображение Грузии», составленное Евгением Болховитиновым, извест-

¹ Н... Н... Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ и в Грузию в 1827 году. М.: Типография Селивановского, 1829. С. 168.

² Н... Н... Указ. соч. С. 130.

ным писателем-библиофилом, было опубликовано в 1802 году и стало источником знакомства с Грузией для русского читателя¹.

В главе седьмой «О грузинском стихотворстве и музыке» сообщалось:

«Особого упоминания достойны две наипаче древние поэмы Грузинские, *Велхисткаосани*, т. е. *Барсова кожа*, и *Тамариани*, т. е. *Хвала Тамаре*. Обе писаны за шестьсот лет перед сим, во времена славного царствования царицы *Тамари*, по ея, так сказать, вдохновению. Обе сочинены ближайшими ея боярами, первая *Руставелем*, а вторая *Чахрухадзем*. Обе у Грузинов сохранены донныне в целости и через столько веков различных угнетений, порабощений, опустошений их отечества, истребивших многие их памятники, не могли изгладиться из их памяти. Содержание первой поэмы *Велхисткаосани* есть почти романическое, взятое из Индейской истории. Сцены действий подобны Ариостовой поэме, *”Роланду“*, но красоты, оригинальности картин, естественности идей и чувствований — Оссиановы»².

Сообщение о Руставели в «Истории» завершал перевод первых четырех стихов его поэмы.

В связи с этими сведениями М. К. Азадовский заключал:

«Трудно предположить, чтобы при своей исключительной начитанности Пушкин не знал этой книги или не ознакомился с нею перед новой поездкой на Кавказ. Строки о Руставели, который сравнивается с Оссианом и Ариосто, особенно должны были заинтересовать его, и, несомненно, во время пребывания в Тифлисе, встречаясь с местными деятелями, он пытался найти и более подробные сведения о великом поэте Грузии»³.

Конечно, это лишь предположения исследователя, но несомненным является тот факт, что Пушкин оказался в Тбилиси

¹ Азадовский М. К. Указ. соч. С. 230.

² Историческое изображение Грузии в политическом, церковном и учебном ее состоянии. Сочинено в Александро-Невской Академии. СПб.: Типография «Шнора», 1802. С. 86.

³ Азадовский М. К. Указ. соч. С. 230–231.

в тот момент, когда в грузинской поэзии «наметился перелом в сторону ориентации на европейскую, более всего, русскую поэзию»¹.

В отмеченной работе К. Д. Дондуа утверждалось:

«Международность мусульманских языков, персидского и османского, турецкого, в пределах Кавказа, в частности в Грузии, а вместе с тем влияние персидских лириков на грузинскую литературу не могли выдержать сильного напора новых веяний, идущих с Севера. Там и сям еще видны были следы Гафиза, но и этот персидский лирик все более и более окружается экзотическим ореолом»².

«Новые веяния с Севера» сопровождалась и возрождением собственных национальных традиций, в том числе обращением к творчеству Руставели. В стихотворении Вахтанга Орбелиани (1812–1890), написанном под влиянием пушкинского «Городка», имя грузинского классика соседствует с именами классиков западноевропейской литературы. Вот как пересказывает его К. Д. Дондуа: «Приезжай, — обращается поэт к своему другу, — передо мной раскрыто великое творение Шоты, насладимся его стихами, Гёте, Шекспира и Шиллера вновь вместе перечтем»³.

Таким образом, мы можем утверждать, что Пушкин находился в Тифлисе во время происходящих там литературных дискуссий, в которых звучали имена Руставели и классиков европейской поэзии, в том числе имя самого Пушкина, что весьма важно для версии М. К. Азадовского.

Если сопоставить эти факты с общим отношением Пушкина к персидской поэзии, выраженным им в письме Вяземскому (*ребячество и уродливость Саади, Гафиза и Магомета*), то противопоставление «сынам Саади» в стихотворении «В прохладе сладостной фонтанов...» именно Руставели представляется вполне обоснованным.

¹ Дондуа К. Д. Пушкин в грузинской литературе // Пушкин в мировой литературе. Л.: Госиздат, 1926. С. 201.

² Там же.

³ Там же. С. 214.

Нам могут возразить: а что же послужило поводом к написанию этих стихов? При чем тут Крым? Ведь необъясненность повода была одной из важнейших причин для отвода нами версии М. Л. Нольмана.

Нет, в данном случае дело обстоит иначе: поводом для написания стихотворения «В прохладе сладостной фонтанов...» послужили, как это установил Н. В. Измайлов, «Крымские сонеты» Мицкевича. Но в процессе работы произошло нередко встречающееся у Пушкина переосмысление замысла.

Пушкин, по-видимому, не разделял общего восторженно-го отношения к крымскому творению польского собрата из-за ориентализма сонетов, из-за их излишней стилизации в духе персидской поэзии. Этим и объясняется отсутствие его отзыва на их появление.

И вот через какое-то время он все-таки задумал откликнуться на «Крымские сонеты» стихотворением, в котором собирался противопоставить «восточным краснобаям» поэта истинного, могучего. Но во время упомянутого пребывания в Тифлисе, возникло имя и облик другого могучего поэта — Руставели, — привлечшие внимание Пушкина, а потом неожиданно всплывшие в памяти при работе над стихотворением.

Этому предположению соответствует тот факт, что стихотворение, судя по черновикам, писалось трудно и с перерывом. Так, в исследовании автографа, произведенном Н. В. Измайловым, указывается, что последние два четверостишия написаны и расположены отдельно от первой части¹. Кроме этого, исследователь отметил:

«...набросав первые четыре строфы, занявшие почти всю страницу тетради, Пушкин под последним стихом "Гиреев ханские пиры" поставил спиральный росчерк — разделительный знак, означавший конец первой части стихотворения и, вероятно, перерыв работы над ним»².

То есть вторая часть стихотворения, в которой и содержится противопоставление неназванного поэта «сынам Саади»,

¹ Измайлов Н. В. Указ. соч. С. 129.

² Там же. С. 133–134.

писалась отдельно от первой, и между их написанием, вероятно, имелся перерыв в работе.

Вот во время этого перерыва и могло произойти переосмысление первоначально задуманного, и Мицкевич был заменен Руставели.

Отметим еще, что пушкинское «не вымышлял с такою силой / так хитро сказок» — в полной мере может быть отнесено к главам «Витязя в тигровой шкуре», а вот к Мицкевичу отнести «вымышление» сказок не получается.

Небезынтересно в этом смысле обращение к самой поэме «Витязь в тигровой шкуре».

Так, одеянием герою поэмы служит шкура зверя, вывернутая мехом наружу, таков же и его головной убор.

Находятся соответствия и пушкинским тропам «стихов греческим жемчугом» и «нитям праздного веселья».

У Руставели:

«...сложил стихами, как жемчуг, нанизанными» (Вступление, строфа 7), «Это персидское сказание, переложенное на речь грузинскую, Как жемчужину, надлежит лелеять в ладонях» (Вступление, строфа 9)¹.

Неназванный Пушкиным поэт, по его определению, «прозорливый». Синонимами этого слова являются «дальновидный, догадливый». Недалеко по смыслу и определение мудрый.

А у Руставели находим: «Поэзия (стихотворство) изначально одна из сфер мудрости» (Вступление, строфа 12)².

Слово «мудрость» повторяется в поэме многократно.

Время-пространство Руставели всеобъемлюще. Оно включает в себя как видимое, так и незримое, земное и небесное, переходящее и вечное. Прекрасной и совершенной создана Вселенная, как совершенный, целостный, завершённый акт творения.

¹ Цитируется по подстрочнику, который был выполнен С. Иорданишвили в 1933 г. — см.: Сулава Нестан. Вепхисткаосани (Витязь в тигровой шкуре). Подлинная история. СПб.: Симпозиум М, 2015 (пер. Ирины Модебадзе).

² Цитируется по подстрочнику.

Она бесконечна в своем многообразии, вечна, славна и возвышенна, венцом же этого прекрасного «мира, полного несметных красок», является человек¹.

Руставели предстает в своей поэме еще и философом.

Таким образом, версия М. К. Азадовского, по которой неназванным Пушкиным поэтом является Шота Руставели, представляется наиболее правдоподобной.

«ОСТАВЯ ЧЕСТЬ СУДЬБЕ НА ПРОИЗВОЛ...»

(Пушкин и Аглая Давыдова)

С Аглаей Антоновной Давыдовой, женой генерал-майора в отставке Александра Львовича Давыдова, Пушкин встретился в селе Каменка Чигиринского уезда Киевской губернии, имении Е. Н. Давыдовой, матери Александра Львовича. Приезд его в Каменку с разрешения благоволившего к нему кишиневского начальника генерала И. Н. Инзова датируется 18–22 ноября 1820 года. С перерывами для поездок в Киев и Тульчин пребывание Пушкина в Каменке затянулось до 3 марта 1821 года. Тут и пережил он очередное романтическое увлечение.

Аглая Антоновна (1887–1847), француженка по происхождению, дочь герцога де Граммона, была на 14 лет моложе мужа, с которым познакомилась семнадцатилетней девушкой в 1804 году в Митаве, центре французской эмиграции в России. Она была хороша собой и нередко становилась предметом любовных домогательств. В одном биографическом очерке конца XIX века Аглая Антоновна характеризовалась как особа «весьма хорошенькая, ветреная и кокетливая», которая «как истая француженка,

¹ См.: Сулава *Нестан*. Указ соч.

искала в шуме развлечений средство не умереть со скуки в варварской России»¹. Известны стихи Дениса Давыдова, двоюродного брата Александра Львовича, обращенные к нашей героине в 1809 году, где она предстает в образе роковой женщины:

...Мать страшится называть тебя
Сыну, юностью кипящему,
И супруга содрогается,
Если взор супруга верного
Хотя раз, хоть на мгновение
Обратится на волшебницу.

По утверждению сына Дениса Давыдова, во время военных действий 1812 года «от главнокомандующего до корнетов всё жило и ликовало в Каменке, но главное — умирало у ног престелной Аглаи»².

Во время пребывания Пушкина в Каменке Давыдова отнюдь не утратила еще своей привлекательности, и, судя по всему, между ними возник непродолжительный роман. Об этом есть кое-что в воспоминаниях И. П. Липранди, на ту же мысль наводят пушкинские стихи, обращенные к ней (их мы рассмотрим чуть позже), ее имя присутствует в первом так называемом Донжуанском списке Пушкина. В рукописях Пушкина имеются изображения Аглаи и ее дочери Адели, относящиеся, правда, к более позднему времени, выявленные в свое время Т. К. Галушко³.

Мы не располагаем достоверными сведениями о том, встречался ли Пушкин с Аглаей после марта 1821 года. По-видимому, в 1822–1823 годах она переселилась в Петербург, где дочери ее

¹ Лобода А. М. Пушкин в Каменке // «Памяти Пушкина. Научно-литературный сборник, составленный профессорами и преподавателями университета св. Владимира». Киев, 1899. С. 95.

² Ходасевич В. Аглая Давыдова и ее дочери // Современные записки. Париж. 1935. Вып. LVIII. С. 229.

³ См.: Жуикова Р. Г. Портретные рисунки Пушкина. СПб.: Издательство «Дмитрий Буланин», 1996. С. 153–154; также: Галушко Т. «Раевские мои...». Л.: Лениздат, 1991. С. 123–125.

были приняты в Екатерининский институт, в связи с чем упомянуты в дневнике А. О. Смирновой-Россет, учившейся там же¹.

В конце 1820-х годов Аглая Давыдова вместе с дочерьми уехала в Париж, где через какое-то время после смерти мужа (1833) вышла замуж за генерала Ораса Себа де ля Порта, впоследствии ставшего министром иностранных дел Франции.

Что касается стихов, которые пушкинисты связывают с Аглаей, то тут можно с уверенностью утверждать: они написаны уже после того, как романтическое увлечение Пушкина кончилось и на смену ему пришло нескрываемое чувство неприязни. Всего этих стихотворений пять, приводим их названия в последовательности, учитывающей предполагаемое нами время написания:

Кокетке,
Эпиграмма («Оставя честь судьбе на произвол...»),
«A son amant Eglé sans résistansce...»,
«J'ai possédé maîtresse honnête...»,
«Иной имел мою Аглаю...»²

Первым было, по-видимому, стихотворное послание предмету недавнего увлечения — стихотворение «Кокетке» (во всяком случае, черновой его вариант). Затем была написана «Эпиграмма» («Оставя честь судьбе на произвол...»), которая датируется 5 апреля 1821. Через два месяца, в начале июня (1–5 июня) Пушкин вновь не по-доброму вспоминает Аглаю — пишет в ее адрес на французском языке еще две эпиграммы³. И завершает список эпиграмма «Иной имел мою Аглаю...», которая могла появиться в интервале времени между декабрем 1820 и 24 января 1822 года.

¹ См.: Ходасевич В. Аглая Давыдова и ее дочери. С. 237.

² В скобках приведена датировка стихотворений по «Летописи жизни и творчества Пушкина в четырех томах». Т. 1. М.: Слово, 1999.

³ Датируется предположительно.

Стихотворения эти, написанные приблизительно в одно время, являют собой уникальный случай в творчестве Пушкина: такому массивированному уничижению не подвергалась ни одна женщина, из тех немногих, что в силу каких-либо причин становились в разное время объектом его неприязни. Все стихотворения, за исключением первого, являют собой пример откровенной грубости, а второе («Оставля честь судьбе на произвол...») — еще и непристойности, оставляющей, скажем прямо, неприятное чувство. При этом, судя по всему, Пушкин не делал из них секрета (не для того они были написаны!), и они, по-видимому, доходили до Аглаи, что можно предположить по уже упоминавшимся воспоминаниям Липранди, относящимся к марту 1822 года: «Он (А. Л. Давыдов. — В. Е.) приехал в Петербург с женой и дочерью, которые отправлялись за границу. Обедали мы вчетвером, и я заметил, что жена Давыдова в это время не очень благоволила к Александру Сергеевичу, и ей, видимо, было неприятно, когда муж ее с большим участием о нем расспрашивал. Я слышал уже неоднократно прежде о ласках Пушкину, оказанных в Каменке, и слышал от него восторженные похвалы о находившемся там семейном обществе, упоминалось и об Аглае. Потом уже узнал я, что между ней и Пушкиным вышла какая-то размолвка, и последний наградил ее стишками!»¹.

Один из «стишков», а именно эпиграмму «Иной имел мою Аглаю...» Пушкин сообщил брату в письме от 24 января 1822 года якобы по секрету: «...вот тебе еще эпиграмма, которую ради Христа не распускай, в ней каждый стих — правда» (XIII, 36). Позднее, в марте 1823 года, ее же вместе с эпиграммой «Оставля честь судьбе на произвол...» он послал Вяземскому с не менее двусмысленной припиской: «...не показывай никому — ни Денису Давыдову» (XIII, 61). «Не показывай» здесь явно звучит как «показывай», а вот Денис Давыдов упомянут, по-видимому, всерьез как член большой семьи Давыдовых и как человек, благосклонно относящийся к Аглае.

¹ Липранди И. П. Из дневника и воспоминаний // «Русский архив». 1866. № 10. С. 1485.

Все это напоминает акт мщения за какую-то очень чувствительную обиду. По-справедливому, в общем, утверждению Владислава Ходасевича (его статью мы уже упоминали), «в ту пору, о которой идет речь, Пушкин был мальчишески обидчив и нередко придавал значение вещам совершенно незначительным»¹. Вот только такой ли уж незначительной была нанесенная Пушкину обида? Думается, это не так. Дело в том, что у него всегда было обостренное чувство собственного достоинства. Возможно, здесь имело место что-то подобное случаю, известному нам по записке Пушкина к Н. В. Путьяте (январь — середина октября 1828), отмеченному в одной из заметок Анны Ахматовой²: «Вчера, когда я подошел к одной даме, разговаривающей с г-ном де Лагрэнэ, последний сказал ей достаточно громко, чтобы я его услышал: прогоните его. Поставленный в необходимость потребовать у него объяснений по поводу этих слов, прошу вас, милостивый государь, не отказать посетить г-на Лагрэнэ для соответствующих с ним переговоров» (пер. с франц.; XIV, 391). То есть случайно услышанные оскорбительные для Пушкина слова секретаря французского посольства Ланренэ незамедлительно вызвали его ответную реакцию: вызов на дуэль. Возможно, и в нашем случае Пушкину стал известен какой-то поступок Аглаи или ее отзыв о нем, больно ударивший по его самолюбию. Такой поступок или отзыв могли быть связаны с возрастным несоответствием между Пушкиным и Аглаей, на что указано (достаточно, впрочем, пристойно) в стихотворении «Кокетке», которое вообще дает наиболее полное представление о характере заинтересовавшей нас коллизии:

И вы поверить мне могли,
 Как простодушная Аньеса?
 В каком романе вы нашли.
 Чтоб умер от любви повеса?

¹ Ходасевич В. Аглая Давыдова и ее дочери. С. 234–235.

² Ахматова А. Пушкин в 1828 году // Анна Ахматова. О Пушкине. Л.: Советский писатель, 1977. С. 207–208.

Послушайте: вам тридцать лет,
Да, тридцать лет — не многим боле.
Мне за двадцать; я видел свет,
Кружился долго в нем на воле;
Уж клятвы, слезы мне смешны;
Проказы утомить успели;
Вам также с вашей стороны
Измены, верно, надоели;
Остепенясь, мы охладели,
Некстати нам учиться вновь.
Мы знаем: вечная любовь
Живет едва ли три недели.
Сначала были мы друзья,
Но скука, случай, муж ревнивый...
Безумным притворился я,
И притворились вы стыдливой,
Мы поклялись... потом ...увы!
Потом забыли клятву нашу;
Клеона полюбили вы,
А я наперсницу Наташу.
Мы разошлись; до этих пор
Всё хорошо, благопристойно,
Могли б мы жить без дальних ссор
Опять и дружно и спокойно;
Но нет, сегодня поутру
Вы вдруг в трагическом жару
Седую воскресили древность —
Вы проповедуете вновь
Покойных рыцарей любовь;
Учтивый жар и грусть и ревность.
Помилуйте — нет, право нет.
Я не дитя, хоть и поэт.
Когда мы клонимся к закату
Оставим юный пыл страстей —
Вы старшей дочери своей,
Я своему меньшому брату:

Им можно с жизнью шалить
И слезы впредь себе готовить;
Еще пристало им любить,
А нам уже пора злословить.

Утверждения такого рода, как «я видел свет, кружился долго в нем и т. д.» в начале стихотворения, конечно, представляют собой некоторое преувеличение, свойственное юноше двадцати с небольшим лет, и в какой-то степени выдают стремление Пушкина выглядеть более зрелым и опытным, чем на самом деле. Здесь как бы набросан портретный контур будущего Онегина, о котором в первой главе романа Пушкин будет повествовать с известной долей иронии. Но это случится через два года — срок для стремительно развивающегося гения не маленький! Пока же для самоиронии еще нет места... А быть может, именно в пренебрежении, связанном с его возрастом, и заключается суть обиды, может быть, в какой-то момент их общения многоопытная Аглая обошлась с ним как с юношей, с мальчиком? Во всяком случае, то же стремление представить себя, грубо говоря, более взрослым, различимо и в конце стихотворения: «Я не дитя... клонимся к закату... оставим юный пыл страстей» и т. д.

Ходасевич в упомянутой статье трактует эти стихи существенно иначе: «Однако ж неверно было бы думать, что бешенство Пушкина было вызвано простою несправедливостью Аглаи или ея непоследовательностью. Зная Пушкина, можем мы утверждать, что в поведении Аглаи он усмотрел то, чего терпеть не мог и что всегда возмущало его в женщинах. Ему показалось (и, быть может, он в этом был прав), что Аглая его упрекает с целью воскресить в нем любовные чувства, с целью играть этими чувствами — хотя бы даже намереваясь впоследствии, помучив его вдосталь, ему отдаться. Именно эту тактику называл он кокетством...»¹ Нельзя не согласиться, что Пушкин терпеть не мог обдуманного кокетства, но все-таки представляется, что

¹ Ходасевич В. Аглая Давыдова и ея дочери. С. 233.

не это стало главной причиной его обиды. К тому же некоторые утверждения в комментариях Ходасевича к рассматриваемому стихотворному тексту представляются нам ошибочными, потому что основаны на одном лишь промежуточном варианте стихотворения, где строки 17–20 выглядели следующим образом:

Я вами точно был пленен,
К тому же скука... муж ревнивый...
Я притворился, что влюблен,
Вы притворились, что стыдливы.

Вот комментарий Ходасевича: «Признавшись, что первоначально он был "пленен" Аглаей, Пушкин тотчас, однако, снижает свое признание, мотивируя увлечение скукой и желанием посмеяться над ревностью мужа (стихи 17–18). В следующем стихе свое увлечение он зовет лишь притворством, но не отрицает, что увлечение было им высказано. Каков же был ответ Аглаи? "Вы притворились, что стыдливы", — говорит Пушкин, тем самым указывая, что, не будучи стыдлива (т. е. добродетельна) на самом деле, на сей раз Аглая такой притворилась. Это — указание чрезвычайной важности. Его одного было бы достаточно, чтобы отвергнуть предположение о любовной связи»¹.

Нам же чрезвычайно важной представляется окончательная редакция этих стихов:

Сначала были мы друзья,
Но скука, *случай*, муж ревнивый...
Безумным притворился я,
И притворились вы стыдливой...

Наиболее значимым является здесь слово «случай»: молодому мужчине (такому, как Пушкин!) представился случай на определенное время остаться наедине с расположенной к нему и все еще обольстительной, кокетливой, хотя уже и не столь

¹ Ходасевич В. Аглая Давыдова и ее дочери. С. 232.

молодой, женщиной, и тут, конечно, что-то происходит. Именно в таком смысле предстает «случай» в Дневнике приятеля Пушкина А. Н. Вульфа: «Рассудив, что по дружбе с А. П. и по разным слухам, она не должна быть весьма строгих правил, что связь с женщиною гораздо выгоднее, нежели с девушкою, решил я ее предпочесть, тем более что, не начав с нею пустыми нежностями, я должен был надеяться скоро дойти до сущного. Я не ошибся в моем расчете: недоставало только случая (Всемогущего, которому редко добродетель или, лучше сказать, рассудок женщины противостоит), — чтобы увенчать мои желания»¹.

В одном промежуточном варианте этих строк, которого наверняка не имел Ходасевич, ситуация выглядит еще более очевидной:

Мы были *нежные* друзья,
Но скука, случай, муж ревнивый...
(II, 678).

Что такое «нежные друзья»? Конечно, нечто большее, более нежное, чем просто друзья, а тут ему подвернулся случай!..

Осмелимся не согласиться и с трактовкой Ходасевичем стиха 20 («И притворились вы стыдливой»): ведь, и отдаваясь, женщина, даже замужняя, может оставаться стыдливой, если такого рода приключения еще не сделались для нее привычными. Стыдливость вообще мила была Пушкину в женщинах, вспомним его позднее стихотворение:

Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда вьясь в моих объятиях змией,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
Она торопит миг последних содроганий!
О, как милее ты, смиренница моя!..

¹ Дневник А. Н. Вульфа. 1828–1831 // Пушкин и его современники. Пг., 1915. Вып. XXI–XXII. С. 41–42.

Аглая произвела на своего молодого любовника впечатлени-е «стыдливой», но «стыдливость» эта, как он мог понять впоследствии, была «притворной»: вскоре после того, как они «по-клялись» (по-видимому, в обоюдной любви), она «полюбила» некоего «Клеона» (в варианте, приводимом Ходасевичем, — «гусара»). То есть Пушкин оказался лишь проходным персона-жем в ее, судя по всему, не редких любовных приключениях.

Можно предположить, что после измены Аглаи Пушкиным овладело чувство, очень похожее на ревность, но все же не-сколько иного свойства. Он вдруг увидел, что его избранницей, которой он, Пушкин, так увлекся и оценил столь высоко и чьё ответное чувство как будто бы свидетельствовало о взаим-ности, о глубоком понимании его необыкновенной личности, может совершенно легко овладеть какой-то другой мужчина, совершенно заурядный, дюжинный!

Нечто подобное через восемьдесят с лишним лет испытывает лирический герой стихотворения Александра Блока «Над озе-ром», который, опозтизивовав сначала случайно повстречав-шуюся молодую особу, подняв ее в своих мечтах над обыденно-стью существования, испытывает затем жгучее разочарование:

Прошли все пары. Сумерки синей,
Белей туман. И девичьего платья
Я вижу складки легкие внизу.
Задумчиво прошла она дорожку
И одиноко села на ступеньки
Могилы, не заметивши меня...
Я вижу легкий профиль. Пусть не знает,
Что знаю я, о чем пришла мечтать
Тоскующая девушка... Светлеют
Все окна дальних дач: там — самовары,
И синий дым сигар, и плоский смех...
Она пришла без спутников сюда...
Наверное, наверное, прогонит
Затянутого в китель офицера

С вихляющимся задом и ногами,
 Завернутыми в трубочки штанов!
 Она глядит как будто за туманы,
 За озеро, за сосны, за холмы,
 Куда-то так далёко, так далёко,
 Куда и я не в силах заглянуть...

О, нежная! О, тонкая! — И быстро
 Ей мысленно приискиваю имя:
 Будь Аделиной! Будь Марией! Теклой!
 Да, Теклой!.. — и задумчиво глядит
 В клубящийся туман... Ах. Как прогонит!..
 А офицер уж близко: белый китель,
 Над ним усы и пуговица-нос,
 И плоский блин, приплюснутый фуражкой...
 Он подошел... он жмет ей руку!.. смотрят
 Его гляделки в ясные глаза!..
 Я даже выдвинулся из-за склепа...
 И вдруг... протяжно чмокает ее,
 Дает ей руку и ведет на дачу!

Я хохочу! Взбегаю вверх. Бросаю
 В них шишками, песком, визжу, пляшу
 Среди могил — незримый и высокий...
 Кричу: «Эй, Фёкла! Фёкла!»

Возвышенные мечтания поэта разбились вдребезги от столкновения с обыденной реальностью — и вот уже предмет его недавнего поклонения подвергнут осмеянию и презрению.

Итак, причиной глубокого разочарования в Аглае стала ее измена Пушкину с каким-то простым смертным («Клеоном» — «гусаром»). А до этой измены... Выскажем предположение, что с Аглаей Давыдовой может быть связано еще одно стихотворение, относящееся ко времени общения с нею (9 февраля 1821), отнюдь не эпиграмматического характера, а именно «Красавица перед зеркалом»:

Взгляни на милую, когда свое чело
 Она пред зеркалом цветами окружает,
 Играет локоном, и верное стекло
 Улыбку, хитрый взор и гордость отражает.

Поводом для такого предположения служит склонность красавицы «цветами окружать» свое чело, потому что известен портрет Аглаи Давыдовой, на котором ее прическу действительно окружают цветы¹.

Если наше предположение верно, то можно говорить о том, что в приведенном четверостишии Аглая предстает в совершенно другом облике, нежели в последующих стихотворениях: она мила автору, обаятельна и наделена «гордостью».

Измена Аглаи, помимо прочего, могла быть вызвана возрастной разницей между нею и Пушкиным, о которой мы распространились чуть выше, что и вызвало его «бешенство». Но, думается, могли быть для «бешенства» и другие, более сильные основания. Дело в том, что ситуация с Аглаей, связанное с Аглаей пушкинское негодование в какой-то степени предвосхищают историю его будущих отношений с Анной Петровной Керн, при всей несхожести двух этих красавиц, при всей несоизмеримости их места в биографии поэта. Схожим является пушкинское мстительное уничтожение женщины, которая раньше вызывала возвышенные чувства. В связи с Керн речь идет, конечно, о письме С. А. Соболевскому от второй половины февраля 1828 года, где он пеняет адресату, зачем, дескать, не пишешь о денежном долге, а пишешь о мадам Керн, «которую с помощью Божьей я на днях <->» (XIV, 5). И это о той, которая еще не так давно сравнивалась с «мимолетным видением» и с «гением чистой красоты»!

Эта циничность в случае с Керн, как и в случае с Аглаей Давыдовой, является, по нашему представлению, оборотной стороной

¹ Памяти Пушкина. Научно-литературный сборник, составленный профессорами и преподавателями университета св. Владимира. Киев, 1899, иллюстрация V (между с. 84 и 85, художник А. Гудшон).

слишком сильного любовного порыва, овладевавшего Пушкиным в период любовного увлечения. Предмет своего увлечения он возносил столь высоко, что не мог себе представить, как это возвышенное существо, именуемой женщиной, вдохновляющее его и наполняющее особым смыслом его жизнь, может любовные утехи ставить выше глубокого и сильного чувства. Такого он не мог простить ни Аглае Давыдовой, ни (позже) Керн.

Не оправдывая и в том, и в другом случае пушкинского цинизма, мы не можем не признать, что он, Пушкин, «благоговевший богомольно перед святыней красоты», именно в силу этого «благоговения» все-таки имел право на свое негодование, даже выраженное в столь крайних формах.

Что же до нашей трактовки стихотворения «Кокетке», то завершим его следующим соображением. Аглая, по-видимому, заметила, как потрясен юный поэт ее изменой, почувствовала своей женской интуицией, что потеряла что-то очень важное, и бросилась исправлять ситуацию:

Но нет, сегодня поутру
Вы вдруг в трагическом жару
Седую воскресили древность...

Но было уже поздно. Прекрасный воздушный замок, возникший было в воображении поэта, рухнул. И это явилось причиной мести. А как еще может отомстить поэт кому бы то ни было? Только стихами — ожесточенными, беспощадными.

И мстил он не за любовную измену ему лично, мстил за несоответствие этой встретившейся на жизненном пути женщины, истинной красавицы, его поэтическому идеалу. Потому что он с детства обожествлял женскую красоту, «благоговел» перед нею, а божественное ведь не может ронять себя. Но эта себя уронила! Такое вопиющее несоответствие действительности идеалу и вызывало его негодование.

Потом будут еще бурные, наполненные подлинным драматизмом и жгучей ревностью романы с Амалией Ризнич, Анной Олениной, Каролиной Собаньской и многие другие, не столь

драматичные. Но только Аглае Давыдовой посвятил он столько жестоких, циничных, порою откровенно грубых стихотворных строк!..

2007

«А ЧАРА — И НЕ ТО ЗАСТАВИТ...»

(Цветаевская пушкиниана: взгляд из сегодня)

1

Марина Цветаева, как известно, не раз обращалась в своем творчестве к имени и образу Пушкина. Пушкин вошел в ее жизнь с детства и сопровождал на всем протяжении творческого пути. Но наиболее значительные цветаевские произведения, связанные с ним, созданы во Франции: в 1931 году — поэтический цикл «Стихи к Пушкину», в 1936-м — очерк «Мой Пушкин», в 1937-м — в Париже опубликовано эссе-исследование «Пушкин и Пугачев». Эти ее произведения отличаются, с одной стороны (как и все, что вышло из-под ее пера), страстностью и обнаженной искренностью, а с другой — чрезвычайной субъективностью и спорностью суждений, что в данном случае не может не повлиять на отношение к ним сегодня. Ведь прошло около 70 лет, и что-то (немалая часть!) из казавшегося когда-то смелым и неожиданным в наши дни выглядит досадным заблуждением или недоразумением, связанным с идеологизированностью образа Пушкина в Советском Союзе. А Цветаева, когда писала названные вещи, ориентировалась, по ее собственным признаниям, на книги ведущих советских пушкиноведов, в частности, П. Е. Щеголева и В. В. Вересаева.

Вот, например, что сообщала она своей корреспондентке в начале 1937 года по поводу стихотворного цикла, возможность

публикации которого в эмигрантской прессе вызывала у нее большие сомнения: «Стихи к Пушкину... совершенно не представляю себе, чтобы кто-нибудь *осмелился* читать, кроме меня. Страшно резкие, страшно вольные, ничего общего с канонизированным Пушкиным не имеющие, и всё имеющие — обратное канону. *Опасные стихи...* Они *внутренно* — революционны... внутренно — мятежные, с вызовом каждой строки... они мой, поэта, единоличный вызов — *лицемерам тогда и теперь...* Написаны они в Медоне в 1931 г., летом — я как раз читала тогда Щеголева: "Дуэль и смерть Пушкина" — и задыхалась от негодования» (курсив М. Ц. — В. Е.)¹.

Негодованием против императора Николая I и петербургского высшего света, вдохновленным не в последнюю очередь книгой советского автора, а также против пушкинистов эмиграции (среди которых были и такие выдающиеся исследователи, как П. М. Бицилли, В. Ф. Ходасевич, С. Л. Франк) действительно проникнуты все стихотворения цикла, и, пожалуй, только это и подлинно в данном случае в цветаевских стихах. Во всем остальном они рассудочны, умозрительны и, не побоимся признать, весьма поверхностны. Вряд ли может кого-то сегодня всерьез взволновать публицистический пафос первого стихотворения «Бич жандармов, бог студентов...» («Пушкин — в роли лексикона», «Пушкин — в роли русопята», «Пушкин — в роли пулемета» и т. п.). Не весьма основательно лобовое, прямолинейное противопоставление императора Петра — Николаю I на всем протяжении отягощенного длиннотами текста второго стихотворения «Петр и Пушкин». Да и пафос третьего стихотворения «Станок» (в котором в большей степени повествуется о себе, нежели о Пушкине) не очень внятен:

В битву без злодейства:
 Самого с самим!
 — Пушкиным не бейте!
 Ибо бью вас — им!

¹ Цветаева М. Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Худ. лит., 1980. С. 521.

Вряд ли обогащает чье-либо представление о Пушкине отличающееся энергичным ритмом, но холодное и рассудочное по сути стихотворение четвертое «Преодоление». Пятое и шестое стихотворения цикла («Поэт и царь») столь же прямолинейны в обличении императора Николая I, как и стихотворение второе:

Польского края —
Зверский мясник...

...Певцоубийца
Царь Николай
Первый.

Да и фактические ошибки сегодня сразу бросаются в глаза: эпиграмма в «Вестнике Европы» Пушкину не принадлежала, а образ Командора в «Каменном госте» куда более сложен, чем представлялось Цветаевой (стихотворение первое). Не знала, вероятно, Цветаева, сколь дорожил Пушкин возможностью работать в императорских архивах, — возможностью, предоставленной ему лично Николаем I (стихотворение второе). Не приняла во внимание или не знала (стихотворение пятое), что пушкинская позиция по польскому вопросу совпадала с официальной, что пушкинское «Клеветникам России» вместе с его же «Бородинской годовщиной» и «Русской славой» Жуковского напечатаны были в отдельной брошюре под названием «На взятие Варшавы» (1831), что Пушкин имел по этому поводу жаркие споры с Вяземским, назвавшим упомянутые пушкинские стихи «шинельной поэзией», а в собрании сочинений поэта под редакцией П. О. Морозова (1903) приводилось свидетельство графа Е. Е. Комаровского, по словам которого Пушкин, встретившийся ему на прогулке во время польских событий, спросил: «Разве вы не понимаете, что теперь время чуть ли не столь же грозное, как в 1812 году?»¹

¹ Пушкин А. С. Соч. и письма: В 6 т. / Под ред. П. О. Морозова. Т. II. СПб., 1903. С. 525.

Совершенно очевидно, что «Стихи к Пушкину» — не лучшая страница в богатом поэтическом наследии Марины Цветаевой. В этом нашем утверждении нет, собственно, никакого открытия. Такое суждение высказывалось еще Л. К. Чуковской и, судя по ее «Запискам», также Анной Ахматовой: «А вот стихи Цветаевой Пушкину, призналась я, я совсем не люблю. Они лишены вдохновения, претенциозны, искусственны (быть может, только "Нет бил барабан" лучше других). А то какие-то словесные экзерсисы, ремесленнические ухищрения; звука нет, словно человек не на рояле играет, а на столе. И мысли, в сущности, небогатые: "Пушкин — не хрестоматия, Пушкин — буйство". Так ведь это еще до нее Маяковский провозгласил, а еще до него — Тютчев.

— Марине нельзя было писать о Пушкине, — сказала Анна Андреевна. — Она его не понимала и не знала. Стихи препротивные. Мы еще с Осипом говорили, что о Пушкине Марине писать нельзя...»¹

При этом излишне, наверное, упоминать о том, с каким ревнивым интересом относилась Ахматова к цветаевскому творчеству в целом, как часто вспоминала ее в разговорах и в стихах. Достаточно привести для подтверждения одно из поздних ахматовских созданий «Нас четверо» (1961):

...И отступилась я здесь от всего,
От земного всякого блага.
Духом, хранителем «места сего»
Стала лесная коряга.

Все мы у жизни немного в гостях,
Жить — это только привычка.
Чудится мне на воздушных путях
Двух голосов перекличка.

¹ Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой 1952–1962. Т. 2. М.: Согласие. С. 518–519.

Двух? А еще у восточной стены,
 В зарослях крепкой малины,
 Темная, свежая ветвь бузины...
 Это — письмо от Марины.

Что же касается цветаевских стихов Пушкину, то нельзя не высказать удивления по поводу некоторых современных публикаций, где они рассматриваются с упоением и восторгом, как, впрочем, и другие произведения ее пушкинианы.

«Чеканные цветаевские слова — их метафоричность, высокая поэзия, трагическая философия — давно стали классикой российской пушкинианы...»¹ — читаем в одной из недавних публикаций, обратив между прочим внимание на то, как откорректирована заботливым цветаеведом (с помощью символа <...>) выдержка из очерка Цветаевой «Мой Пушкин». Да иначе, видно, и неудобно было цитировать, дабы не вступить в явное противоречие с предшествующим цитате панегириком: «Первое, что я узнала о Пушкине, это — что его убили. Потом я узнала, что Пушкин — поэт <...> Нас этим выстрелом всех в живот ранили <...> по существу, третьего в этой дуэли не было. Было двое: любой и один. То есть вечные действующие лица пушкинской лирики: поэт — и чернь <...> А Гончарова, как и Николай I, — всегда найдется»².

А теперь приведем весь текст Цветаевой без сокращений, обозначив выпущенные автором статьи места курсивом: «Первое, что я узнала о Пушкине, это — что его убили. Потом я узнала, что Пушкин — поэт, а Дантес — француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот. Так, я трех лет твердо узнала, что у поэта есть живот, и — вспоминаю всех поэтов, с которыми когда-либо

¹ Кертман Л. Безмерность и гармония (Пушкин в творческом сознании Анны Ахматовой и Марины Цветаевой) // «Вопросы литературы». Вып. 4. М., 2005. С. 268.

² Там же.

встречалась, — об этом животе поэта, который так часто не-сыт и в который Пушкин был убит, пеклась не меньше, чем о его душе. С пушкинской дуэли во мне началась сестра. Больше скажу — в слове живот для меня что-то священное, — даже простое "болит живот" меня заливает волной содрогającego сочувствия, исключаяющего всякий юмор. Нас этим выстрелом всех в живот ранили.

О Гончаровой не упоминалось вовсе. И я о ней узнала только взрослой. Жизнь спустя, горячо приветствую такое умолчание матери. Мещанская трагедия обретала величие мифа. Да, по существу, третьего в этой дуэли не было. Было двое: любой и один. То есть вечные действующие лица пушкинской лирики: поэт — и чернь. Чернь, на этот раз в мундире кавалергарда, убила — поэта. А Гончарова, как и Николай I, — всегда найдется»¹.

Вряд ли процитированный текст (причем в любой из редакций: в цветаевской или в откорректированной автором упомянутой статьи) может быть причислен сегодня к «классике российской пушкинианы».

Спору нет, очерк «Мой Пушкин» — явление самобытное и талантливое, раскрывающее для читателя психологию ребенка (девочки «до-семилетней и семилетней»², наделенной выдающимися поэтическими способностями), передающее своеобразие детского восприятия пушкинской лирики. Но при всей незаурядности малолетней героини очерка, уровень постижения Пушкина, демонстрируемый ею, зачастую весьма элементарен (неизбежны здесь и недоразумения). Вот лишь несколько примеров.

О стихотворении «Вурдалак»:

«Ну, странная, подозрительная собака, а Ваня — явный бессомнительный дурак — и бедняк — и трус. И еще — злой: "Вы представьте Вани злость!" И — представляем: то есть Ваня мгновенно дает собаке сапогом (откуда у "бедняка" Вани сапоги? — В. Е.). Потому что — злой... Ибо для правильного ребенка

¹ Цветаева М. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Худ. лит., 1980. С. 327–328.

² Там же. С. 356.

большого злодейства нет, чем побить собаку: лучше убить гувернантку. Злой мальчик и собака — действие этим соседством преуказано»¹.

О стихотворении «Делибаш»:

«Так я и осталась в огорченном убеждении, что делибаш — знамя, а я всю ту молниеносную сцену взаимоуничтожения — выдумала, и вдруг — в 1936 году — сейчас вот — глазами стихи перечла и — о, радость!

Эй, казак, не рвися к бою!
Делибаш на всем скаку
Срежет саблю кривою
С плеч удалую башку!

Это знамя-то срежет саблю кривою казаку с плеч башку??»²
О стихотворении «К морю»:

«Ты ждал, ты звал. Я был окован,
Вотще рвалась душа моя!
Могучей страстью очарован
У берегов остался я.

Вотще — это туда, а могучей страстью — к морю (? — В. Е.), конечно. Получилось, что именно из-за такого желания *туда* Пушкин и остался у берегов. Почему же он не поехал? Да потому, что могучей страстью очарован, так хочет — что прирос! (В этом меня утверждал весь мой опыт с *моими* детскими желаниями, то есть полный физический столбняк.) И, со всем весом судьбы и отказа:

У берегов остался я»³.

¹ Кертман Л. Безмерность и гармония (Пушкин в творческом сознании Анны Ахматовой и Марины Цветаевой) // «Вопросы литературы». Вып. 4. М., 2005. С. 352.

² Там же. С. 357. *Делибаш* — начальник делисов (тур.), отчаянных храбрецов.

³ Там же. С. 360. «Могучая страсть» указывает здесь, конечно же, на женщину!

Тут, как говорится, комментарии излишни...

При этом «Мой Пушкин» — необычайно талантливый биографический очерк. Но не Пушкина он нам открывает, а чрезвычайно субъективное (в том и степень таланта!) цветаевское восприятие своего великого предшественника. Что само по себе захватывающе интересно, но только в отношении глубинных истоков дарования самой Цветаевой. И об этом, как нам представляется, пора заявить откровенно и честно.

2

Особого рассмотрения требует сегодня цветаевское исследование «Пушкин и Пугачев». По мнению Цветаевой, вся «Капитанская дочка» «сводится к очным встречам Гриневы с Пугачевым»¹. Это суждение вообще-то возникло у нее в семилетнем возрасте (весь очерк, собственно, как и «Мой Пушкин», посвящен как будто бы анализу детского восприятия пушкинской повести), но авторское мнение ведь нигде, кажется, не расходится с теми наивными детскими представлениями, и наоборот, автор постоянно апеллирует к тем первым детским впечатлениям. А нам-то, чуть речь зайдет об этой пушкинской повести, сразу приходит на память совсем другое суждение, а именно, восторженное гоголевское признание: «Сравнительно с "Капитанской дочкой" все наши романы и повести кажутся приторной размазней. Чистота и безыскусственность вошли в ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется пред нею искусственной и карикатурной. *В первый раз выступили истинно русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственной пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей...*»²

¹ Там же. С. 370.

² Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. М.: Худ. лит., 1986. С. 336.

Для Цветаевой же вся суть повести в одном Пугачеве, которым Пушкин будто бы «зачарован»¹. А на самом деле зачарована им Цветаева: «Но — негодовала ли я на Пугачева, ненавидела ли я его за их (персонажей повести. — В. Е.) казни? Нет. Потому что он должен был их казнить — потому что он был волк и вор. Нет, потому что он их казнил, а Гринева, не поцеловавшего руки, помиловал...»²

Тут невольно задаешься вопросом, а помнила ли Цветаева, когда писала эти строки, как изображены «их казни» в «Капитанской дочке»: «В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздетую донага. Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку. Другие таскали перины, сундуки, чайную посуду, белье и всю рухлядь. "Батюшки мои! — кричала бедная старушка. — Отпустите душу на покаяние. Отцы родные, отведите меня к Ивану Кузьмичу". Вдруг она взглянула на виселицу и узнала своего мужа. "Злодеи!" — закричала она в исступлении. "Что это вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузьмич, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие; не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника!" Унять старую ведьму! — сказал Пугачев. Тут молодой казак ударил ее саблею по голове, и она упала мертвая на ступеньки крыльца»? (VIII, 326).

Нет, не вызвал, оказывается, Пугачев, если верить Цветаевой, негодования за «их казни», за убийство Василисы Егоровны, например, — потому только, что Гринева он потом подобной казни не подверг, а мог бы! Вот освобождение Гринева от зверской казни, по ее мнению, — величайшее добро. Создается впечатление, что Цветаева и в зрелом возрасте видела в «Капитанской дочке» что-то вроде сказки. В поэтике повести действительно немало общего с фольклором и русской сказкой, что было отмечено в свое время В. Я. Проппом. Но то поэтика!

¹ Цветаева М. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 377.

² Там же. С. 371.

А события, изображаемые в ней Пушкиным, отнюдь не сказочные, как и зверства бунтовщиков. Зверства эти, казалось бы, не могут не вызвать соответствующей нравственной оценки. Но она провозглашает по этому поводу в 1937 году в Париже, за два года до своего возвращения в сталинскую Москву: «Это была моя первая встреча со злом, и оно оказалось — добром. После этого оно у меня всегда было на подозрении добра»¹. Удивительная и опасная для души логика!

По Цветаевой, Гринева, которого она прямо отождествляет с Пушкиным, связывала с Пугачевым взаимная любовь. Невеселые размышления Гринева после взятия Белогорской крепости бунтовщиками и последовавшими за этим казнями защитников крепости — она просто не приняла во внимание. Ведь они совершенно несовместимы с ее тезисом: «Оставшись один, я погрузился в размышления. Что мне было делать? Остаться в крепости, подвластной злодею, или следовать за его шайкою было неприлично офицеру...» (VIII, 329). А вот другое размышление Гринева: «Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об *опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках* того, кто вызвался быть и избавителем моей любезной» (VIII, 351).

По Цветаевой же, Гринева будто бы любил Пугачева «с первой минуты сна, когда страшный мужик, нарубив полную избу тел, ласково стал его кликать: "Не бойсь, подойди под мое благословение", — сквозь все злодейства и самочинства, сквозь всё и не смотря на всё — любил»².

Здесь вновь приходится усомниться, хорошо ли помнила Цветаева, написав такое, как изображен этот сон у Пушкина: «Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж?.. Вместо отца моего, вижу в постеле лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: "что это значит? Это не батюшка.

¹ Там же. С. 372.

² Там же. С. 376.

И к какой мне стати просить благословения у мужика?“ — ”Всё равно, Петруша, — отвечала мне матушка, — это твой посаженный отец; поцалуй у него ручку, и пусть он тебя благословит...“ Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах... *Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: ”Не бойсь, подойди под мое благословение...“ Ужас и недоумение овладели мною... И в эту минуту я проснулся»* (VIII, 289).

Думается, любой непредвзятый читатель согласится, что, вопреки утверждению Цветаевой, чувство очень непохожее на любовь «овладело» Петрушей Гриневым в финале этого, как оказалось в дальнейшем развитии повести, вещего сна. Да и потом, когда Гринев уже не во сне, а наяву оказался в столь же смертельно опасной ситуации, ничего, кроме «ужаса и недоумения», не испытал он и с твердостью, достойной русского дворянина, отверг домогательства самозванца: «Пугачев протянул мне жилистую свою руку. ”Цалуй руку, цалуй руку!“ — говорили около меня. Но я предпочел бы самую лютую казнь *такому подлому унижению*. ”Батюшка Петр Андреич! — шептал Савельич, стоя за мной и толкая меня. — Не упрямясь! что тебе стоит? плюнь да поцалуй у злод... (тьфу!) поцалуй у него ручку“. Я не шевелился. Пугачев опустил руку, сказав с усмешкою: ”Его благородие знать одурел от радости. Подымите его!“ Меня подняли и оставили на свободе. *Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии»* (VIII, 289).

Здесь уместно отметить, что восприятие Цветаевой «вещего» сна Гринева в основе своей удивительным образом совпадает со значительно более поздней его трактовкой, предложенной маститым советским литературоведом, которую он диалектически развил до необходимой по тем временам идеологической полноты: «Символично и слово ласкового мужика с топором: ”Не бойсь!..“ Зная роман, мы понимаем парадоксальную справедливость этого призыва: Гриневу действительно нечего было бояться Пугачева — он делал ему только добро. Но есть и дру-

гой, более глубокий смысл в этом призыве: революция — это не только кровь, жертвы и жестокость, но и торжество человечности (сравним цветаевское «зло на подозрении добра»! — В. Е.). Читателю трудно не поверить мужику — ведь он сам видел проявление этой человечности (? — В. Е.) в ходе восстания. И мы понимаем, зачем выбрал это слово мужик, насколько оно содержательно, какая устремленность в будущее чувствуется в нем»¹.

Помимо прочего, Пугачев выглядит в последнем эпизоде комедиантом и плутом, каковым и предстал он перед Гриневым при первой встрече: «В черной бороде его показывалась прорезь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское» (VIII, 290). Последняя фраза (о приятном выражении лица) свидетельствует об определенном человеческом обаянии вождя бунтовщиков. Кроме того, он, безусловно, сметлив и ловок. Недаром в пушкинском стихотворном послании Денису Давыдову находим:

Вот мой Пугач: при первом взгляде
Он виден — плут, казак прямой;
В передовом твоём отряде
Урядник был бы он лихой.

В том и все дело. Окажись Пугачев в отряде Дениса Давыдова или под водительством Суворова, что хронологически вернее!.. Но он оказался в другом окружении, стал преступником, злодеем. Об окружении этом очень точно замечено А. М. Скабичевским: «До самого конца романа он остается тем же случайным степным бродягою и добродушным плутом. При иных обстоятельствах из него вышел бы самый заурядный конокрад, но исторические обстоятельства внезапно сделали из него совершенно неожиданно для него самого самозванца, и он слепо влечется силою этих обстоятельств, причем вовсе не он ведет за

¹ Макогоненко Г. П. Исторический роман о народной войне // А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». Л.: Наука, 1985. С. 231.

собой толпу, а толпа влечет его <...> Натура его в сущности вовсе не хищная и не кровожадная; он рад бы и прощать; добродушные, не покидающее его до конца романа, заставляет его помнить мелочную дорожную услугу, оказанную ему Гриневым; он готов казнить Швабрина, защищая от его козней сироту; но все эти добрые порывы идут совершенно вразрез с настроениями окружающей толпы, вызывают в ней протесты, и, отдаваясь им урывками, он поневоле должен напускать на себя грозное величие и беспощадность...»¹

Приведенное наблюдение Скабичевского не прямо ли вытекает из следующего признания Гринева: «Не могу изъяснить, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время» (VIII, 289).

Но «сочувствие» Пугачеву связано ведь не с его злодеяниями, не с казнями и зверствами, которые не приняты во внимание Цветаевой, а его, Пугачева, природными человеческими качествами, оставшимися втуне. Напротив, Гринев решительно отвергает мораль «калмыцкой» сказки, рассказанной Пугачевым, по которой орел, в отличие от ворона, предпочитает «лучше раз напиток живой кровью», «чем триста лет питаться падалью»: «Затейлива, — отвечает Гринев, — но жить убийством и разбоем значит, по мне, клевать мертвечину» (VIII, 353).

Вот это непредвзятое отношение Гринева (юноши доброжелательного и душевно расположенного к людям) к встретившемуся на его жизненном пути Пугачеву и восприняла Цветаева, как любовь. Цветаева настаивала на том, что от Пугачева исходила будто бы какая-то «чара», которую не мог преодолеть не только Гринев, но сам Пушкин. И тут она в каком-то внутреннем ослеплении провозгласила поистине ужасные вещи:

¹ Скабичевский А. М. Наш исторический роман в его прошлом и настоящем // А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». Л.: Наука, 1985. С. 231.

«Полюбить того, кто на твоих глазах убил отца, а затем и мать твоей любимой, оставляя ее круглой сиротой и этим предоставляя первому встречному, такого любить — никакая благодарность не заставит. А чара — и не то заставит, заставит полюбить того, кто на твоих глазах зарубил самую любимую девушку. Чара, как древле богинин облак любимца от глаз врагов, скроет от тебя все злодейства врага, все его вражество, оставляя только одно: твою к нему любовь»¹.

Это заявлено, конечно, не от лица семилетней девочки, только что украдкой от мамы прочитавшей «Капитанскую дочку», это признание поэта Марины Цветаевой — чудовищное откровение, которое наводит на мысль, что здесь вырвалось наружу из глубин ее подсознания что-то страшное, что терзало ее в годы, предшествовавшие возвращению в Москву. А обдумывать возможность такого возвращения начала она за несколько лет до написания своего исследования «Пушкин и Пугачев». Когда точно, вряд ли можно установить. Однако в известной книге М. И. Белкиной приводится одна немаловажная дата: муж Цветаевой Сергей Яковлевич Эфрон «был втянут в работу советской разведки (читай, НКВД. — В. Е.)» в 1931 году². С этого ли времени или 2–3 годами позже, но, по утверждению той же Белкиной, «почти все последние годы эмиграции Марину Ивановну мучил все тот же вопрос — ехать, не ехать?!»³. А в 1936-м, когда и шла работа над «Пушкиным и Пугачевым», она уже открыто обсуждала проблему отъезда со своей корреспонденткой Ариадной Берг: «Страх за рукописи... *Половину* нельзя взять <...> Про мой возможный отъезд — ради бога... — *никому*»⁴.

Восторженное приятие Пугачева действительно могло прийти к девочке из семьи «прогрессивных» русских интеллигентов еще при первом прочтении «Капитанской дочки». И затем она могла пронести его через годы (в «Дневниках» 1917-го

¹ Там же. С. 376.

² Белкина М. Скрещение судеб. М.: Изографус, 2005. С. 102.

³ Там же. С. 83.

⁴ Там же. С. 109.

это приятие имеет подтверждение), но те ужасные признания в «Пушкине и Пугачеве», на которых мы сейчас остановили внимание, сделаны были все-таки в 1936 году, в предотъездный период.

При этом Цветаева достаточно трезво оценивала советскую действительность. Вот как пишет об этом Белкина: «Но Марине Ивановне страшно в Москву — ”я с моей *Furchtlosigkeit* (бесстрашием. — *В. Е.*), я, не умеющая неответить и не могущая подписать приветственный адрес великому Сталину, ибо не я назвала его великим и — если даже велик — это не мое величие и м. б. важней всего — ненавижу каждую торжествующую, казенную церковь...“»¹.

И в то же время ей предстояло туда ехать — вместе или вслед за мужем.

3

То, что названо Цветаевой «чарой», удивительным образом напоминает массовый гипноз, которым было охвачено абсолютное большинство рядовых советских граждан, живших в обстановке сталинского режима. В той или иной степени, не избежали этой «чары», за исключением, быть может, одной лишь Анны Ахматовой, и наиболее талантливые собратья по перу, находившиеся по ту сторону так называемого железного занавеса. Оговоримся, правда, что у каждого из них, как и у Цветаевой, были для этого свои глубоко личные причины и подоплека, о которых здесь нет возможности распространяться и которые требуют специального рассмотрения.

Борис Пастернак, например, в 1931 году, боясь остаться ошцепенцем («уродом») в пору массового энтузиазма свершителей «великого перелома», непременно желая «мериться пятилеткой», провозглашал свое единение с трудовыми массами в стихотворении «Другу»:

¹ Белкина М. Скрещение судеб. М.: Изографус, 2005. С. 85.

Иль я не знаю, что в потемки тычась,
 Вовек не вышла б к свету темнота,
 И я — урод, и счастье сотен тысяч
 Не ближе мне пустого счастья ста?
 И разве я не мерюсь пятилеткой,
 Не падаю, не поднимаюсь с ней?..

А в 1936 году с поэтическим упоением писал о Сталине:

А в те же дни на расстояньи
 За древней каменной стеной
 Живет не человек — деянье:
 Поступок ростом с шар земной.

Судьба дала ему уделом
 Предшествующего пробел.
 Он — то, что снилось самым смелым,
 Но до него никто не смел¹.

К счастью, порыв этот оказался для Пастернака недолго-временным.

Осип Мандельштам в том же 1931-м тоже испытывал порой жгучее желание приобщиться к советскому мифу:

Пора вам знать, я тоже современник.
 Я человек эпохи Москвошвея...
 («Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...»);
 ...И до чего хочу я разыграться,
 Разговориться, выговорить правду,
 Послать хандру к туману, к бесу, к ляду,
 Взять за руку кого-нибудь: будь ласков
 Сказать ему: нам по пути с тобой
 («Еще далеко мне до патриарха...»).

¹ Пастернак Б. Л. Собр. соч.: В 5 т. Т. 2. М.: Худ. лит. С. 619.

Мандельштаму тоже порой очень хотелось, чтобы было «по пути» с доблестными строителями социализма. Но он не мог не замечать того, что происходило вокруг, в реальной жизни. Отзвуки этого знания находим в отрывках из уничтоженных стихов, относящихся к тому же 1931 году:

В Москве черемухи да телефоны,
И казнями там имениты дни;
Из раковин кухонных хлещет кровь...

В 1933 году он напишет известное антисталинское стихотворение, за которое подвергнется аресту и ссылке. А потом под гнетом репрессивного режима (в процессе то усиливающегося, то затухающего умопомешательства) вновь будет искать порой хоть какого-нибудь единения с этим режимом и даже вымучит «Оду» Сталину...

А были еще НКВД-шные застенки и лагеря, через которые шли тысячи и тысячи их (Пастернака, Мандельштама и Цветаевой) современников и которых не избежал сам Мандельштам.

«Российским интеллигентам, вступившим в жизнь на заре нашего (XX. — В. Е.) века, досталось пройти через такие испытания, какие и не снились их отцам и дедам. Нет на свете казней и пыток, которые не были бы им знакомы по личному опыту. Немудрено, что их мысль, как магнитная стрелка к Северу, неизменно обращалась в эту сторону:

”Но бывает и худшее горе, оно бывает, когда человека мучают долго, так что он уже «изумлен», то есть уже «ушел из ума», — так об изумлении говорили при пытке дыбой, — и вот мучается человек, и кругом холодное и жесткое дерево, а руки палача или его помощника, хотя и жесткие, но теплые и человеческие.

И щекой ласкается человек к теплым рукам, которые его держат, чтобы мучить.

Это — мой кошмар“ (Виктор Шкловский. Сентиментальное путешествие).

Этот кошмар стал реальностью для многих»¹, — так описывает их ощущения Бенедикт Сарнов в книге о Мандельштаме. И делает вывод: «И вот даже Мандельштам — упрямый, независимый, ”жестоковыйный“ Мандельштам — и тот испытал искреннейшее желание прильнуть щекою к теплым ладоням мучивших его палачей»².

А чуть раньше то же самое замечает тот же автор о Пастернаке: «Интеллигент сам выдумал своего палача, усложнил его, наделил несуществующими свойствами. Интеллигент сам убедил себя в том, что палач что-то знает. Он уверил себя, что палач знает нечто такое, что ему, интеллигенту, неизвестно и недоступно.

”Глубоко и упорно думал о Сталине; как художник — впервые“, — потрясенно признавался Пастернак. И испытывал непреодолимую потребность встретиться со Сталиным и поговорить с ним ”о жизни и смерти“.

Зачем это ему понадобилось? Что нового мог сообщить питомцу Марбургского университета, ученику Когена человек, который развлекался плясками под баян и украшал стены своего кабинета цветными фотографиями, вырезанными из ”Огонька“?»³

Это была интуитивная попытка остатков русской интеллигенции найти оправдание происходящему, постараться увидеть в окружающей жизни поступательное движение к интеллигентским идеалам, к «счастью народному», — уговорить себя, что технический и социальный прогресс невозможны без принуждения и насилия, осуществляемых режимом в отношении «отсталых» слоев народонаселения и в отношении политических противников. Потому и писал Пастернак, отталкиваясь от пушкинских «Стансов»:

¹ Сарнов Б. Заложник вечности: случай Мандельштама. М.: Аграф, 2005. С. 369.

² Там же. С. 369–370.

³ Там же. С. 250–251.

Столетье с лишним — не вчера,
А сила прежняя в соблазне
В надежде славы и добра
Смотреть на вещи без боязни.

Хотеть, в отличие от хлыща
В его существованьи кратком,
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком.

И тот же тотчас же тупик
При встрече с умственной ленью,
И те же выписки из книг,
И тех же эр сопоставленья.

Но лишь сейчас сказать пора,
Величье дня сравненьем разня:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни...

Очень неуютно и боязно было ощущать себя сторонним наблюдателем «грандиозных свершений» строителей «нового мира»...

4

Нечто подобное испытывала, по-видимому, и Марина Цветаева, хотя находилась еще в Париже, но уже порвала с эмиграцией и осмысляла свою будущую жизнь по ту сторону советской границы. Она, конечно, была в курсе основных событий, происходивших в СССР, — эмигрантская пресса постоянно извещала об этом соотечественников, волею судеб оказавшихся во Франции. Парижская газета «Возрождение», в частности, была наполнена сообщениями о раскрытии советской шпионской сети в Париже, о похищении генерала Миллера и убийстве Игнатия Рейсса в Лозанне, бывшего советского резидента, который

решил не возвращаться в Москву, опасаясь за свою жизнь и жизнь членов своей семьи. Источником позитивной информации служил «Союз возвращения на родину», активным деятелем которого был ее муж С. Я. Эфрон. На некоторые сообщения с родины она откликалась стихами: стихотворение памяти Сергея Есенина (январь 1926), «Челюскинцы» (1934). Таким образом, знала Цветаева и о грандиозных стройках в СССР, и о следовавших один за другим политических процессах. Знала она и о том, как в Советском Союзе обстоят дела со свободой творчества: «Вот французский писатель Мальро вернулся в восторге. М. Л. (М. Л. Слоним. — В. Е.) ему:

— А свобода творчества?

Тот:

— О! Сейчас не время...

Сколько в мире несправедливостей и преступлений совершалось во имя этого *сейчас* — часа сего!»¹

Ей было страшно, мучительно хотелось обрести какие-то точки соприкосновения с политической системой, утвердившейся на родине, найти для нее какие-то логические обоснования, и в подсознании складывались ложно-спасительные формулы относительно зверств народного вождя Пугачева, оправдывающие сегодняшний террор и насилие на ее родине, куда ей предстояло вернуться...

Подобным же образом, только более жестоко и резко по отношению к Цветаевой, ее жизненные обстоятельства в момент написания работы «Пушкин и Пугачев» были интерпретированы в 1988 году в «Вестнике русского христианского движения» неизвестным нам автором (А. А.), поставившим себе целью «обнаружить самое Цветаеву в ее статье, свести все ее мысли об обессиливающей чаре и зле, вдруг переворачивающемся добром, — к рвущемуся из нее монологу или — диалогу с собой, уговору — себя»².

¹ Белкина М. Крещение судеб. С. 85.

² А. А. 1937 год в жизни Цветаевой // Вестник русского христианского движения. № 155. 1989. С. 142.

Автор этот прямо посчитал цветаевское восхищение «чарой» и любовь к «преступившему» реакцией ее подсознания на активную террористическую деятельность мужа во Франции в середине тридцатых годов по заданию и под руководством НКВД (убийство Игнатия Рейсса, слежка за сыном Троцкого Львом Седовым, похищение генералов Е. К. Миллера и А. П. Кутепова), о которой она могла интуитивно догадываться. Об этих делах немало было публикаций, правда, непосредственное участие в них Сергея Эфрона документально не доказано. Известно, однако, что в октябре 1937 года Цветаеву допрашивали во французской полиции в связи с исчезновением мужа, вскоре обьявившегося в СССР.

Заключительный вывод автора упомянутой статьи безапелляционен: «И эта бездна, в которую она сползла, привела ее сначала к одиночеству, ибо эмиграция отвернулась от спутницы <...> а затем от одиночества, убогого и нищего житья, нравственной депрессии Цветаева логически пришла к реэмиграции и неумолимому глухому возмездию, поглотившему гениального поэта, заблудившегося среди оболещений советской пропаганды и собственного буйного своеволия, за которым не поспевало нравственное чувство»¹.

Мы не считаем себя вправе судить Цветаеву подобным образом, как, впрочем, и любую другую жертву страшных лет сталинщины. Но ужасные откровения ее в «Пушкине и Пугачеве» не должны оставаться без внимания.

Относительно же цветаевской пушкинианы в целом выскажем такое суждение. Произведения эти, хотя и принадлежат перу выдающегося русского поэта XX века, не являются, по нашему глубокому убеждению, ее лучшими достижениями; написаны они около 70 лет назад не без косвенного влияния книг ведущих советских пушкинистов, в не весьма благоприятных исторических обстоятельствах. Поэтому вызывает сожаление, что некоторыми современными литературоведами произведе-

¹ А. А. 1937 год в жизни Цветаевой // Вестник русского христианского движения. № 155. 1989. С. 148.

дения эти преподносятся читателю с теми же безоглядно восторженными оценками, с какими писалось о них в советское время.

2006

«И ВОТ КАК ПИШУТ ИСТОРИЮ!..» (Легенда о генерале Н. Н. Раевском)

Легенда о герое Отечественной войны 1812 года генерале Николае Николаевиче Раевском до сих пор остается предметом полемики в печати. В настоящих заметках мы намерены вновь остановиться на ней — не для развенчания ее из сегодняшнего времени, — а для того, чтобы попытаться проследить, как отражалась она в общественном сознании в разные периоды истории России.

Разные сюжеты

1

31 июля 1812 года в петербургской газете «Северная почта» было напечатано следующее сообщение:

«Сколь ни известно общее врожденное во всех истинных сынах России пламенное усердие к Государю и отечеству, мы не можем, однако, умолчать перед публикою следующего происшествия, подтверждающего сие разительным образом. — Пред одним бывшим в сию войну сражением, когда Генерал-Лейтенант Раевский готовился атаковать неприятеля, то, будучи уверен, сколько личный пример Начальника одушевляет подчиненных ему воинов, вышел он пред колонну, не только сам, но поставил подле себя и двух юных сыновей своих, и закричал: ”Вперед,

ребята, за Царя и за отечество! Я и дети мои, коих приношу в жертву, откроем вам путь“. Чувство героической любви к отечеству в сем почтенном воине должно быть весьма сильно, когда оно и самый глас нежной любви родительской заставило умолкнуть»¹.

Поясним, что упомянутое в газете «одно бывшее в сию войну сражение» — это бой у деревни Салтановки близ Могилева 11 июля (по ст. стилю), где 7-й корпус генерала Раевского атаковал превосходящие силы французов.

Газетное сообщение имело, выражаясь современным языком, ярко выраженный пропагандистский характер, что вполне соответствовало военной ситуации — наполеоновская армия непрерывно продвигалась в глубь России. Оно и явилось источником героической легенды в духе древних. Но нельзя не признать, что в основе этого довольно фантастического сообщения лежал вполне достоверный факт, в полной мере отражавший патриотические чувства генерала: вместе с Раевским в действующей армии находились два его несовершеннолетних сына, которых он взял с собой в военную кампанию. Старшему — Александру — еще не исполнилось 17, младшему — Николаю — 12 лет.

Рассмотрим, как освещался интересующий нас бой в наиболее известных и авторитетных исторических сочинениях, посвященных войне с Наполеоном. Но начнем с исторического документа, сообщающего об этом событии.

В рапорте П. И. Багратиона Александру I от 13 (25) июля 1812 года о сражении при Салтановке воздается должное мужеству и самоотверженности всего личного состава, находившегося под командованием генерала Раевского:

«В особенную обязанность поставлю повергнуть монаршескому воззрению безпримерную храбрость войск 7 корпуса, отражавших и преследовавших сильнейшего несравненно противу себя неприятеля, с девяти утра до шести вечера. Таковой подвиг воинства российского, по единоголосному показа-

¹ Северная почта. № 61. 31 июля 1812. СПб.

нию в плен взятых и по соображению с оставленными трупами на поле преследования, делает в войске неприятельском убитыми и ранеными более пяти тысяч человек»¹.

Теперь обратимся к первому по времени историческому описанию войны, вышедшему в Петербурге в 1813 году по свежим следам минувших событий:

«С разсветом 11 числа неприятель большими силами начал теснить аванпосты и авангард, предупредил Раевского, шедшего уже к нему в порядке навстречу от Дашковки и атаковал его в 9-ть часов утра. Силы неприятеля состояли из пяти дивизий под командою Даву и Мортье. Невзирая на упорство и чрезвычайное превосходство, два раза были они отражаемы с большою для них потерею. Наконец опрокинуты штыками и преследованы пехотою, по неудобству действия кавалериею, до селения Новосиолки. В сем месте, укрепленном природою и искусством, неприятель, остановясь, двукратно составлял опять сильные колонны, и наступал отважно, усиливался принудить Раевского к отступлению; но всегда прогоняем был обратно к неприступной своей позиции со значительным уроном, потеряв в сей день более 5000»².

Тот же текст перешел затем в описание войны, вышедшее в свет в 1819 году³.

В это же время Карл Клаузевиц лаконично отметил интересующее нас сражение в своей исторической работе «Поход в Россию»:

«Даву нашел в полутора милях от Могилева сильную позицию у деревни Салтановки, которую он 22-го (по н. стилю. — В. Е.) занял в ожидании Багратиона и на которой он подвергся его безуспешной атаке 23-го числа»⁴.

¹ Генерал Багратион. Сборник документов и материалов. М., 1945. С. 209.

² Историческое описание войны 1812 года. СПб., 1813. С. 44.

³ См.: Ашхарумов Д. Описание войны 1812 года. СПб., 1819. С. 50.

⁴ Клаузевиц К. 1812 год. М., 1937. С. 167.

В 1837 году вышла новая работа о войне, автором которой был флигель-адъютант императора полковник Бутурлин. Этому труду было предпослано «Предупреждение от сочинителя», в котором автор сообщал, в частности, следующее:

«Официальные документы Российской Армии, равно и неприятельские, по участи войны доставшиеся Россиянам, составляют драгоценнейший источник, из коего почерпал с величайшим тщанием и разборчивостью, он (автор. — В. Е.) чрез то мог устранить все частные описания, почти всегда с пристрастием и уже после событий составленные...»¹

Сражение, интересующее нас, описано Бутурлиным весьма подробно. Мы приводим лишь часть этого описания, непосредственно касающуюся попыток Раевского овладеть мостом, ведущим в Салтановку:

«11-го Июля, на разсвете, Генерал-Лейтенант Раевский выступил от Дашковки к Могилеву, опрокидывая и гоня перед собою легкия войска неприятельския, на пути им встреченныя. В 8-м часов по полуночи, прибыл он к Салтановке, и тотчас приказал 12-й пехотной дивизии Генерал-Майора Коллюбакина атаковать мост. Леса, окружающие деревню Салтановку, не позволяли подойти к сему мосту иначе, как по большой дороге вдоль по коей была неприятельская батарея. Несмотря на то, Россияне двинулись вперед с удивительною твердостью; но, будучи осыпаемы тучею пуль и картечей неприятельских, никоим образом не могли овладеть мостом...»²

Затем, как описал Бутурлин, Раевский попытался предпринять обходной маневр, для чего направил влево от моста пехотную дивизию генерала Паскевича, но и этот маневр не был успешным. Атака на мост, ведущий к Салтановке, возобновилась:

«Генерал-Лейтенант Раевский и Генерал-Адъютант Васильчиков, спешившись, сами подавали пример, идучи впереди

¹ Бутурлин Д. История нашествия императора Наполеона на Россию в 1812 г. Ч. 1–2. Пер. с франц. Ч. 1. СПб., 1837.

² Там же. С. 191.

колонны! Войска, возбужденные их присутствием, делали новые усилия, чтобы перейти теснину, но тщетно...»¹

Как видно из приведенных текстов, за четверть века, прошедших со времени Отечественной войны 1812 года, сыновья прославленного генерала в исторических описаниях боя у Салтановки не упоминались.

Однако через восемь лет выходит книга генерала А. И. Михайловского-Данилевского, посвященная истории Отечественной войны, где впервые среди участников боя назван старший сын Раевского:

«Раевский, стоя с 12-ю дивизиею впереди Салтановки, ожидал только успеха Паскевича, чтобы пойти на штыках через плотину и атаковать находившегося там неприятеля. С нетерпением ожидали солдаты приказа к бою; во всех кипела кровь. Между тем Французская артиллерия, с высот за Салтановскою плотиною, громила наши колонны; ряды Русских, вырываемые ядрами и картечью, безтрепетно смыкались; подбитые пушки заменялись новыми. Услыша при одной из атак Паскевича, что огонь подвинулся вперед, Раевский почел минуту благоприятною для атаки и приказал 12-й дивизии двинуться на Салтановку. Он, Васильчиков, все офицеры штаба спешили и встали впереди Смоленского пехотного полка, находившегося в голове колонны... ”Дайте мне нести знамя!“ — сказал один из сыновей Раевского ровеснику своему, шестнадцатилетнему подпрапорщику. ”Я сам умею умирать!“ — отвечал юноша. Выгоды местоположения были на стороне Даву и уничтожили усилия храбрости наших войск, которые выдерживали на дороге весь огонь Французских батарей, несколько раз врывались в Салтановку, но должны были воротиться»².

Примерно такое же описание боя, где фигурируют уже оба сына Раевского, находим в сочинении М. Богдановича, вышедшем в 1859 году:

¹ Там же. С. 192.

² *Михайловский-Данилевский А. И.* Описание Отечественной войны 1812 года. СПб., 1843. С. 307–308.

«Между тем с обеих сторон продолжалась сильная канонада. Раевский, слыша, по направлению гула выстрелов, что Паскевич подается вперед, и заметя колебание в неприятельской линии, снова послал 12-ю дивизию на мост у Салтановки. Вместе с Васильчиковым и всеми офицерами штаба, в числе которых были сыновья самого Раевского, он сошел с коня и стал впереди Смоленского полка, назначенного идти в голове колонны...»¹

Остановим внимание на том, что в сочинениях, отделенных от военных событий временным промежутком более 25 лет, начинает уделяться некоторое внимание сыновьям генерала, что никак не подтверждает легенду, рожденную газетной публикацией, но все же обозначает определенную устремленность к патриотической патетике. На то же указывает изменение стилистики: сухой язык исторической хроники, свойственный описаниям боев в сочинениях до 1837 года включительно, становится в более поздних сочинениях, например в книге Михайловского-Данилевского, более красочным, повествование обретает некоторые признаки беллетристики («во всех кипела кровь»; «ряды... бестрепетно смыкались»), появляются даже диалоги участников сражений («Дайте мне нести знамя!» и т. д.).

Отмеченное изменение стиля и характера исторических описаний связано, быть может, с ухудшением внешнеполитического положения России. Так, «История Отечественной войны 1812 года» Богдановича вышла вскоре после окончания Крымской войны 1853–1856 годов, и обращение к славному прошлому, к победоносной войне 1812 года, в какой-то степени сглаживало горечь недавнего поражения. С другой стороны, отодвигаясь в прошлое, вся война с Наполеоном начинала приобретать в общественном сознании черты национального мифа, национального эпоса.

Не случайно, наверное, примерно в эти же годы начинается работа над «Войной и миром» (1863), а в конце 60-х годов толстовская эпопея выходит в свет.

¹ Богданович М. История Отечественной войны 1812 года. СПб., 1859. С. 215.

Однако, как это ни покажется парадоксальным, мысль писателя оказалась устремленной в противоположном направлении, нежели у современных ему историков: от легенды и мифа к достоверности и трезвому осознанию ужаса любой войны.

Так, в томе третьем своей эпопеи Толстой не обошел вниманием интересующую нас легенду. Здесь она дается в восприятии Николая Ростова:

«Офицер с двойными усами, Здржинский, рассказывал напыщенно о том, как Салтановская плотина была Фермопилами русских, как на этой плотине был совершен генералом Раевским поступок, достойный древности. Здржинский рассказывал поступок Раевского, который вывел на плотину своих двух сыновей под страшный огонь и с ними рядом пошел в атаку. Ростов слушал рассказ и не только ничего не говорил в подтверждение восторга Здржинского, но, напротив, имел вид человека, который стыдится того, что ему рассказывают, хотя и не намерен возражать. Ростов после Аустерлицкой и 1807 года кампаний знал по своему собственному опыту, что, рассказывая военные происшествия, всегда врут, как и сам он врал, рассказывая; во-вторых, он имел настолько опытности, что знал, как все происходит на войне совсем не так, как мы можем воображать и рассказывать. И потому ему не нравился рассказ Здржинского, не нравился и сам Здржинский, который, с своими усами от щек, по своей привычке низко нагибался над лицом того, кому он рассказывал, и теснил его в тесном шалаше. Ростов молча смотрел на него. »Во-первых, на плотине, которую атаковали, должна была быть, верно, такая путаница и теснота, что ежели Раевский и вывел своих сыновей, то это ни на кого не могло подействовать, кроме как человек на десять, которые были около самого его, — думал Ростов, — остальные и не могли видеть, как и с кем шел Раевский по плотине. Но и те, которые видели это, не могли очень воодушевиться, потому что им было за дело до нежных родительских чувств Раевского, когда дело шло о собственной шкуре? Потом оттого, что возьмут или не возьмут Салтановскую плотину, не зависела судьба человечества, как нам описывают про Фермопилы. И стало быть, зачем

же было приносить такую жертву? И потом, зачем тут, на войне, мешать своих детей? Я бы не только Петю-брата не повел бы, даже и Ильина, даже этот чужого мне, но доброго мальчика, постарался бы поставить куда-нибудь под защиту“, — продолжал думать Ростов, слушая Здржинского. Но он не сказал своих мыслей: он и на это уже имел опыт. Он знал, что этот рассказ содействовал к прославлению нашего оружия, и потому надо было делать вид, что не сомневаешься в нем. Так он и делал»¹.

3

Критическое отношение Николая Ростова к распространенной в армии легенде о Раевском совпадает с оценкой этой легенды самим ее героем — генералом Раевским (об этом — чуть позже). Трудно сказать, знал ли Толстой об отношении генерала к тому описанию боя, которое появилось в свое время в «Северной почте», или его позиция в этом вопросе являет пример писательской проницательности.

Мнение же Раевского стало известно читающей публике значительно позже выхода в свет «Войны и мира» (1867–1869). Это произошло в середине восьмидесятых годов XIX века в результате публикации записной книжки Батюшкова в собрании его сочинений. Упомянутая записная книжка заполнялась поэтом в 1817 году. Дело в том, что Батюшков во время кампании 1813–1814 годов был адъютантом Раевского и, судя по приводимой ниже записи, имел с генералом обстоятельные и достаточно откровенные беседы.

Изложение интересующего нас разговора с прославленным генералом Батюшков предварил следующей сентенцией:

«Простой ратник, я видел падение Москвы, видел войну 1812, 13 и 14 г., видел и читал газеты и современные истории. Сколько лжи! И вот тому пример в *«Северной почте»*»².

¹ Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. Т. 6. С. 67–68.

² Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1978. С. 412.

Раевский рассказал своему адъютанту о бое при Салтановке (Дашковке) в один из вечеров, когда русская армия находилась в Эльзасе. Вот его рассказ в изложении Батюшкова:

«Из меня сделали римлянина, милый Батюшков», — сказал он мне <...> »Про меня сказали, что я под Дашковкой принес на жертву детей моих. Помню, — отвечал я, — в Петербурге вас до небес превозносили“. — ”За то, чего я не сделал, а за истинные мои заслуги хвалили Милорадовича и Остермана. Вот слава, вот плоды трудов!“ — ”Но помилуйте, ваше высокопревосходительство, не вы ли, взяв за руку детей ваших и знамя, пошли на мост, повторяя: вперед, ребята; я и дети мои откроем вам путь ко славе, или что-то тому подобное“. Раевский засмеялся. ”Я так никогда не говорю витиевато, ты сам знаешь. Правда, я был впереди. Солдаты пятались, я ободрял их, со мною были адъютанты, ординарцы. По левую сторону всех перебило и переранило, на мне остановилась картечь. *Но детей моих не было в эту минуту.* Младший сын собирал в лесу ягоды (он был тогда суший ребенок, и пуля прострелила ему панталоны); вот и все тут, *весь анекдот сочинен в Петербурге.* Твой приятель (Жуковский) воспел в стихах. Граверы, журналисты, нувеллисты воспользовались удобным случаем, и я пожалован римлянином. *Et voila comme on ecrit l’histoire**“»¹ (курсив наш. — В. Е.).

Заметим для себя, что фраза Раевского: «Из меня сделали римлянина...» имеет соответствие у Толстого. Сравним ее со следующим местом приведенного нами текста из романа «Война и мир»:

«...Здржинский рассказывал напыщенно о том, как Салтановская плотина была Фермопилами русских, как на этой плотине был совершен генералом Раевским поступок, достойный древности»².

Нельзя не отметить также, что человечность, неприятие фальши и фанатизма, свойственные (как следует из записи

* И вот как пишут историю! (франц.)

¹ Там же.

² Толстой Л. Н. Указ. соч. С. 67.

Батюшкова) прославленному русскому генералу времен отечественной войны 1812 года, обнаруживают в нем единомышленника Толстого.

У Толстого Николай Ростов, выслушав «напыщенный» рассказ Здржинского, признается себе, что «не только Петю-брата» не повел бы под пули неприятеля, но и Ильина, «даже этого чужого мне, но доброго мальчика, постарался бы поставить куда-нибудь под защиту».

Что же касается Жуковского, упомянутого Раевским, то свойственный ему романтический взгляд на действительность делал его более восприимчивым к разного рода легендам. Однако вряд ли можно однозначно утверждать, как это сделал Раевский, что он полностью поверил публикации «Северной почты».

В известной патриотической балладе «Певец во стане русских воинов», написанной в сентябре — октябре 1812 года «после отдачи Москвы перед сражением в Тарутине»¹, он отметил Раевского в той ее части («Хвала сподвижникам-вождям»), в которой перечисляются виднейшие участники Бородинского сражения. Раевский, как известно, самоотверженно командовал «Курганной» батареей, важнейшим пунктом обороны русской армии.

Вот относящийся к нему текст Жуковского:

Раевский, слава наших дней,
Хвала! Перед рядами
Он первый грудь против мечей
С отважными сынами.

Упоминание сыновей Раевского как будто бы говорит о принятии Жуковским рассматриваемой нами легенды, но в то же время мы видим в приведенных стихах лишь поэтически обобщенный образ Раевского (в соответствии с творческой установкой и стилем баллады), не содержащий какой-либо конкретики,

¹ Жуковский В. А. Сочинения: В 3 т. Т. 1. М., 1980. С. 388.

за исключением одного факта: сыновья генерала были вместе с ним на полях сражений.

Кстати, именно такое определение использовал Пушкин, когда в 1829 году после смерти генерала была напечатана (без указания имени автора) «Некрология генерала от кавалерии Н. Н. Раевского»¹. В своем кратком отклике на эту публикацию Пушкин, в частности, отметил:

«С удивлением заметили мы непонятное упущение со стороны неизвестного некролога: он не упомянул о двух отроках, приведенных отцом на *поля сражений* в кровавом 1812-м году!..» (XI, 84; курсив наш. — В. Е.)

Замечание Пушкина также представляется неоднозначным. Признавал ли он публикацию в «Северной почте» достоверной? Или, игнорируя ее, имел в виду лишь сам факт присутствия сыновей генерала в действующей армии? На наш взгляд, более вероятно последнее предположение.

В пользу него говорит то, как разрешил поэт в черновых строфах (уже цитированных нами выше) главы шестой «Евгения Онегина», не вошедших в окончательную редакцию этой главы, острое противоречие между боевым долгом другого генерала, участника Отечественной войны 1812 года, и его отцовской привязанностью к сыну:

(Но если Жница роковая
Окровенная, слепая,
В огне, в дыму — в глазах отца
Сразит залетного птенца!)
О страх! о горькое мгновенье
О Ст<роганов> когда твой сын
Упал сражен, и ты один.
[Забыл ты] [Славу] <и> сраженье
И предал славе ты чужой
Успех ободренный тобой (VI, 412).

¹ Автором «Некрологии...» был М. Ф. Орлов, муж его старшей дочери Е. Н. Раевской.

В. В. Набоков прокомментировал эту строфу следующим образом: «Граф Павел Строганов, командовавший дивизией при Кране близ Лана во Франции 7 марта 1814 года (по н. ст.), покинул поле битвы, узнав, что его девятнадцатилетний сын Александр обезглавлен пушечным ядром»¹.

В результате лавры победителя достались М. С. Воронцову, принявшему командование у Строганова.

В предыдущей строфе та же мысль выражена, быть может, еще более резко:

В сраженье [смелым] быть похвально
 Но кто не смел в наш храбрый век —
 Всё дерзко бьется, лжет нахально
 Герой, будь прежде человек... (VI, 411).

Таким образом, сочувственное внимание Пушкина в приведенной строфе обращено на поступок графа Строганова, который, оставив поле боя, бросился к убитому сыну, а не восклицал перед строем: «Вперед, ребята!» — как, видимо, следовало бы ему поступить, по представлениям сочинителей из «Северной почты»...

Но вернемся к записям Батюшкова. Воспоминание о памятной беседе с Раевским он завершил рассказом о ранении Раевского в бою под Лейпцигом. Спокойствие и мужество генерала в эти тяжелые минуты, описанные очевидцем, заслуживают нашего внимания и напрямую относятся к нашей теме:

«Пуля раздробила кость грудную, но выпала сама собою. Мы суетились, как обыкновенно водится при таких случаях. Кровь меня пугала, ибо место было весьма важно; я сказал это на ухо хирургу. ”Ничего, ничего, — отвечал Раевский, который, не смотря на свою глухоту, вслушался в разговор наш, и потом, оборотясь ко мне, — чего бояться, господин поэт“ (он так называл меня в шутку, когда был весел):

¹ Набоков В. В. Комментарии к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». С. 470.

Je n'ai plus rien du sang qui m'a donne la vie.
Il a dans les combats coule pour la patrie*.

И это он сказал с необыкновенной живостью. Издранная его рубашка, ручьи крови, лекарь, перевязывающий рану, офицеры, которые суетились вокруг тяжело раненого генерала, лучшего, может быть, из всей армии, беспрестанная пальба и дым орудий, важность минуты, одним словом — все обстоятельства придавали интерес этим стихам»¹.

Этот подлинный боевой эпизод Батюшков противопоставил газетным выдумкам своего времени:

«Вот анекдот². Он стоит тяжелой прозы "Северной почты": "Ребята вперед" и проч. За истину его я ручаюсь. Я был свидетелем, Давыдов, Медем и лекарь Витгенштейновой главной квартиры. Он тем более важен сей анекдот, что про Раевского набрать немного. Он молчалив, скромн отчасти, скрыт, недоверчив, знает людей, не уважаем ими»³.

Итак, воспоминание Батюшкова о Раевском начинается с негативной оценки публикации в «Северной почте» и заканчивается тем же: она представляется ему наиболее ярким проявлением газетной лжи об Отечественной войне, в боях которой он сам участвовал как «простой ратник».

4

Последующие исторические сочинения о войне 1812 года относятся уже к XX веку. К столетней годовщине войны вышло юбилейное издание в семи томах «Отечественная война и русское

* У меня нет больше крови, которая дала мне жизнь. / Она в сраженьях пролита за родину (франц.).

¹ Батюшков К. Н. Указ. соч. С. 415–416.

² В пушкинское время — «небольшой занимательный рассказ» (Словарь языка Пушкина: В 4 т. Т. 1. М., 2000. С. 24).

³ Батюшков К. Н. Указ. соч. С. 416.

общество», где не обойдено вниманием и интересующее нас сражение:

«...получив в день битвы у Салтановки 11(23) июля приказ Багратиона атаковать неприятеля и постараться ворваться в Могилев, Раевский двинул весь свой корпус вперед. Однако атаки Паскевича в обход правого фланга французов у Фатовой и самого Раевского — против их левого крыла у Салтановки были отбиты. Трудные условия местности, лишая возможности воспользоваться содействием кавалерии, заставили Раевского прекратить атаки и с разрешения Багратиона отвести войска к Дашковке»¹.

Здесь, как видим, какие-либо упоминания о сыновьях Раевского отсутствуют. Однако примерно в то же время вышел календарь-ежедневник Отечественной войны 1812 года, составленный Н. П. Поликарповым, где были обстоятельно описаны события каждого дня войны с указанием участвовавших воинских подразделений, количества погибших, с перечислением особо отличившихся.

В описании боя, в целом повторяющем его описание в юбилейном издании, о «подвиге» Раевского также нет речи, но в перечне лиц запасного батальона 5-го егерского полка, особо отличившихся 11(23) июля, упоминаются сыновья Раевского:

«...прапорщик Раевский — ”находился всегда впереди стрелков, а во время атаки на штыках стремился впереди колонны; он первый бросился в середину неприятеля и последний отступил назад“; портупей-юнкера Венедиктов и Раевский — ”находясь в стрелках, с отличным мужеством действовали на неприятеля, чем подавали пример и подчиненным; из коих первый ранен картечью“»².

¹ Отечественная война и русское общество. Т. 1–7. Т. 3. М., 1911. С. 185–186.

² Труды Московского отдела Императорского Русского Военно-Исторического общества. Том IV. Материалы по истории Отечественной войны. Боевой календарь-ежедневник Отечественной войны 1812 года. М., 1913. С. 131.

В качестве источника сведений указаны материалы так называемого «Лефортовского архива» (Московского отделения общего архива Главного штаба).

Из приведенной календарной записи видно, что младший Раевский («портупей-юнкер», находившийся в «стрелках») не был среди атакующих салтановский мост «на штыках», но из этой записи следует, что он, как и его старший брат («прапорщик Раевский»), принимал в боевых действиях описываемого дня непосредственное участие.

Не случайно, наверное, и в книге Богдановича 1859 года, уже цитированной нами ранее и признаваемой к моменту выхода календаря-ежедневника «наиболее распространенным» и «наиболее доступным» сочинением о войне 1812 года¹, среди участников атак на салтановском мосту упоминается лишь старший сын Раевского. Значит, младшего брата в этот момент рядом с ним не было, как не было и фантастической сцены: отец генерал ведет сыновей под пули врага, держа их за руки.

В завершение же нашего исследования остановимся на исторических сочинениях советского времени.

5

В советскую эпоху легенда, родившаяся в июле 1812 года, оказалась идеологически востребованной во время Отечественной войны с фашистской Германией. В 1943 году академик Е. В. Тарле, в соответствии с требованиями момента, максимально использовал текст «Северной почты». Текст, вызвавший когда-то раздраженную реакцию двух известных всей России участников войны 1812 года: Раевского и Батюшкова! Разумеется, при этом из него были исключены упоминания царя и Отечества:

¹ См.: *Поликарпов Н. П.* К истории Отечественной войны 1812 г.: В 3 вып. Вып. 1. М., 1911. С. 3.

«23 июля Раевский с одним (7-м) корпусом в течение десяти часов выдерживал при Дашковке, затем между Дашковкой, Салтановкой и Новоселовым упорный бой с наседавшими на него пятью дивизиями корпусов Даву и Мортье. Когда в этой тяжелой битве среди мушкетеров на один миг под градом пуль произошло смятение, *Раевский, как тогда говорили и писали, схватил за руки своих двух сыновей, и они втроем бросились вперед* (курсив наш. — В. Е.)»¹.

Правда в сноске Тарле сообщил, что «по словам поэта Батюшкова, Раевский впоследствии отрицал точность этого рассказа»².

Столь патетического воспроизведения легенды не было ни в одном из дореволюционных описаний войны 1812 года, выдержки из которых мы привели ранее.

Это свидетельствует о том, что советская цензура позволяла, когда это представлялось идеологически целесообразным, пользоваться пропагандистскими разработками столь ненавистного большевикам царского прошлого.

Но прошло два десятилетия, война осталась позади, внутриполитическая ситуация несколько изменилась, и вот уже в книге Л. Г. Бескровного «Отечественная война 1812 года», вышедшей в пору так называемой оттепели, для легенды о Раевском не нашлось места. Она вновь стала неактуальной³.

Бескровный в 1962 году постеснялся (или не пожелал) использовать беллетризованное описание боя, выполненное в 1943 году академиком Тарле.

Но проходит еще 12 лет, идеологическая ситуация вновь меняется, и вот выходит новый исторический труд по интересующей нас теме⁴. В условиях нарастающего кризиса так назы-

¹ Тарле Е. В. Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год. М., 1992 (печ. по изданию 1943 г.). С. 83.

² Там же.

³ См.: Бескровный Л. Г. Отечественная война 1812 года. М., 1962. С. 301.

⁴ См.: Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в России. М., 1974. С. 113.

ваемого социалистического строя старая легенда вновь оказывается нужной. И дело здесь не в пропаганде любви к России. Идеологическая привлекательность легенды теперь состояла в том, что она утверждала приоритет общественных интересов над личными: боевой генерал, для воодушевления солдат в одном из сражений местного значения, вывел под пули врага своих несовершеннолетних детей.

Таким образом, свидетельству Батюшкова и размышлениям Толстого, описаниям боя у Салтановки в российских исторических сочинениях советский историк в 1974 году фактически предпочел чуть измененную «тяжелую прозу» «Северной почты»...

И вот так писалась история!..

6

Зачем же понадобилась издателям «Северной почты» эта «напыщенная», по определению толстовского героя, сценка? Ведь реальная картина сражения 11 июля 1812 года, где даже несовершеннолетние ее участники (сыновья генерала, «портупейюнкер» Веденеев, неизвестный нам 16-летний подпрапорщик, несший знамя) использовали боевое оружие наравне со старшими, достаточно впечатляюща и, главное, правдива. Как правдив и впечатляющ «анекдот» Батюшкова о ранении Раевского в бою под Лейпцигом, который, по его замечанию, стоил «тяжелой прозы» «Северной почты».

Правды войны, достоверные описания боя, невыдуманный героизм участников сражений почему-то не привлекают внимания сочинителей псевдопатриотических легенд. Почему всегда так происходит? Ведь то же самое мы видим, когда обращаемся к материалам о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Так, несколько лет назад в статье, посвященной выяснению правды о последней войне, В. Кардин вновь привлек наше внимание к легенде о 28 панфиловцах. К тому, в частности, факту,

что известная каждому советскому школьнику историческая фраза: «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва!» — якобы произнесенная политруком Ключковым во время боя у разъезда Дубосеково, на самом деле была сочинена ретивым газетчиком...¹

Да и «самого боя 28 панфиловцев с немецкими танками у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года не было, — это сплошной вымысел», как следует из справки-доклада главного военного прокурора Н. Афанасьева «О 28 панфиловцах» от 10 мая 1948 года по результатам расследования Главной военной прокуратуры².

Возникновение подобного рода военных легенд многие весьма уважаемые люди оправдывают тем, что легенды эти были просто необходимы: они поднимали боевой дух защитников отечества, укрепляли их мужество, вселяли уверенность в победе...

Но почему не годится для этих целей правда о войне?

Думается, тому есть несколько причин.

Легенда, являясь чьим-то сочинением, словесно отшлифована и красочна. Она, конечно, выигрывает при восприятии и усвоении ее массами людей по сравнению с достоверным неприкрашенным фактом, хотя приобретает при этом нестерпимо приторный вкус фальши, легко распознаваемый проницательным и трезво мыслящим человеком (например, Николаем Ростовым у Толстого).

В силу этого своего качества легенда (набор легенд), будучи легко усвояемой, необходима властителям человеческих судеб, мановением руки перемещающим по пространствам земли десятки и сотни тысяч вооруженных людей, для формирования массового сознания, упраздняющего индивидуальное восприятие происходящего: все мыслят одинаково и, разумеется,

¹ Кардин В. Легенды и факты: Годы спустя // «Вопросы литературы». 2000. Вып. 6. С. 3–28.

² Фонд Прокуратуры СССР. ГАРФ. Ф. Р-8131.

в соответствии с пропагандистскими установками верховной власти. Под их воздействием воюющие люди по обе стороны фронта перестают осознавать ужас и бесчеловечность происходящей бойни, им легче умирать и убивать друг друга.

Есть здесь и недоверие к собственному народу: а вдруг он повернет оружие не в ту сторону?..

2004

Указатель имен

- Абрамович С. Л. 250, 256, 259
Адеркас Б. А. 84, 297
Азадовский М. К. 51, 154, 348, 351–355, 424
Аксаков С. Т. 234
Аладьин Е. 48
Александр I 67, 116, 125, 143, 178, 219, 226, 253, 254, 260, 265, 322, 327, 328, 331, 332, 336, 337, 394
Алексеев В. 242, 263
Анненков П. В. 78, 85, 98, 173, 177, 235, 277–280, 282, 285, 291, 424
Аракчеев А. А. 117
Аринштейн Л. М. 109, 253, 254, 273, 287, 424
Ариосто 299, 302, 355
Арсеньев Н. В. 264
Аскольд (князь) 335
Афанасьев Н. 410
Ахматова А. А. 2, 17, 18, 64, 65, 127, 144, 146, 148, 151, 273, 318, 363, 375, 424
Ашхарумов Д. 395, 424
Багратион П. И. 394, 395, 406, 425
Байрон Д. 36, 252, 269
Барков И. С. 4, 155–159, 161–172, 174–179, 181–188, 190, 191, 193, 196–208, 211, 427
Бартенев П. И. 6, 27, 28, 57, 73–77, 79, 98, 101, 103, 104, 173, 214, 220, 323, 424, 428
Басаргин Н. В. 256, 265
Батюшков К. Н. 169, 192, 199, 200, 208–210, 218, 219, 248, 323, 400–402, 404, 405, 407–409
Белинский В. Г. 276, 281, 424
Белкина М. И. 385, 386, 391, 424
Бельчиков Н. Ф. 278–281, 285, 291
Беляев М. Д. 343–346, 424

Бенкендорф А. Х. 5, 97, 117, 266, 309–316, 323
Берг А. 385
Бердяев Н. А. 67
Бескровный Л. Г. 408, 424
Бестужев А. А. 33, 34, 36, 37, 114, 115, 146, 147, 150, 250, 255, 270, 319, 320
Бицилли П. М. 216–218, 240, 373
Благой Д. Д. 317, 424
Блок А. А. 2, 6, 330, 368, 424
Блудов Д. Н. 27, 209, 212
Бобров С. С. 196, 197, 204
Богданович М. 397, 398, 407, 424
Богдановский 264
Болховитинов Е. 354
Бонди С. М. 3, 44, 50–56, 59–61, 138–140, 142, 144, 153, 156, 157, 424
Бомарше П. 202
Бочаров С. Г. 127–129
Брюллов А. П. 344
Брюллов К. П. 231–233, 424
Брюсов В. Я. 71, 276, 280, 351
Булгаков А. Я. 266
Булгарин Ф. В. 5, 34, 309–316
Бутурлин Д. 396, 424
Васильчиков И. В. 396–398
Вацуро В. Э. 71, 107, 108, 281–285, 290, 424
Вега Лопе де 165
Вейденбаум Е. Г. 53, 57
Венгеров С. А. 39, 92, 103, 221, 231, 236, 280, 295, 427
Веневитинов А. В. 75, 79, 80, 98, 101, 102
Вересаев В. В. 40, 41, 47, 212, 247, 271, 293, 294, 372, 424
Веселовский А. Н. 240
Вигель Ф. Ф. 79, 249, 254, 255, 258, 263, 264, 268, 270, 272, 424
Видок Э. Ф. 313
Виельгорский М. Ю.
Вийон Ф. 165, 202
Виленчик Б. Я. 117
Виноградов В. В. 116, 120
Виролайнен М. Н. 329
Витгенштейн П. Х. 405
Вольперг Л. И. 317

- Вольтер 121, 164, 202
Воронцов М. С. 5, 242, 244–246, 248–273, 304, 404
Воронцов С. Р. 263
Воронцова Е. К. 10, 260
Вульф А. Н. 76, 80, 102, 126, 367, 425
Вяземская В. Ф. 49, 57, 257–260, 344
Вяземский П. А. 20, 76, 83, 102, 143, 177, 188, 224, 229, 250, 261, 270, 307,
319, 329, 348, 350, 356, 362, 374, 425
Гаевский В. П. 172–179, 182–186
Галушко Т. К. 46, 360, 425
Ганнибал А. П. 95
Гафиз 311, 351, 356
Гегель Г. В. Ф. 325, 326
Гензерих 232
Гербель Н. В. 231, 232
Герцен А. И. 4, 68
Гершензон М. О. 6, 7, 9, 12, 13, 26, 31, 32, 36, 40, 425
Гёте И.-В. 356
Гнедич Н. И. 19, 20, 146, 275, 278, 279, 281–284, 286, 287, 290–295, 425
Гоголь Н. В. 230, 234, 237, 240, 276, 281, 285–289, 291, 379, 425
Голицына М. А. 6, 7
Голицына Е. И. 11
Голицин С. Г. 119, 213
Гомер 5, 275, 276, 282, 286, 287, 289, 290, 292, 293, 425
Гончаров Н. А. 49, 323
Гораций К. Ф. 334–336
Горбачевский И. И. 147
Горчаков А. М. 182–184
Горчаков В. П. 255
Грей Д.
Грегуар А. 327, 328, 331, 334
Грессе Ж.-Б.-Л. 199, 202
Грэнвил А. 273
Григорьев А. 235
Гришунин А. Л. 154
Гроссман Л. П. 26, 29, 35
Грот Я. К. 300
Губер П. К. 26, 35, 425
Гудшон А. 370

Гуревич Л. Я. 234
Гурьев А. Д. 250, 260
Даву Л. Н. 395
Давыдов А. Л. 359, 362
Давыдов В. Л. 33
Давыдов Д. В. 99, 113, 119, 120, 360, 362, 383, 405
Давыдова А. А. 359–361, 363, 365, 366, 369,–372
Давыдова Е. Н. 359
Данзас К. К. 174
Данте А. 165
д'Арк Ж. 202
Де Граммон 359
Де ля Порга О. С. 361
Декарт Р. 121
Дельвиг А. А. 35, 39, 81, 84, 118, 119, 146, 188, 261, 270, 312, 315, 316, 318
Державин Г. Р. 122, 330, 336
Дибич И. И. 84–86, 219, 220
Дир (князь) 335
Дмитриев И. И. 39
Дмитриев-Мамонов М. А. 318, 323
Добролюбов Н. А. 240
Доброхотов В. И. 43–46, 62
Дондуа К. Д. 356
Дондуков-Корсаков М. А. 271, 272
Дубровский А. В. 177
Егунов А. Н. 286, 425
Екатерина II 111, 116, 324
Елистратов В. С. 179–181, 425
Есенин С. А. 391
Ефремов П. А. 57, 71, 73, 103, 177–179, 181, 235
Жилин П. А. 408, 425
Житомирская С. В. 234, 237, 425
Жуйкова Р. Г. 46, 360, 425
Жуковский В. А. 33, 81, 82, 84, 117, 156–159, 168–171, 178, 179, 191–193,
195, 196, 198, 199, 207, 208, 211, 218, 225, 226, 229, 234, 238, 247,
272, 273, 276, 278, 280, 282, 285, 287, 289, 291, 322–324, 337, 374,
401, 402, 425
Забабурова Н. В. 242
Задека М. 306

- Зильберштейн И. С. 272
Зингер Е. А. 64–66
Зорич С. Г. 111, 117
Иванов В. И. 40, 70
Иезуитова Р. В. 45, 46, 62, 63, 223, 297, 305, 306, 308, 429
Измайлов Н. В. 13, 300, 348–351, 354, 425
Инзов И. Н. 248, 249, 254, 256, 359
Истомина А. И. 157
Казначеев А. И. 250, 251, 258, 264
Кайданов И. К. 184
Кальдерон П. 165
Карамзин Н. М. 27, 28, 33, 38–40, 91, 144, 261, 325
Карамзина Е. А. 27–30, 33–35, 37–39, 41, 42, 229
Карамзина Е. Н. 37–39, 41, 42
Карамзина С. Н. 41
Кардин В. Э. 409, 410
Катенин П. А. 332
Каховский П. Г. 83
Керн А. П. 27, 118, 370, 371, 425
Кибальник С. А. 293
Киселев П. Д. 237, 250, 256, 259, 269
Клаузевиц К. 395, 425
Ковальджи К. В. 240
Кожевников В. А. 218
Кока Г. М. 340–342
Колосова Н. П. 240, 425
Комаровский Е. Е. 374
Комовский С. Д. 174
Корф М. А. 173–178
Коркунов М. А. 95
Корреджио А. 202
Кохановская Н. С. 92
Кочубей Н. В. 26, 35, 48
Кошелев В. А. 169, 426
Краснобородько Т. И. 89
Краевский А. А. 271
Крамер В. В. 24
Красухин Г. Г. 328
Крестова Л. В. 212, 213, 216, 224, 233–236, 240

Кривцов Н. И. 270
Кропоткин 197
Кунин В. В. 24, 26, 426
Кутепов А. П. 392
Лагрэнэ Т.-М. 363
Ларионова Е. 66
Лебрен П.-Д.-Э. 221
Левкович Я. Л. 45, 46, 63, 429
Лекс М. И. 272
Ленин В. И. 4
Лермонтов М. Ю. 234, 237
Лернер Н. О. 39, 103, 221, 240, 280, 281
Липранди И. П. 124, 146, 250, 257, 258, 360, 362
Листов В. С. 146
Лобода А. М. 360
Лонгинов М. Н. 73, 75, 251, 264, 270, 303
Лорер Н. И. 124, 147
Лацис А. 322
Лотман Л. Ю. 89
Лотман Ю. М. 10, 36, 121, 122, 222, 223, 225, 296, 299, 300, 307, 309, 318, 330, 426
Луначарский А. В. 325, 326
Магомед 351, 356
Майков В. И. 169
Македонский А. 332, 333
Макогоненко Г. П. 383
Малиновский В. Ф. 28
Малиновский И. В. 28
Малиновский П. Ф. 28
Мальро А. 391
Мандельштам О. 2, 152, 387–389, 428
Маркевич Б. М. 234, 265, 426
Маркова В. Э. 346
Матюшкин Ф. Ф. 174
Медведева И. Н. 51, 153
Мейлах Б. С. 290
Мейлах М. Б. 328, 330–337
Меньшиков 265
Мережковский Д. С. 228, 239, 240, 343

- Миллер Е. К. 390
Мильтон Д. 202
Михайловский-Данилевский А. И. 397, 398, 426
Мицкевич А. 70, 313, 348–350, 357, 358
Модзалевский Б. Л. 41, 42, 251, 257, 259, 264, 293, 339, 343, 426
Моисей 284
Мокрицкий А. Н. 232
Монферран О. 332
Морозов П. О. 99, 102, 103, 231, 289, 293, 294, 374
Мортъе Э. А. 395, 408
Моцарт В. А. 202
Мур Т. 225, 226, 350
Муравьев-Апостол И. М. 35
Муравьев-Апостол С. И. 35, 146
Муравьев Н. М. 82, 124, 150
Мурьянов М. Ф. 327, 328, 331, 335, 426
Наполеон I 5, 120, 123, 124, 246, 288, 327, 337, 394, 396, 398, 408, 428
Набоков В. В. 225, 227, 240, 246, 302–304, 404, 426
Нащокин П. В. 75, 77–80, 97, 98, 101, 102, 323
Нащокина В. А. 323
Некрасов Н. А. 47
Немировский И. В. 257
Непомнящий В. С. 138, 299, 300, 302, 330, 331, 334
Нессельроде К. В. 248, 252, 253, 255, 259, 260, 270
Нефедьев Н. А. 354
Нечкина М. В. 72, 426
Николай I 2, 5, 68, 70, 74, 82, 84, 86–88, 97, 108, 126, 138, 216, 217, 218, 226,
271, 281, 285, 286, 288, 289, 309, 310, 313–316, 318, 319, 323, 324,
328, 329, 373, 374, 376, 377
Нольман М. Л. 348–351, 357
Ньютон И. 202
Оболенский Е. П. 72
Одоевский В. Ф. 300
Оксман Ю. Г. 51, 153, 154, 424
Олег, князь 335
Оленина А. А. 12–15, 19–22, 24–26, 38, 48, 371
Оленина Е. М. 13, 19
Олизар Г. 9
Оом О. М. 24

Орбелиани В. 356
Орбелиани М. 267
Орлов А. Ф. 117
Орлов М. Ф. 31–33, 117, 157, 403
Осипова П. А. 76, 81, 85
Оссиан 276, 277, 290, 355
Остерман А. И. 401
Павел I 116–118, 254, 322
Павлов-Сильванский Н. П. 123, 124, 426
Пален П. А. 322
Палицын А. А. 196, 197, 204
Паскевич И. Ф. 396–398, 406
Пастернак Б. Л. 386–389
Пельц 175–178
Перуджино 5, 338–340, 343–346
Пестель П. И. 123, 124, 146, 219, 426
Петр I 38, 287, 324
Петр III 116, 117
Петрунина Н. Н. 127, 134, 427
Пиксанов Н. К. 278, 427
Пильщиков И. А. 156, 199, 427
Писарев Д. И. 240, 303
Плетнев П. А. 79, 81, 84
Погодин М. П. 79, 94–102, 104, 105, 110, 270, 289
Поджио И. В. 47, 147
Поджио А. В.-младший 123, 147
Позен М. П. 265
Полевой Н. А. 235
Полежаев А. И. 188
Поликарпов Н. П. 406, 407, 427
Полонский Я. П. 234
Полторацкий С. Д. 24, 26
Потоцкая-Киселева С. С. 26, 29, 35
Проскурин О. А. 328, 332, 333, 335, 336, 427
Протасова Е. А. 27
Пругавин А. С. 126, 321, 427
Пугачев В. В. 124
Пугачев Е. И.
Пуссен Н. 202

- Путята Н. В. 363
Пуччини Д. 202
Пушкин Л. А. 112
Пушкин А. С. на каждой стр.
Пушкин В. Л. 76, 192, 208
Пушкин Л. С. 37
Пушкин С. Л. 76
Пушкина-Гончарова Н. Н. 43, 44, 49, 53–55, 57–62, 338, 344, 376, 377, 424
Пушкина Н. О. 76
Пятковский А. П. 73, 74, 79, 80, 101, 102
Пуцин И. И. 47, 147, 173, 175, 184, 185, 190
Радищев А. Н. 91, 141, 144, 324, 331
Раевский А. Н. 254, 264, 266, 397, 398
Раевский Н. Н.-старший 5, 30, 33, 35, 49, 50, 53, 264, 266, 393–396, 399–409, 425
Раевский Н. Н.-младший 23, 33, 397, 398
Раевская-Орлова Ек. Н. 31, 34, 36, 40, 46, 403, 425
Раевская Ел. Н. 9, 30, 32, 33, 40, 46, 57, 425
Раевская-Волконская М. Н. 7, 33, 45–47, 53, 57, 60, 62–64
Разин С. Т. 97
Ракова М. М. 232, 424
Рамо Ж.-Ф. 202
Рассадин С. Б. 245, 428
Рафаэль 338
Рейнбот П. Е. 213, 214, 223, 224, 238, 240, 428
Рейс И. 390, 392
Риго-и-Нуньес 265
Ризнич А. 64, 65, 149, 150, 151, 153, 255, 257, 258, 299, 300, 302, 304, 307, 308, 371
Ришелье А. 111
Розен 146, 147
Романе А. Л. 341
Романов М. П. 325
Романова А. Ф. 224–226
Рубенс П. П. 202
Руссо Ж.-Ж. 202
Рустанели Ш. 348, 353–359
Рылеев К. Ф. 82, 114, 115, 123, 126, 146, 150, 302, 303, 319–321
Саади 347–352, 356, 357

Саводник В. Ф. 212, 245, 246, 252, 255, 280, 281, 284
Саккини М. К. 202
Салтыкова С. М. 146
Самойлов Д. С. 262
Сарнов Б. М. 88, 389, 428
Седов Л. 392
Семевский М. И. 76, 80, 84
Семенова Е. С. 11
Сен-Жермен 111, 117
Сервантес Д. 165
Сидоров И. С. 42
Сирин Е. 336
Скабичевский А. М. 383, 384
Скарятин Я. Ф. 117, 118
Сквозников В. Д. 244, 428
Скотт В. 89, 311
Слёнин И. В. 339–342
Слоним М. Л. 391
Смирнов Н. М. 339, 344, 345
Смирнова-Россет А. О. 4, 212, 213, 215, 216, 218, 222, 224, 227, 228, 230,
232–234, 236, 240, 288, 289, 340, 343, 345, 361
Смирнова О. Н. 233, 236
Собаньская К. А. 151, 371
Соболевский С. А. 24, 75–80, 98, 101, 102, 303, 370
Соловьев В. С. 69, 70
Соловьева О. С. 281, 282
Спасович В. Д. 103
Сперанский М. Н. 126, 245, 246, 252, 255
Средин А. В. 339, 343
Столпянский П. Н. 314
Стоюнин В. Я. 235
Строганов Г. А. 344
Строганов М. В. 88, 91
Строганов П. А. 246, 304, 404
Суворов А. В. 6, 383
Султан-Шах М. П. 11, 48, 50, 56, 57, 59–61, 66
Сурат И. З. 89–91
Сутгоф А. Н. 147
Сухинов И. И. 147

- Суццо 219
Таборисская Е. М. 318
Тарле Е. В. 407, 408, 428
Теннер Д. 228
Титов В. П. 318
Токвиль А. 227
Толстой А. К. 234
Толстой Л. Н. 266, 267, 399–401, 428
Толстой Ф. И. (Американец) 58, 303
Томашевский Б. В. 9, 11, 26, 30–32, 35, 50, 51, 60, 108–111, 127, 146, 153, 218, 231, 296, 339, 351, 428
Томсон Д. 202
Тургенев А. И. 32, 83, 193, 229, 234, 248–250, 261, 269, 270, 300
Туренев И. С. 234
Тынянов Ю. Н. 7, 9, 12, 22, 26–32, 34–38, 40, 229, 240, 304, 337, 429
Тютчев В. М. 177, 234, 329, 375
Тютчев Ф. И. 234
Уваров С. С. 117, 118, 271, 272
Устимович П. М. 19
Ушакова Ек. Н. 38, 57
Фан дер Вельде 119
Федотов Г. 140
Фикельмон Д. Ф. 117, 118
Фикельмон К. 117, 118
Фишер К. И. 265, 266, 268
Фомичев С. А. 197, 328, 335, 336, 429
Франк С. Л. 70, 72, 227, 228, 240, 264, 373
Хвостов Д. И. 180, 196, 197, 204
Хеопс 335
Хитрово Е. М. 229, 344
Хмарский И. Д. 88
Ходасевич В. Ф. 65, 92, 360, 361, 363, 365–368, 373, 429
Хомяков А. С. 98, 101, 102, 104, 228, 229
Цветаева М. И. 372–374, 377, 380, 381, 384, 386, 390–392, 429
Цявловская-Зенгер Т. Г. 3, 13–15, 25, 45–50, 54, 60, 74, 95, 97, 98, 124, 155, 260, 429
Цявловский М. А. 3, 28, 69, 71, 74, 93–96, 98–104, 107–110, 155–157, 162, 163, 165, 167, 168, 170–179, 181, 183–191, 193–201, 203, 204, 207, 211, 214, 235, 249, 339, 340, 341, 343, 344, 346, 351

Чаадаев П. Я. 35, 332
Чайковский П. И. 128, 135
Часовников М. Д. 75
Чернов А. Ю. 146, 151, 152, 429
Чернышевский Н. Г. 240, 303
Черняев Н. И. 103
Черейский Л. А. 49, 147, 429
Чуковская Л. К. 375, 429
Шаликов П. И. 197
Шанский Н. М. 328
Шапир М. И. 199, 427
Шальман Е. С. 156, 186–188, 198
Шаховской А. А. 171, 197
Шведенбург Э. 119
Шевырев С. П. 75, 77, 80, 98, 101, 102, 105, 227
Шекспир У. 165, 356
Шенье А. 34, 79, 86, 102
Щеголев П. Е. 3, 7, 9, 10–13, 18, 20, 21, 23, 25–27, 35, 45–47, 53, 57–60, 62–64,
85–87, 212, 240. 347, 351, 372, 373, 429
Шиллер Ф. 356
Шихматов С. А. 196, 197, 204
Шишков А. А. 197, 204, 270
Шкловский В. Б. 388
Шонинг М. 140
Штейнгель В. И. 147
Эдлинг Р. С. 27
Эйдельман Н. Я. 115, 309, 320, 321
Энгельгардт Е. А. 173
Эфрон С. Я. 385, 391, 392
Юрфе О. Д. 202
Ягницкий 264
Языков Н. М. 188, 237
Яковлев М. Л. 173–175
Якубович Д. П. 119

Литература

- Азадовский М., Оксман Ю.* Переписка. 1944–1954. М., 1998.
- Анненков П. В.* Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984.
- Аринштейн Л. М.* Пушкин. Непричесанная биография. М., 1998.
- А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974.
- Атлас чудес света. М.: БММ АО, 1995.
- Ахматова А.* О Пушкине. Л., 1977.
- Ашхарумов Д.* Описание войны 1812 года. СПб., 1819.
- Бартенев П. И.* О Пушкине. Страницы жизни поэта. Воспоминания современников. М., 1992.
- Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. VII. М., 1955.
- Белинский В. Г.* Собр. соч. Т. 1. СПб., 1900.
- Белкина М.* Скрещение судеб. М.: Изографус, 2005.
- Беляев М. Д.* Наталья Николаевна Пушкина в портретах и отзывах современников. СПб.: Ассоциация «Новая литература» Библиополис, изд-во «Опыты», 1993.
- Бескровный Л. Г.* Отечественная война 1812 года. М., 1962.
- Благой Д. Д.* Социология творчества Пушкина. М.: Мир, 1931.
- Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. М.; Л., 1962.
- Богданович М.* История Отечественной войны 1812 года. СПб., 1859.
- Бонди С. М.* Черновики Пушкина. М., 1971.
- Бонди С.* О Пушкине. Статьи и исследования. М., 1978.
- Брюллов К.* / Сост. М. М. Ракова. М., 1988.
- БСЭ. Т. 23. М., 1976.
- Бутурлин Д.* История нашествия императора Наполеона на Россию в 1812 г. Ч. 1–2 (пер. с франц.). Ч. 1. СПб., 1837.
- Вацуро В. Э.* Записки комментатора. СПб., 1994.
- Вересаев В. В.* Спутники Пушкина: В 2 т. Т. 1. М.: Сов. спорт, 1993.
- Вересаев В.* Пушкин в жизни. Минск, 1986.
- Вестник русского христианского движения. № 155. 1989.
- Вехи. Из глубины. М., 1991.
- Вигель Ф. Ф.* Записки. Ч. 6. М.: Изд. «Русского архива», 1892.

- Вопросы литературы. Вып. 4. 2005.
Вопросы литературы. № 10. 1978.
Вопросы литературы. Вып. 6. 2000.
Временник Пушкинской комиссии. Вып. 6. Л., 1967–1968.
Временник Пушкинской комиссии. 1981. Л., 1985.
Временник Пушкинской комиссии. Вып. 23. Л., 1989.
Временник Пушкинской комиссии. Вып. 27. СПб., 1996.
Вульф А. Н. Дневники. М., 1929.
Вяземский П. Записные книжки. М., 1992.
Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1986.
Галушко Т. Раевские мои... Л.: Лениздат, 1991.
Генерал Багратион. Сборник документов и материалов. М., 1945.
Гершензон М. Северная любовь А. С. Пушкина // Вестник Европы. СПб., 1908.
Гнедич Н. Стихотворения. Поэмы. М., 1984.
Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 1986.
Губер П. Дон-жуанский список А. С. Пушкина. Пб., 1923.
Дневник А. С. Пушкина. М.: Три века, 1997.
Друзья Пушкина. Т. 2. М., 1984.
Егунов А. Н. Гомер в русских переводах. М.; Л., 1964.
Елистратов В. С. Язык старой Москвы: лингвоэнциклопедический словарь. М., 1997.
Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в России. М., 1974.
Житомирская С. В. А. О. Смирнова-Россет. «Дневник. Воспоминания». М., 1989.
Жуйкова Р. Г. А. С. Пушкин. Портретные рисунки Пушкина. СПб., 1994.
Жуковский В. А. Сочинения: В 3 т. Т. 1. М., 1980.
Записки А. О. Смирновой, урожденной Россет. М., 1999.
Звезда. № 6. Л., 1974.
Звенья. Кн. 6. М.; Л., 1936.
Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л.: Наука, 1976.
Исторический вестник. № 2. 1908.
Историческое изображение Грузии в политическом, церковном и учебном ее состоянии. Сочинено в Александро-Невской Академии. СПб.: Типография «Шнора», 1802.
Историческое описание войны 1812 года. СПб., 1813.
Керн А. П. Воспоминания. М, 1989.
Клаузевиц К. 1812 год. М., 1937.
Колосова Н. П. Россети Черноокая. М., 2003.

- Кошелев В. А.* Первая книга поэта. Томск: Водолей, 1997.
- Кунин В. В.* Библиофилы пушкинской поры. М., 1979.
- Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1994.
- Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. 1799–1826. 2-е изд., исправ. и доп. Л., 1991.
- Летопись жизни и творчества Пушкина: В 4 т. М.: Слово/Slovo, 1999.
- Литература. № 3 (330). М. Январь. 2000.
- Литературное наследство. Т. 58. М., 1952.
- Литературные листки. Ч. 1. СПб., 1824.
- Литературный критик. Кн. 5/6. М., 1940.
- Литературный современник. № 1. Л., 1935.
- Лотман Ю. М.* Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Л., 1983.
- Лотман Ю. М.* Александр Сергеевич Пушкин. Л., 1983.
- Маркевич Б. М.* Полн. собр. соч.: В 11 т. Т. XI. М., 1912.
- Михайловский-Данилевский А. И.* Описание Отечественной войны 1812 года. СПб., 1843.
- Модзалевский Б. Л.* Новые строки Пушкина. Пг., 1916.
- Модзалевский Б. Л.* Пушкин и его современники. СПб.: Искусство-СПб, 1999.
- Москва. № 6. М., 1989.
- Московский пушкинист. Вып. III. М., 1996.
- Московский пушкинист. Вып. IX. М., 2001.
- Мурьянов М. Ф.* Из символов и аллегорий Пушкина. М.: Наследие, 1996.
- Н... Н... Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ и в Грузию в 1827 году. М.: Типография Селивановского, 1829.
- Набоков В. В.* Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 1998.
- Непомнящий В. С.* Поэзия и судьба. М., 1983.
- Непомнящий В.* Пушкин. Русская картина мира. М., 1999.
- Нечкина М. В.* Декабристы. 2-е изд., исправ. и доп. М., 1982.
- Новая русская книга. Критическое обозрение. № 2 (9). СПб., 2001.
- Новый мир. № 6. 2005.
- Остафьевский архив князей Вяземских. Переписка П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым. 1820–1823. СПб.: Изд. графа С. Д. Шереметьева, 1899.
- Отечественные записки. № 12. Отд. II. 1855.
- Павлов-Сильванский Н. П.* П. И. Пестель. Пг., 1919.
- Памяти Пушкина. Научно-литературный сборник, составленный профессорами и преподавателями университета св. Владимира. Киев, 1899.

- Парламентская газета. № 137 (1266). 25 июля 2003.
- Пастернак Б. Л.* Собр. соч.: В 5 т. Т. 2. М.: Худ. лит., 1989.
- Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. М., 1982.
- Петербургские встречи Пушкина. Л., 1987.
- Петрунина Н. Н.* Проза Пушкина. Л., 1987.
- Поликарпов Н. П.* К истории Отечественной войны 1812 г.: В 3 вып. Вып. 1. М., 1911.
- Прометей. М., 1966.
- Проскурин О. А.* Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М.: НЛО, 1999.
- Пругавин А.* Петропавловская крепость. Ростов н/Д., 1906.
- Пушкин А. С.* Капитанская дочка. Л.: Наука, 1985.
- Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 6 т. М.; Л.: Госиздат, 1931.
- Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 19 т. М., 1994.
- Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. II, Т. III. Л., 1977; Т. V. 1978.
- Пушкин А. С.* Поэзия. М.: АСТ, 2008.
- Пушкин. Сборник первый / Под ред. Н. К. Пиксанова. М., 1924.
- Пушкин А. С.* Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. М., 1969.
- Пушкин А. С.* Собр. соч.: В 6 т. / Под ред. С. А. Венгерова. Т. IV. Пб., 1910.
- Пушкин А. С.* Сочинения и письма / Под ред. П. О. Морозова. Т. II. СПб., 1903.
- Пушкин А. С.* Стихотворения лицейских лет 1813–1817. СПб.: Наука, 1994.
- Пушкин А. С.* Тень Баркова // Philologica. М., 1996. Т. 3. № 5/7.
- Пушкин А. С.* Тень Баркова. Тексты. Комментарии. Экскурсы / Сост. И. А. Пильщиков и М. И. Шапир. М., 2002.
- Пушкин в мировой литературе. Л.: Госиздат, 1926.
- Пушкин в русской философской критике. Конец XIX — первая половина XX в. М., 1990.
- Пушкин. Временник. Вып. 2. М.; Л., 1936.
- Пушкин и его современники. Л., 1930.
- Пушкин и его современники. Вып. XIII. СПб., 1910.
- Пушкин и его современники. Вып. XIV. СПб., 1911.
- Пушкин и его современники. Вып. XIX–XX. Пг., 1914.
- Пушкин и его современники. Вып. XXI–XXII. Пг., 1915.
- Пушкин и его современники. Вып. XXXVII. Л., 1928.
- Пушкин и русская литература. Сборник научных трудов. Латвийский государственный университет. Рига, 1986.
- Пушкин. Исследования и материалы. Т. 2. М.; Л., 1931.

- Пушкин. Исследования и материалы. Т. I. М.; Л., 1956; Т. II. 1958; Т. III, 1960; Т. X, 1982.
- Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966.
- Пушкин. Письма: В 2 т. М.; Л., 1928.
- Пушкинские чтения. Сборник статей / Сост. С. Г. Исаков. Таллинн 1990.
- Рассадин С. Б.* Русские, или Из дворян в интеллигенты. М.: Книжный сад, 1995.
- Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851–1860 годах. М., 1925.
- Рейнбот П. Е.* Пушкин по запискам А. О. Смирновой. История одной мистификации // РГАЛИ. Ф. 4885. Оп. 1. Ед. хр. 875–876. С. 7.
- Рукою Пушкина. Л., 1935.
- Русская литература. № 5. 1938.
- Русская литература. № 1. 1965.
- Русская литература. № 4. 1990.
- Русская Старина. Т. XXVII. Март. 1880; Т. LXVII. Август. 1890.
- Русские писатели 1800–1917. Биографический словарь. М.: Большая советская энциклопедия, 1992.
- Русский Архив. № 10. М., 1866.
- Русский Архив. М., 1881. Т. II. С. 32.
- Русский Архив. № 5. М., 1904.
- Русский язык в школе. № 1. 1989.
- Сарнов Б.* Заложник вечности: случай Мандельштама. М.: Аграф, 2005.
- Сарнов Б.* Бремя таланта. Портреты и памфлеты. М., 1987.
- Северная почта. № 61. 31 июля 1812. СПб.
- Сквозников В. Д.* Пушкин. Историческая мысль поэта. М.: Наследие, 1999.
- Словарь языка Пушкина: В 4 т. Т. 1. М., 2000.
- Смирнова-Россет А. О.* Записки. М., 2003.
- Современник. № 7, 8. 1863.
- Современные записки. Вып. LVIII. Париж, 1935.
- С.-Петербургские ведомости. № 163. 1866.
- Старина и новизна (исторические сборники). Кн. 6. СПб., 1903.
- Старые годы. Июль — сентябрь. М., 1910.
- Стихотворения Пушкина 1820–1830 годов. Л., 1974.
- Тарле Е. В.* Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год. М., 1992.
- Толстой Л. Н.* Собр. соч.: В 20 т. Т. XIV. М., 1983.
- Томашевский Б. В.* Пушкин. Кн. 2. М.; Л., 1961.

Труды Московского отдела Императорского Русского Военно-исторического общества. Т. IV. Материалы по истории Отечественной войны. Боевой календарь-ежедневник Отечественной войны 1812 года. М., 1913.

Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969.

Утаенная любовь Пушкина / Сост., подгот. текста и примеч. Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович. СПб., 1997.

Ученые записки ЛГУ. Серия филологических наук. Вып. 16. № 122. 1949.

Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 365. 1975.

Фомичев С. А. Служенье муз. СПб., 2001.

Фонд Прокуратуры СССР. ГАРФ. Ф. Р-8131.

Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1996.

Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина: В 3 т. Т. 1. Кн. 1. М., 2000.

Цветаева М. Соч.: В 2 т. Т. 1. Т. 2. М.: Худ. лит., 1980.

Цявловская Т. Г. Рисунки Пушкина. М., 1980.

Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М.: Изд. АН СССР, 1962.

Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1989.

Чернов А. Скорбный остров Гоноропуло. М., 1990.

Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой 1952–1962. Т. 2. М.: Согласие.

Щеголев П. Е. Пушкин. Очерки. СПб., 1912.

Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. М., 1931.

Grégoir. Etudes classiques. Namur, 1937.

CREDO NEW (теоретический журнал). № 4. 2004.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---------------------------------------------------------|-----|
| ОБ ЭТОЙ КНИГЕ | 3 |
| МИФ ОБ «УТАЕННОЙ ЛЮБВИ» | 6 |
| «Скажите мне, чей образ нежный...» | 6 |
| «Печаль моя полна тобою...» | 42 |
| ПУШКИН И ДЕКАБРИСТЫ | 67 |
| «К убийце гнусному явись...» | 67 |
| Вокруг «Пророка» | 92 |
| Исторический подтекст «Пиковой дамы» | 110 |
| Германн, Нарумов и любовная интрига | 127 |
| «Милость к падшим...» | 137 |
| Почему Италия? | 144 |
| «НЕТ, НЕТ, БАРКОВ! СКРЫПИЦЫ НЕ ВОЗЬМУ...» | 155 |
| «ПОДЛИННЫ ПО ВНУТРЕННИМ ОСНОВАНИЯМ...» | 212 |
| САНОВНИК И ПОЭТ | 242 |
| ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТОЛОГИИ | 275 |
| «С Гомером долго ты беседовал один...» | 275 |
| «Крив был Гнедич поэт...» | 292 |
| К истории создания шестой главы «Евгения Онегина» | 295 |
| РАЗНЫЕ СЮЖЕТЫ | 309 |
| Между «Онегиным» и «Дмитрием самозванцем» | 309 |
| «Не дай мне бог сойти с ума...» | 317 |
| Александровская колонна или Александрийский маяк? | 327 |
| Рафаэль или Перуджино? | 338 |

| | |
|--------------------------------------------------|-----|
| Кто же все-таки «поэт той чудной стороны»? | 346 |
| «Оставля честь судьбе на произвол...» | 359 |
| «А чара — и не то заставит...» | 372 |
| «И вот как пишут историю!..» | 393 |
| УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН | 412 |
| ЛИТЕРАТУРА | 424 |

**Виктор Михайлович
ЕСИПОВ**

**МИФЫ И РЕАЛИИ ПУШКИНОВЕДЕНИЯ
(Избранные работы)**

Выпускающий редактор *Л. В. Батришина*
Корректоры *О. В. Федорова, Т. В. Никонова*
Оригинал-макет *Е. Н. Ванчурина*
Дизайн обложки

Подписано в печать 10.2018. Формат $60 \times 84^{1/16}$
Бумага офсетная. Печать офсетная
Усл.-печ. л. 25,2. Тираж 500 экз. Заказ № 705

Отпечатано в типографии
издательства «Нестор-История»
Тел. (812)235-15-86

По вопросам приобретения книг
издательства «Нестор-История»
звоните по тел.: +7 965 048 04 28